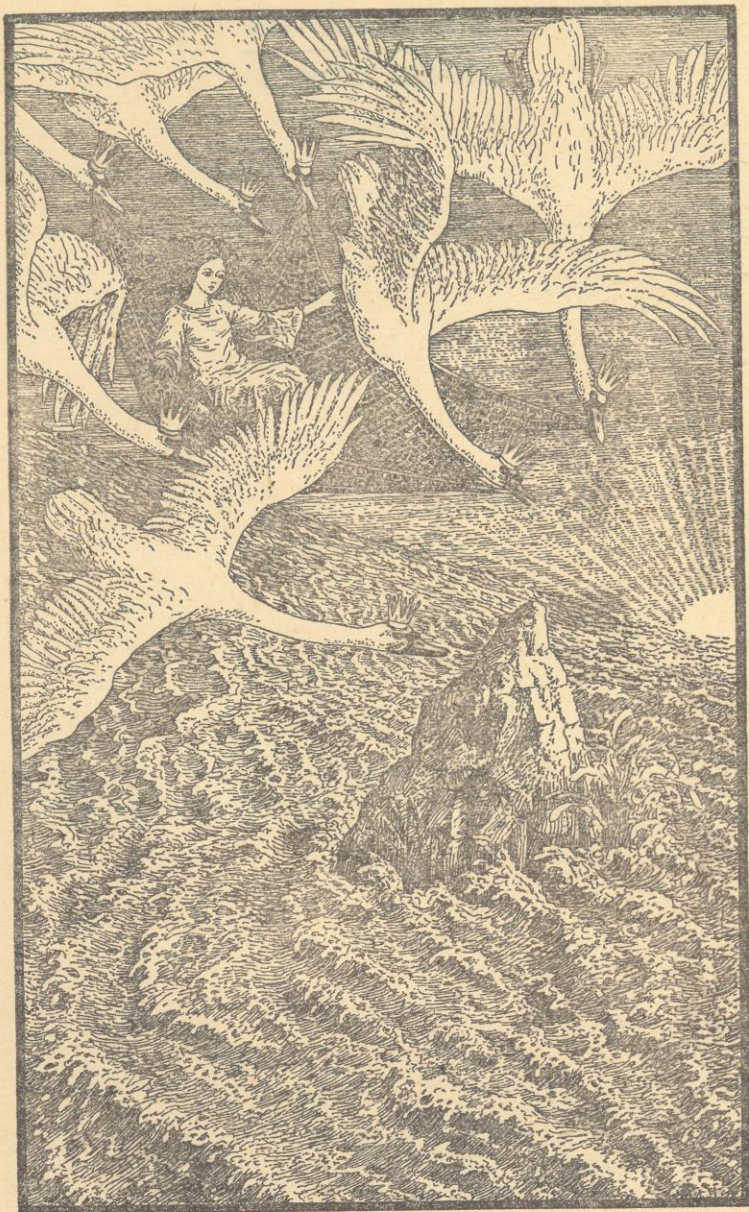


A detailed illustration for a book cover. At the top, several white swans with golden crowns on their heads are flying across a brownish sky. Below them, a castle with several conical towers and blue flags is visible on a hill. In the foreground, a woman with long, wavy brown hair sits on a grassy bank, looking down. She is surrounded by swans, some of which are landing near her. In the bottom left corner, a man in a white shirt and red vest is shown from the chest up, looking towards the scene. In the bottom right corner, a group of people in medieval-style clothing are gathered, some looking towards the woman and swans. The overall style is that of a classic children's book illustration.

Ханс Кристиан Андерсен

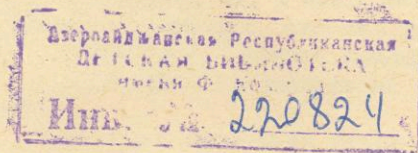
Дикие лебеди



Ханс Кристиан Андерсен

Дикие лебеди

Сказки



МИНСК
«ЮНАЦТВА»
1990

Перевод с датского

Составитель А. П. КОСТЕЛЕЦКАЯ

Художник В. П. СЛАУК

ХОЛЬГЕР-ДАТЧАНИН

Есть в Дании старинный замок Кронборг. Он стоит на берегу пролива Эресунд, по которому каждый день проплывают сотни больших кораблей. Среди них встречаются и английские, и русские, и прусские. Все они приветствуют древний замок пушечными залпами — бум-бум, и пушки замка тоже отвечают им — бум-бум. Ведь пушки, переговариваясь, только и могут сказать, что «добрый день» да «большое спасибо». Зимой корабли не ходят, так как весь пролив покрыт льдом, но зато между его берегами, датским и шведским, люди прокладывают настоящую дорогу. По обочинам ее развеваются датские и шведские флаги, а датчане и шведы говорят друг другу «добрый день» и «большое спасибо», приветствуя один другого не пушечной пальбой, но дружескими рукопожатиями. Они покупают друг у друга белые булочки и крендельки, — ведь чужая еда всегда вкуснее кажется.

Но самое замечательное в этом краю — старинный замок Кронборг, где в глубоком темном подвале сидит Хольгер-Датчанин. Сидит он закованный в стальные и железные латы, положив голову на могучие руки, а его длинная борода перевесилась через мраморный стол. Он крепко спит и видит сны, и ему снится все, что происходит в его родной Дании. Каждую ночь под Новый год к нему является посланец и подтверждает, что все, что снилось в этом году Хольгеру-Датчанину, — суцая правда, и он может спокойно спать, ибо его родине не грозит большая опасность.

Но как только возникает такая угроза, старый Хольгер-Датчанин поднимается во весь свой громадный рост, да так стремительно, что приросшая к столу борода оторвется и на мраморе появится трещина. Тогда он выйдет из своего подвала, чтобы сражаться, и об этом услышит весь мир.

Все это один старый дед рассказал своему маленькому внуку, а мальчик знал, что дедушка всегда

4804010100—056
А—————114—90
М307(03)—90

ISBN 5-7880-0420-9

© Издательство «Юнацтва», 1990

говорит правду. Рассказывая, дед вырезал из дерева большую фигуру Хольгера-Датчанина, которую должны были укрепить на носу корабля. Старик был резчик, он изготовлял деревянные фигуры, которые водружают на носу кораблей, по ним корабли и получают название. Хольгер-Датчанин был уже почти готов: стоял прямой, с горделивым видом, а длинная борода свешивалась ему на грудь; в одной руке он держал тяжелый меч, а другой опирался на датский герб.

Старик так много и так интересно рассказывал о знаменитых датчанах, что внуку уже казалось, будто он знает о них ничуть не меньше самого Хольгера-Датчанина,— тот ведь видел все происходившее в Дании только во сне. А когда мальчик лег спать, он много думал о Хольгере-Датчанине, и стояло его подбородку прикоснуться к перинке, которой он был укрыт, как ему начинало казаться, что у него длинная борода и она начинает прирастать к этой перинке.

Старик все еще продолжал работать. Теперь ему осталось вырезать только датский герб. Когда герб был готов, он осмотрел свою работу и припомнил все, что ему когда-либо приходилось слышать и читать, а также то, что он сам сегодня вечером рассказывал внуку. Он кивнул головой, снял очки, протер их, снова надел и проговорил:

— Вряд ли мне самому доведется увидеть Хольгера-Датчанина, а вот тому малышу, что сейчас лежит там в постельке, может, и посчастливится встретить его в решающий для родины час.

То и дело кивая головой, старик внимательно разглядывал своего Хольгера-Датчанина и все больше убеждался, что фигура получилась на славу. Ему даже почудилось, будто она ожила и латы засверкали, как настоящий металл; почудилось, будто сердца на датском гербе заалели, а львы в золотых коронах готовятся к прыжку.

— Наш датский герб все-таки самый красивый в мире,— сказал старик,— его львы олицетворяют силу, а сердца — милосердие и любовь!..

Сложив руки, старик устремил глаза вдаль. Невестка подошла к нему и сказала, что час уже поздний, пора ему и отдохнуть; ужин стоит на столе.

— До чего же хорошо у тебя получилось, дедушка!— воскликнула она.— Хольгер-Датчанин как живой, а вот и наш старинный герб! Мне кажется, что я где-то видела лицо, точь-в-точь похожее на то, которое ты вырезал,— добавила она.

— Вряд ли,— отозвался дед,— но я-то видел его и теперь постарался сделать его таким, каким оно мне запомнилось. Это было в тот незабываемый для датчан день второго апреля¹, когда у нас на рейде стояли английские корабли и мы показали себя истинными патриотами. Когда я служил в эскадре Стейна Билля на корабле «Данмарк»², рядом со мной находился один человек,— всем нам казалось, что пули его боятся. Как весело он распевал старинные песни! Как он сражался! Не верилось, что это простой смертный. Я до сих пор помню его лицо; но ни я, ни другие не знали, откуда он родом и куда удалился потом. Впоследствии мне часто приходило на ум, что это был, пожалуй, сам Хольгер-Датчанин, который приплыл к нам из Кронборга и выручил нас в час опасности. Вот таким я его запомнил, таким и хотел изобразить.

От резной фигуры на стену падала большая тень, поднимающаяся до самого потолка; она все время шевелилась, и казалось, что в углу стоит живой Хольгер-Датчанин. Но, быть может, это просто колыхалось пламя свечи. Невестка поцеловала старика, подвела его к столу и усадила в кресло. Пришел ее муж,— старику он приходился сыном, а заснувшему малышу отцом,— и они все трое еще долго сидели за ужином, и дед все говорил о львах и датских сердцах, об их силе и милосердии. «Но,— сказал он,— помимо силы меча, есть на свете и другая сила»,— и дед показал на полку, заставленную старыми книгами. Все их хорошо знали и перечитывали по многу раз: очень уж заняты эти книги, и кажется, будто ты знал людей, которые в них выведены, хоть они и жили в стародавние времена,— и книги умеют сражаться; они высмеивают в людях все дурное и смешное!— Дед кивком показал на зеркало, рядом с кото-

¹ Второго апреля 1801 года английский флот под командованием адмирала Нельсона разбил вблизи Копенгагена датский флот.

² Данмарк — Дания (дат.).

рым висел календарь с видом Круглой башни, и заметил: — Тихо Браге¹ тоже был одним из тех, кто умел сражаться, правда, не мечом, а своими знаниями: он стремился проложить путь к звездам! Бойцом был и сын старого резчика по дереву, такого же, как я; мы видели его своими глазами — широкоплечего, седого; а имя его знают во всех странах мира. Вот это настоящий ваятель, не чета мне. Да, Хольгер-Датчанин может проявиться в разных образах и прославить Данию на весь мир! Выпьем же за здоровье Бертеля Торвальдсена!²

Маленький мальчик ясно видел во сне древний Кронборг на берегу Эресунда и самого Хольгера-Датчанина: он сидит в темном подвале за мраморным столом, к которому приросла его борода, и видит во сне, что происходит в Дании; видит эту маленькую бедную комнату, в которой сидит резчик, и слышит весь разговор его обитателей. Он кивает головой и говорит:

— Помни обо мне, датский народ, храни меня в своем сердце! В трудный для родины час я явлюсь!

Над Кронборгом ярко светило солнце, и ветер доносил сюда из Швеции звуки охотничьего рога. Мимо Кронборга плыли корабли, и пушки приветствовали их залпами — бум-бум, а с берега им тоже отвечали — бум-бум; но громкие выстрелы не заставили Хольгера-Датчанина проснуться, ведь они означали лишь приветствия: «добрый день» и «большое спасибо».

Но могут прозвучать и такие выстрелы, которые разбудят Хольгера-Датчанина, — тогда он непременно проснется и покажет себя.

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

Жили-были двадцать пять оловянных солдатиков. Все они родились от одной матери — старой оловянной ложки, — а значит, приходились друг другу родными братьями. Были они красавцы писаные:

¹ Тихо Браге (1546—1601) — датский астроном.

² Торвальдсен (1770—1844) — датский скульптор.

мундир синий с красным, ружье на плече, взгляд устремлен вперед!

«Оловянные солдатiki!» — вот первое, что услышали братья, когда открылась коробка, в которой они лежали. Это крикнул маленький мальчик и захлопал в ладоши. Солдатиков ему подарили в день его рождения, и он тотчас же стал расставлять их на столе. Оловянные солдатiki походили друг на друга как две капли воды, и лишь один отличался от своих братьев: у него была только одна нога. Его отливали последним, и олова на него не хватило. Впрочем, он и на одной ноге стоял так же твердо, как другие на двух. И он-то как раз и отличился.

Мальчик расставил своих солдатиков на столе. Там было много игрушек, но красивее всех был чудесный замок из картона, сквозь его маленькие окна можно было заглянуть внутрь и увидеть комнаты. Перед замком лежало зеркальце, оно было совсем как настоящее озеро, а вокруг стояли маленькие деревья. По озеру плавали восковые лебеди и любовались своим отражением. Все это радовало глаз, но очаровательней всего была девушка, стоявшая на пороге широко раскрытых дверей замка. Она тоже была вырезана из картона. Юбочка ее была из тончайшей кисеи, спускалась с плеча к поясу. Ленточка была прикреплена сверкающей блестящей, очень большой, — она могла бы закрыть все личико девушки. Красавица эта была танцовщица. Она стояла на одной ножке, протянув руки вперед, а другую ногу подняла так высоко, что оловянный солдатик не сразу ее разглядел и сначала подумал, что красotka одноногая, как и он сам.

«Вот бы мне такую жену, — подумал оловянный солдатик. — Только она, наверное, знатного рода, — она живет в замке, а я в коробке, к тому же нас там целых двадцать пять штук. Нет, в коробке ей не место, но познакомиться с ней все же не мешает!» — и, растянувшись во всю длину, он спрятался за табакеркой, тоже стоявшей на столе. Отсюда он мог не отрываясь смотреть на хорошенькую танцовщицу, которая все стояла на одной ножке, никогда не теряя равновесия.

Вечером всех других солдатиков уложили обратно в коробку и люди тоже легли спать. Тогда игрушки

сами стали играть в гости, потом в войну, а потом устроили бал. Оловянные солдатики завозились в коробке — им тоже захотелось поиграть, но они не могли приподнять крышки. Щелкунчик кувыркался, а грифель пошел плясать по аспидной доске. Поднялся такой шум и гам, что проснулась канарейка и тоже заговорила, да еще стихами! Только солдатик и танцовщица не сдвинулись с места. Она по-прежнему стояла на одной ножке, протянув руки вперед, а он застыл с ружьем на плече и ни на минуту не спускал глаз с девушки.

Прошло двенадцать. И вдруг — щелк, щелк! Это раскрылась табакерка. Табака в табакерке не было; в ней сидел маленький черный тролль¹, очень искусной работы.

— Эй, оловянный солдатик! — крикнул тролль. — Перестань пучить глаза на плясунью, она слишком хороша для тебя!

Но оловянный солдатик сделал вид, будто ничего не слышит.

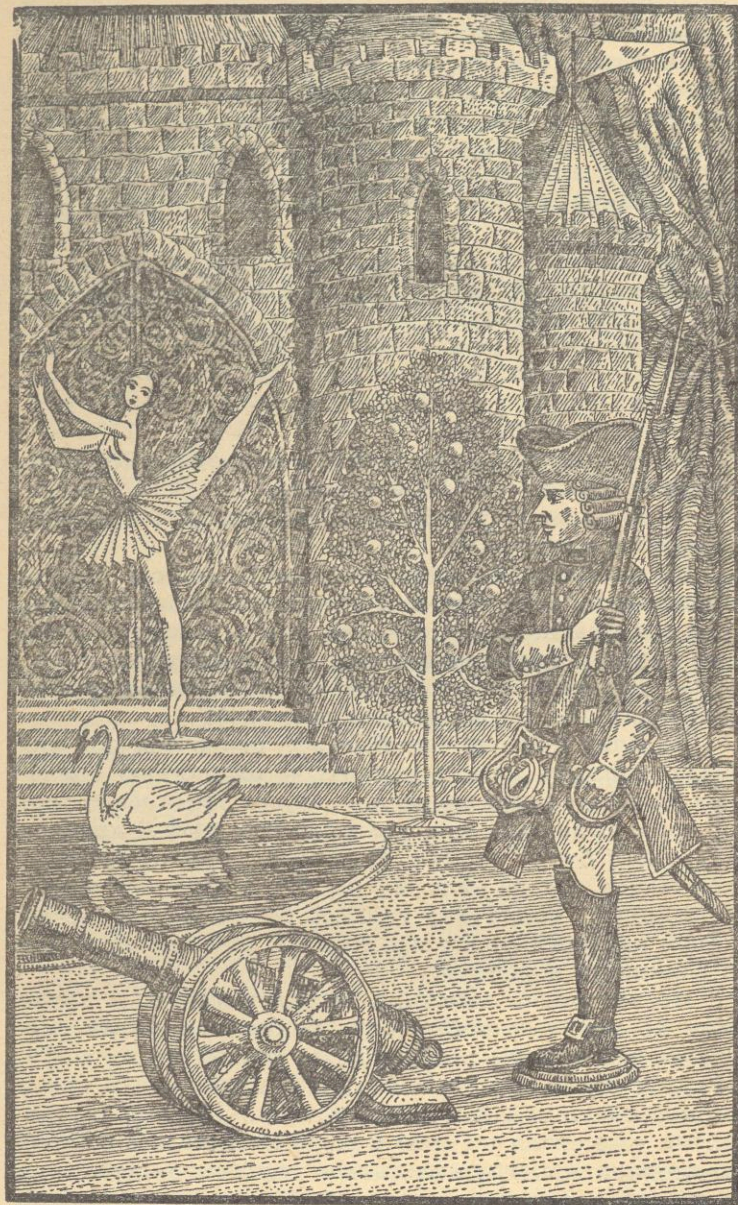
— Ну погоди! Придет утро, увидишь! — сказал тролль.

Утром дети проснулись и переставили оловянного солдатика на окно. И тут — то ли по вине тролля, то ли по вине сквозняка — окно распахнулось и наш солдатик полетел кувырком с третьего этажа. Вот страшно-то было! Он упал на голову, а его каска и штык застряли между булыжниками, — и он так и остался стоять на голове, задрав ногу кверху.

Служанка и младший из мальчиков сейчас же выбежали на улицу искать солдатика. Искали, искали, чуть было не раздавили его и все-таки не нашли. Крикнул солдатик: «Я тут!» — они, конечно, увидели бы его, однако он считал неприличным громко кричать на улице, будучи в мундире.

Но вот пошел дождь, и он шел все сильнее и сильнее и, наконец, хлынул как из ведра, а когда перестал, на улицу выбежали уличные мальчишки. Их было двое, и один из них сказал:

— Смотри, вон оловянный солдатик. Давай-ка отправим его в плавание!



¹ Тролль — сказочное существо (дат.).

Они сделали из газеты лодочку, поставили в нее оловянного солдатика и пустили ее по водосточной канавке. Лодочка плыла, а мальчишки бежали рядом и хлопали в ладоши. Боже ты мой! Как бились волны о стенки канавки, какое сильное в ней было течение! Да и немудрено, ведь ливень был славный! Лодочка то ныряла, то взлетала на гребень волны, то вертелась, и оловянный солдатик вздрагивал; но он был стойкий и все так же невозмутимо смотрел вперед, держа ружье на плече.

Вот лодочка подплыла под мостик, и стало так темно, что солдатика показалось, будто он снова попал в свою коробку.

«Куда ж это меня несет? — думал он. — Все это проделки тролля! Вот если бы в лодочке со мной сидела маленькая танцовщица, тогда пускай бы хоть и вдвое темнее было».

В эту минуту из-под мостика выскочила большая водяная крыса, — она здесь жила.

— А паспорт у тебя есть? — крикнула крыса. — Предъяви паспорт.

Но оловянный солдатик молчал и еще крепче прижимал к себе ружье. Лодочка плыла все дальше, а крыса плыла за ней. Ох, как она скрежетала зубами, крича встречным щепкам и соломинкам:

— Держите его! Держите! Он не уплатил дорожной пошлины, не предъявил паспорта!

Лодочку понесло еще быстрее, скоро она должна была выплыть из-под мостика — оловянный солдатик уже видел свет впереди, — но тут раздался грохот до того страшный, что, услышав его, любой храбрец задрожал бы от страха. Подумать только: канавка кончалась, и вода падала с высоты в большой канал! Оловянному солдатика грозила такая же опасность, какой подверглись бы мы, если бы течение несло нас к большому водопаду.

Но вот лодка выплыла из-под мостика, и ничто уже не могло ее остановить. Бедный солдатик держался все так же стойко, даже глазом не моргнул. И вдруг лодка закружилась, потом накренилась, сразу наполнилась водой и стала тонуть. Оловянный солдатик уже стоял по шею в воде, а лодка все больше размокала и погружалась все глубже; теперь вода покрыла солдатика с головой. Но он думал о пре-

лестной маленькой танцовщице, которую ему не суждено больше увидеть!

В последнюю минуту вспомнил он солдатскую песню:

Шагай вперед, всегда вперед!
Тебя за гробом слава ждет!

Бумага совсем размокла, прорвалась, и солдатик уже стал тонуть, но в этот миг его проглотила большая рыба.

Ах, как темно было у нее в глотке! Еще темней, чем под мостиком, и в довершение всего так тесно! Но оловянный солдатик и тут держался стойко — он лежал, вытянувшись во всю длину, с ружьем на плече.

А рыба, проглотив его, стала неистово метаться, бросаясь из стороны в сторону, но вскоре затихла. Прошло некоторое время, и вдруг во тьме, окружавшей солдатика, молнией блеснуло что-то блестящее, потом стало совсем светло и кто-то громко воскликнул: «Оловянный солдатик!»

Вот что произошло: рыбу поймали и снесли на рынок, а там кто-то купил ее и принес на кухню, где кухарка разрезала рыбу острым ножом, и увидев солдатика, взяла его двумя пальцами за талию и отнесла в комнату. Вся семья собралась поглядеть на удивительного человечка, который совершил путешествие в рыбьем брюхе, но оловянный солдатик не возгордился.

Его поставили на стол, и вот — чего только не бывает на свете! — солдатик снова очутился в той же самой комнате, где жил раньше, и увидел тех же знакомых ему детей. Те же игрушки по-прежнему стояли на столе, в том числе и чудесный замок с прелестной маленькой танцовщицей. Она все так же прямо держалась на одной ножке, высоко подняв другую, — ведь она тоже была стойкая! Все это так растрогало оловянного солдатика, что из глаз его чуть не покатались оловянные слезы. Но солдату плакать не полагается, и он только посмотрел на танцовщицу, — а она на него. Но ни он, ни она ни слова не вымолвили.

Вдруг один из малышей схватил солдатика и швырнул его прямо в печку — неизвестно зачем;

должно быть, его подучил злой тролль, сидевший в табакерке.

Теперь солдатик стоял в топке, освещенный ярким пламенем, и было ему нестерпимо жарко; он чувствовал, что весь горит, — но что сжигало его — пламя или любовь, этого он и сам не знал. Краски на нем полиняли, — но было ли то от горя или же они сошли еще во время его путешествия, этого тоже никто не знал. Он не сводил глаз с маленькой танцовщицы, она тоже смотрела на него, и он чувствовал, что тает, однако все еще стоял прямо, с ружьем на плече. Но вдруг дверь в комнату распахнулась, сквозняк подхватил танцовщицу, и она, как мотылек, впорхнула в печку, прямо к оловянному солдатiku, вспыхнула ярким пламенем — и ее не стало. Тут оловянный солдатик совсем расплавился. От него остался только крошечный кусочек олова.

На следующий день, когда служанка выгребала золу, она нашла в топке оловянное сердечко. А от танцовщицы осталась только блестка. Но она уже не сверкала — почернела как уголь.

ДИКИЕ ЛЕБЕДИ

Далеко-далеко, в той стране, куда улетают от нас на зиму ласточки, жил король. У него было одиннадцать сыновей и одна дочка, Элиза. Одиннадцать братьев-принцев уже ходили в школу; на груди у каждого красовалась звезда, а сбоку гремела сабля; писали они на золотых досках алмазными грифелями и отлично умели читать, хоть по книжке, хоть наизусть — все равно. Сразу было слышно, что читают настоящие принцы! Сестрица их Элиза сидела на скамеечке из зеркального стекла и рассматривала книжку с картинками, за которую было заплачено полкорольства.

Да, хорошо жилось детям, только недолго!

Отец их, король той страны, женился на злой королеве, которая невзлюбила бедных детей. Им пришлось испытать это в первый же день; во дворце шло веселье, и дети затеяли игру в гости, но мачеха вместо разных пирожных и печеных яблок — их-то

уж они всегда получали вдоволь, дала им чашку песку и сказала, что они могут представить себе, буд-то это угощение.

Через неделю она отдала сестрицу Элизу на воспитание в деревню каким-то крестьянам, а прошло еще немного времени, и она успела столько наговорить королю о бедных принцах, что он больше и видеть их не хотел.

— Убирайтесь-ка подобра-поздорову на все четыре стороны! — сказала злая королева. — Обернитесь большими немymi птицами и улетайте прочь! Позаботьтесь о себе сами!

Но она не могла сделать им такого зла, как бы ей хотелось, — они превратились в одиннадцать прекрасных диких лебедей, с криком вылетели из дворцовых окон и понеслись над парками и лесами.

Было раннее утро, когда они пролетали мимо избы, где спала еще крепким сном их сестрица Элиза. Они принялись кружить над крышей, вытягивали свои гибкие шеи и хлопали крыльями, но никто не слышал и не видел их; так им и пришлось улететь ни с чем. Высоко-высоко взвились они к самым облакам и полетели в большой темный лес, что тянулся до самого моря.

Бедняжка Элиза стояла в крестьянской избе и играла зеленым листочком — других игрушек у нее не было; она проткнула в листке дырочку, смотрела сквозь нее на солнышко, и ей казалось, что она видит ясные глаза своих братьев; когда же теплые лучи солнца скользили по ее щеке, она вспоминала их нежные поцелуи.

Дни шли за днями, один как другой. Колыхал ли ветер розовые кусты, росшие возле дома, и шептал розам: «Есть ли кто-нибудь красивее вас?» — розы качали головками и говорили: «Элиза красивее». Сидела ли в воскресный день у дверей своего домика какая-нибудь старушка, читавшая псалтырь, а ветер переворачивал листы, спрашивая у книги: «Есть ли кто набожнее тебя?» — книга отвечала: «Элиза набожнее!» И розы и псалтырь говорили сущую правду.

Но вот Элизе минуло пятнадцать лет, и ее отправили домой. Увидав, какая она хорошенькая, королева разгневалась и возненавидела падчерицу. Она

с удовольствием превратила бы ее в дикого лебедя, да нельзя было сделать этого сейчас же, потому что король хотел видеть свою дочь.

И вот рано утром королева пошла в мраморную купальню, убранный чудными коврами и мягкими подушками, взяла трех жаб, поцеловала каждую и сказала первой:

— Сядь Элизе на голову, когда она войдет в купальню; пусть она делается такою же тупой и ленивой, как ты! А ты сядь ей на лоб! — сказала она другой. — Пусть Элиза станет такою же безобразной, как ты, и отец не узнает ее! Ты же ляг на ее сердце! — шепнула королева третьей жабе. — Пусть она будет злой и пусть мучается от этого!

Затем она спустила жаб в прозрачную воду, и вода сейчас же вся позеленела. Позвав Элизу, королева раздела ее и велела ей войти в воду. Элиза послушалась, и одна жаба села ей на темя, другая на лоб, а третья на грудь; но Элиза даже не заметила этого, и как только вышла из воды, по воде поплыли три красных мака. Если бы жабы не были отравлены поцелуем ведьмы, они превратились бы, полежав у Элизы на голове и на сердце, в красные розы; но они все равно стали цветами — девушка была так набожна и невинна, что колдовство не имело над ней власти.

Увидав это, злая королева натерла Элизу соком грецкого ореха, так что она стала совсем коричневой, вымазала ей личико вонючей мазью и спутала ее чудные волосы. Теперь нельзя было узнать прелестную Элизу. Даже отец ее испугался и сказал, что это не его дочь. Никто не признавал ее, кроме цепной собаки да ласточек, но кто стал бы слушать бедных тварей!

Заплакала Элиза и вспомнила о своих одиннадцати братьях; тайком ушла она из дворца и целый день брела по полям и болотам, пробираясь к лесу. Элиза и сама хорошенько не знала, куда надо ей идти, но так истосковалась по своим братьям, которые тоже были изгнаны из родного дома, что решила искать их повсюду, пока не найдет.

Недолго пробыла она в лесу, как уже настала ночь, и Элиза совсем сбилась с дороги; тогда она улеглась на мягкий мох, прочла молитву на сон гря-

дущий и склонила голову на пень. В лесу стояла тишина, воздух был такой теплый, в траве мелькали, точно зеленые огоньки, сотни светлячков, а когда Элиза задела рукой за какой-то кустик, они посыпались в траву звездным дождем.

Всю ночь снились Элизе братья: все они опять были детьми, играли вместе, писали грифельми на золотых досках и рассматривали чуднейшую книжку с картинками, которая стоила полкоролевства. Но писали они на досках не черточки и нулики, как бывало прежде, — нет, они описывали все, что видели и пережили. Все картинки в книжке были живые: птицы распевали, а люди сходили со страниц и разговаривали с Элизой и ее братьями; но стоило ей захотеть перевернуть лист, — они впрыгивали обратно, иначе в картинках вышла бы путаница.

Когда Элиза проснулась, солнышко стояло уже высоко; она даже не могла хорошенько видеть его за густою листвою деревьев, но отдельные лучи его пробивались между ветвями и бегали золотыми зайчиками по траве; от зелени шел чудный запах, а птички, казалось, готовы были сесть Элизе на плечи. Недалеке слышалось журчание источника; оказалось, что тут бежало несколько больших ручьев, вливавшихся в пруд с чудным песчаным дном. Пруд был окружен живой изгородью, но в одном месте дикие олени проломали для себя широкий проход, и Элиза могла спуститься к самой воде. Вода в пруду была чистая и прозрачная; не шевели ветер ветвей деревьев и кустов, можно было бы подумать, что и деревья и кусты нарисованы на дне, до того ясно отражались они в зеркале вод.

Увидев свое лицо, Элиза совсем перепугалась, так оно было черное и гадкое; но вот она зачерпнула горстью воды, потеряла глаза и лоб, и опять заблестела ее белая нежная кожа. Тогда Элиза разделась совсем и вошла в прохладную воду. Такой прелестной принцессы не сыскать было во всем свете!

Одевшись и заплетя свои длинные волосы, она пошла к журчащему источнику, напилась воды прямо из пригоршни и потом пошла дальше по лесу, сама не зная куда. Она думала о своих братьях и надеялась, что бог не покинет ее: это он ведь повелел расти диким лесным яблокам, чтобы питать ими голод-

ных; он же указал ей одну из таких яблонь, ветви которой гнулись от тяжести плодов. Утолив голод, Элиза подперла ветви палочками и углубилась в самую чащу леса. Там стояла такая тишина, что Элиза слышала свои собственные шаги, слышала шуршание каждого сухого листка, попадавшегося ей под ноги. Ни единой птички не залетало в эту глушь, ни единый солнечный луч не проскальзывал сквозь густую чащу ветвей. Высокие стволы стояли плотными рядами, точно бревенчатые стены; никогда еще Элиза не чувствовала себя такой одинокой.

Ночью стало еще темнее; во мху не светило ни единого светлячка. Печально улеглась Элиза на траву, и вдруг ей показалось, что ветви над ней раздвинулись и на нее глянул добрыми очами сам господь бог; маленькие ангелочки выглядывали из-за его головы и из-под рук.

Проснувшись утром, она и сама не знала, было ли то во сне или наяву.

Отправившись дальше, Элиза встретила старушку с корзиной ягод; старушка дала девушке горсточку ягод, а Элиза спросила ее, не проезжали ли тут, по лесу, одиннадцать принцев.

— Нет, — сказала старушка, — но вчера я видела здесь на реке одиннадцать лебедей в золотых коронах.

И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала река. По обоим берегам росли деревья, простиравшие навстречу друг другу свои длинные, густо покрытые листьями ветви. Те из деревьев, которым сперва не удавалось сплести своих ветвей с ветвями их братьев на противоположном берегу, так вытягивались над водой, что корни их вылезли из земли, и они все же добивались своего.

Элиза простилась со старушкой и пошла к устью реки, впадавшей в море.

И вот перед молодой девушкой открылось чудное безбрежное море, но на всем его просторе не виднелось ни одного паруса, не было ни единой лодочки, на которой бы она могла пуститься в дальнейший путь. Элиза посмотрела на бесчисленные валуны, выброшенные на берег морем, — вода отшлифовала их так, что они стали совсем гладкими и круглыми. Все предметы, которые выбрасывало море, будь они

из стекла, из железа или камня, — тоже носили следы этой шлифовки, а между тем вода была мягче нежных рук Элизы, и девушка подумала: «Волны неустанно катятся одна за другой и в конце концов шлифуют самые твердые вещи. Буду же и я трудиться неустанно! Спасибо вам за науку, светлые быстрые волны! Сердце говорит мне, что когда-нибудь вы отнесете меня к моим милым братьям!»

На выброшенных морем сухих пердослях лежали одиннадцать белых лебединых перьев; Элиза собрала и связала их в пучок; на перьях еще блестели капли — росы или слез, кто знает? Пустынно было на берегу, но Элиза не чувствовала этого: море ведь было так переменчиво; за несколько часов тут можно было увидеть больше, чем за целый год где-нибудь на берегах пресных внутренних озер. Если на небо надвигалась большая черная туча и ветер крепчал, море как будто говорило: «Я тоже могу почернеть!» — начинало бурлить, волноваться и покрывалось белыми барашками. Если же облака были розоватого цвета, а ветер спал, — море было похоже на лепесток розы; иногда оно становилось зеленым, иногда белым; но какая бы тишь ни стояла в воздухе и как бы спокойно ни было само море, у берега постоянно было заметно легкое волнение, — вода тихо вздымалась, словно грудь спящего ребенка.

Когда солнце было близко к закату, Элиза увидела вереницу летевших к берегу диких лебедей в золотых коронах; лебедей было одиннадцать, и летели они один за другим, вытянувшись длинной белой лентой. Элиза взобралась на верх обрыва и спряталась за куст. Лебеди опустились недалеко от нее и захлопали своими большими белыми крыльями.

В ту же самую минуту, когда солнце скрылось под водой, оперение с лебедей вдруг спало, и на берегу очутились одиннадцать красавцев принцев, Элизиных братьев! Элиза громко вскрикнула; она сразу узнала их, несмотря на то, что они сильно изменились, сердце подсказало ей, что это они! Она бросилась в их объятия, называла их всех по именам, а они-то как обрадовались, увидав и узнав свою сестрицу, которая так выросла и похорошела. Элиза и ее братья смеялись и плакали и скоро узнали друг от друга, как скверно поступила с ними мачеха.

— Мы, братья, — сказал самый старший, — заколдованы в диких лебедей и летаем весь день, от восхода до самого заката, когда же солнце садится, мы опять принимаем человеческий образ. Поэтому ко времени захода солнца мы всегда должны иметь под ногами твердую землю: случись нам превратиться в людей во время нашего полета под облаками, мы тотчас же упали бы с такой страшной высоты. Живем мы не тут; далеко-далеко за морем лежит такая же чудная страна, как эта, но дорога туда длинна, приходится перелетать через все море, а по пути нет ни единого острова, где бы мы могли провести ночь. Только в самой середине моря торчит небольшой одинокий утес, на котором мы кое-как и можем отдохнуть, тесно прижавшись друг к другу. Если море бушует, брызги воды перелетают даже через наши головы, но мы благодарим бога и за такое пристанище: не будь его, нам вовсе не удалось бы навестить нашей милой родины — и теперь-то для этого перелета нам приходится выбирать два самых длинных дня в году. Лишь раз в год позволено нам прилетать на родину; мы можем оставаться здесь одиннадцать дней и летать над этим большим лесом, откуда нам виден дворец, где мы родились и где живет наш отец, и колокольня церкви, где покоится наша мать. Тут даже кусты и деревья кажутся нам родными; тут по равнинам по-прежнему бегают дикие лошади, которых мы видели в дни нашего детства, а угольчики по-прежнему поют те песни, под которые мы плясали детьми. Тут наша родина, сюда тянет нас всем сердцем, и здесь-то мы нашли тебя, милая, дорогая сестрица! Два дня еще можем мы пробыть здесь, а затем должны улететь за море в чудную, но не родную нам страну! Как же нам взять тебя с собой? У нас нет ни корабля, ни лодки!

— Как бы мне освободить вас от чар? — спросила братьев сестра.

Так они проговорили почти всю ночь и задремали только на несколько часов.

Элиза проснулась от шума лебединых крыл. Братья опять стали птицами и летали в воздухе большими кругами, а потом и совсем скрылись из виду. С Элизой остался только самый младший из братьев; лебедь положил свою голову ей на колени,

а она гладила и перебирала его перышки. Целый день провели они вдвоем, к вечеру же прилетели и остальные, и, когда солнце село, все вновь приняли человеческий образ.

— Завтра мы должны улететь отсюда и сможем вернуться не раньше будущего года, но тебя мы не покинем здесь! — сказал младший брат. — Хватит ли у тебя мужества улететь с нами? Мои руки достаточно сильны, чтобы пронести тебя через лес, — неужели же мы все не сможем перенести тебя на крыльях через море?

— Да, возьмите меня с собой! — сказала Элиза.

Всю ночь провели они за плетением сетки из гибкого лозняка и тростника; сетка вышла большая и прочная; в нее положили Элизу; превратившись на восходе солнца в лебедей, братья схватили сетку клювами и взвились с милрой, спавшей еще крепким сном сестрицей к облакам. Солнце светило ей прямо в лицо, поэтому один из лебедей полетел над головой Элизы, осеняя ее своими широкими крыльями.

Они были уже далеко от земли, когда Элиза проснулась, и ей показалось, что она видит сон наяву, так странно было ей лететь по воздуху. Возле нее лежали ветка с чудесными спелыми ягодами и пучок вкусных кореньев; их набрал и положил ей самый младший из братьев, и она благодарно улыбнулась ему, — она догадалась, что это он летел над ней и защищал ее от солнца своими крыльями.

Высоко-высоко летели они, так что первый корабль, который они увидели в море, показался им плавающей на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако — настоящая гора! — и на нем Элиза увидела движущиеся исполинские тени одиннадцати лебедей и свою собственную. Вот была картина! Таких ей еще не приходилось видеть! Но по мере того как солнце подымалось выше и облако оставалось все дальше и дальше позади, воздушные тени мало-помалу исчезали.

Целый день летели лебеди, как пущенная из лука стрела, но все-таки медленнее обыкновенного; теперь ведь они несли сестру. День стал клониться к вечеру, поднялась непогода; Элиза со страхом следила за тем, как опускалось солнце, — одинокого морского утеса все еще не было видно. Ей показалось, что ле-

беди как-то часто машут крыльями. Ах, это она была виновата, что они не могли лететь быстрее! Зайдет солнце, они станут людьми, упадут в море и утонут! И она от всего сердца стала молиться богу, но утес все не показывался. Черная туча приближалась, сильные порывы ветра предвещали бурю, облака собралась в сплошную грозную свинцовую волну, катившуюся по небу; молния сверкала за молнией.

Одним своим краем солнце почти уже касалось воды; сердце Элизы затрепетало; лебеди вдруг стремительно полетели вниз, и девушка подумала было, что все они падают; но нет, они опять летели вперед. Солнце наполовину скрылось под водой, и тогда Элиза вдруг увидела под собой утес величиною не больше тюленя, высунувшего из воды голову. Солнце быстро угасало; теперь оно казалось только небольшою блестящею звездочкой; но вот лебеди ступили ногой на твердую почву, и солнце погасло, как последняя искра догоревшей бумаги. Элиза увидела вокруг себя братьев, стоявших рука об руку; все они едва умещались на крошечном утесе. Море бешено билось об него и окатывало их целым дождем брызг; небо пылало от молний, и ежеминутно грохотал гром, но сестра и братья держались за руки и пели псалом, вливавший в их сердца утешение и мужество.

На заре буря улеглась, опять стало ясно и тихо; с восходом солнца лебеди с Элизой полетели дальше. Море еще волновалось, и они видели с высоты, как плыла по темно-зеленой воде, точно несметные стаи лебедей, белая пена.

Когда солнце поднялось выше, Элиза увидела перед собой как бы плавающую в воздухе гористую страну с массаами блестящего льда на скалах; между скалами возвышался огромный замок, украшенный многоярусной колоннадой; внизу под ним качались пальмовые леса и роскошные цветы величиною с мельничные колеса. Элиза спросила, не та ли это страна, куда они летят, но лебеди покачали головами; она видела перед собой чудный, вечно изменяющийся облачный замок фата-морганы; туда не смеет проникнуть ни единая человеческая душа. Элиза опять устремила свой взор вниз, и вот горы, леса и замок сдвинулись вместе, и из них образовались

двадцать одинаковых величественных церквей с высокими колокольнями и стрельчатыми окнами. Ей показалось даже, что она слышит звуки органа, но это шумело море. Теперь церкви были уже совсем близко, но вдруг превратились в целую флотилию кораблей; Элиза взгляделась пристальнее и увидела, что это просто морской туман, подымавшийся над водой. Да, перед глазами у нее возникли вечно сменяющиеся картины! Но вот наконец показалась и настоящая земля, куда они летели. Там возвышались красивые голубые горы, поросшие кедровыми лесами, виднелись города и замки. Задолго до захода солнца Элиза сидела на скале перед большою пещерой, точно обвешанной вышитыми зелеными коврами,— так увидели ее нежно-зеленые ползучие растения.

— Посмотрим, что приснится тебе тут ночью!— сказал младший из братьев и указал сестре ее спальню.

— Ах, если бы мне приснилось, как освободить вас от чар!— сказала она,— эта мысль не выходила у нее из головы.

Элиза стала усердно молиться богу и продолжала свою молитву даже во сне. И вот ей пригрезилось, что она летит высоко-высоко по воздуху к замку фата-морганы и что фея сама выходит ей навстречу, такая светлая и прекрасная, но в то же время удивительно похожая на ту старушку, которая дала Элизе в лесу ягод и рассказала о лебедях в золотых коронах.

— Твоих братьев можно спасти,— сказала она.— Но хватит ли у тебя мужества и стойкости? Вода мягче твоих нежных рук и все-таки шлифует камни, но она не ощущает боли, которую будут ощущать твои пальцы; у воды нет сердца, которое бы стало изнывать от страха и муки, как твое. Видишь, у меня в руках крапива? Такая крапива растет здесь возле пещеры, и только она, да еще та крапива, что растет на кладбищах, может тебе пригодиться; заметь же ее! Ты нарвешь этой крапивы, хотя твои руки покроются волдырями от ожогов; потом разомнешь ее ногами, ссучишь из полученного волокна крепкие нити, затем сплетишь из них одиннадцать рубашек-панцирей с длинными рукавами и набросишь их на лебедей; тогда колдовство исчезнет. Но помни, что с той

минуты, как ты начнешь свою работу, и до тех пор, пока не окончишь ее, хотя бы она длилась целые годы, ты не должна говорить ни слова. Первое же слово, которое сорвется у тебя с языка, пронзит сердца твоих братьев, как кинжалом. Их жизнь и смерть будут в твоих руках! Помни же все это.

И фея коснулась ее руки жгучею крапивой; Элиза почувствовала боль, как от ожога, и проснулась. Был уже светлый день, и рядом с ней лежал пучок крапивы, точно такой же, как та, которую она видела сейчас во сне. Тогда она упала на колени, поблагодарила бога и вышла из пещеры, чтобы сейчас же приняться за работу.

Своими нежными руками рвала она злую, жгучую крапиву, и руки ее покрывались крупными волдырями, но она с радостью переносила боль: только ей удалось ей спасти милых братьев! Потом она размяла крапиву голыми ногами и стала сучить зеленое волокно.

С заходом солнца явились братья и очень испугались, видя, что она стала немой. Они думали, что это новое колдовство их злой мачехи, но, взглянув на ее руки, поняли, что она стала немой ради их спасения. Самый младший из братьев заплакал; слезы его падали ей на руки, и там, куда падала слезинка, исчезали жгучие волдыри, утихала боль.

Ночь Элиза провела за работой; она не знала покоя и думала только о том, как бы поскорее освободить своих милых братьев. Весь следующий день, пока лебеди летали, она оставалась одна-одинешенька, но никогда еще время не бежало для нее с такой быстротой. Одна рубашка-панцирь была уже готова, и девушка принялась за следующую.

Вдруг в горах послышались звуки охотничьих рогов; Элиза испугалась; звуки все приближались, затем раздался лай собак. Девушка скрылась в пещере, связала всю собранную ею крапиву в пучок и села на него.

В ту же минуту из-за кустов выпрыгнула большая собака, за ней другая и третья; они громко лаяли и бегали взад и вперед. Через несколько минут у пещеры собрались все охотники; самый красивый из них был король той страны; он подошел к Элизе, — никогда еще не встречал он такой красавицы!

— Как ты попала сюда, прелестное дитя? — спросил он, но Элиза только качала головой; она ведь не смела говорить: от ее молчания зависела жизнь и спасение ее братьев. Руки свои Элиза спрятала под передник, чтобы король не увидел, как она страдает.

— Пойдем со мной! — сказал он. — Здесь тебе нельзя оставаться! Если ты так же добра, как хороша, я наряжу тебя в шелк и бархат, надену тебе на голову золотую корону, и ты будешь жить в моем великолепном дворце! — И он посадил ее на седло перед собой; Элиза плакала и ломала руки, но король сказал: — Я ведь хочу тебе счастья. Когда-нибудь ты сама поблаговаришь меня!

И повез ее через горы, а охотники скакали следом.

К вечеру показалась великолепная столица короля, с церквями и куполами, и король привел Элизу в свой дворец, где в высоких мраморных покоях журчали фонтаны, а стены и потолки были изукрашены живописью. Но Элиза не смотрела ни на что, плакала и тосковала; безучастно отдалась она в распоряжение прислужниц, и те надели на нее королевские одежды, вплели ей в волосы жемчужные нити и натянули на обожженные пальцы тонкие перчатки.

Богатые уборы так шли к ней, она была в них так ослепительно хороша, что весь двор преклонился перед ней, а король провозгласил ее своей невестой, хотя архиепископ и покачивал головой, нашептывая королю, что лесная красавица, должно быть, ведьма, что она отвела им всем глаза и околдовала сердце короля.

Король, однако, не стал его слушать, подал знак музыкантам, велел вызвать прелестнейших танцовщиц и подавать на стол дорогие блюда, а сам повел Элизу через благоухающие сады в великолепные покои, она же оставалась по-прежнему грустной и печальной. Но вот король открыл дверцу в маленькую комнату, находившуюся как раз возле ее спальни. Комнатка вся была увешана зелеными коврами и напоминала лесную пещеру, где нашли Элизу; на полу лежала связка крапивного волокна, а на потолке висела сплетенная Элизой рубашка-панцирь; все это, как диковинку, захватил с собой из леса один из охотников.

— Вот тут ты можешь вспомнить свое прежнее жилище! — сказал король. — Тут и работа твоя; может быть, ты пожелаешь иногда поразвлечься среди всей окружающей тебя пышности воспоминаниями о прошлом!

Увидав дорогую ее сердцу работу, Элиза улыбнулась, и прежний румянец вновь окрасил ее щеки; она подумала о спасении братьев и поцеловала королю руку, а он прижал ее к груди и велел звонить в колокола по случаю своей свадьбы. Немая лесная красавица стала королевой.

Архиепископ продолжал нашептывать королю злые речи, но они не доходили до сердца короля, и свадьба состоялась. Архиепископ сам должен был надеть на невесту корону; с досады он так плотно надвинул ей на лоб узкий золотой обруч, что всякому стало бы больно, но она даже не обратила на это внимания: что значила для нее телесная боль, если сердце ее изнывало от тоски и жалости к милым братьям! Губы ее по-прежнему были сжаты, ни единого слова не вылетало из них — она знала, что от ее молчания зависит жизнь братьев, — зато в глазах светилась горячая любовь к доброму красивому королю, который делал все, чтобы только порадовать ее. С каждым днем она привязывалась к нему все больше и больше. О! Если бы она могла довериться ему, высказать ему свои страдания, но — увьи! — она должна молчать, пока не окончит своей работы. По ночам она тихонько уходила из королевской спальни в свою потаенную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну рубашку-панцирь за другой, но когда принялась уже за седьмую, у нее вышло все волокно.

Она знала, что такую крапиву можно найти на кладбище, но ведь она должна была рвать ее сама; как же быть?

«О, что значит телесная боль в сравнении с печалью, терзающею мое сердце! — думала Элиза. — Я должна решиться! Господь не оставит меня!»

Сердце ее сжималось от страха, точно она шла на дурное дело, когда пробиралась лунной ночью в сад, а оттуда по длинным аллеям и пустынным улицам на кладбище. На широких могильных плитах сидели отвратительные ведьмы; они сбросили с себя лох-

мотья, точно собирались купаться, разрывали своими костлявыми пальцами свежие могилы, вытаскивали оттуда тела и пожирали их. Элизе пришлось пройти мимо них, и они так и таращили на нее свои злые глаза, но она сотворила молитву, набрала крапивы и вернулась домой.

Лишь один человек не спал в ту ночь и видел ее — архиепископ; теперь он убедился, что был прав, подозревая королеву; итак, она была ведьмой и потому сумела околдовать короля и весь народ.

Когда король пришел к нему в исповедальную, архиепископ рассказал ему о том, что видел и что подозревал; злые слова так и сыпались у него с языка, а резные изображения святых качали головами, точно хотели сказать: «Неправда, Элиза невинна!» Но архиепископ перетолковывал это по-своему, говоря, что и святые свидетельствуют против нее, неодобрительно качая головами. Две крупные слезы покатались по щекам короля, сомнение и отчаяние овладели его сердцем. Ночью он только притворился, что спит, на самом же деле сон бежал от него. И вот он увидел, что Элиза встала и выскользнула из спальни; в следующие ночи повторилось то же самое; он следил за ней и видел, как она скрывалась в своей потаенной комнатке.

Чело короля становилось все мрачнее и мрачнее; Элиза замечала это, но не понимала причины; сердце ее ныло от страха и жалости к братьям; на королевский пурпур катились горькие слезы, блестевшие, как алмазы, а люди, видевшие ее богатые уборы, желали быть на месте королевы! Но скоро-скоро конец ее работе; недоставало всего одной рубашки, и тут у Элизы опять не хватило волокна. Еще раз, последний раз, нужно было сходить на кладбище и нарвать несколько пучков крапивы. Она с ужасом подумала о пустынном кладбище и о страшных ведьмах; но решимость ее спасти братьев была непоколебима, как и вера в бога.

Элиза отправилась в путь, но король с архиепископом следили за ней и видели, как она скрылась за кладбищенскою оградой; подойдя поближе, они увидели сидевших на могильных плитах ведьм, и король повернул назад; между этими ведьмами нахо-

дилась ведь и та, чья голова только что покоилась на его груди!

— Пусть судит ее народ! — сказал он.

И народ присудил — сжечь королеву на костре.

Из великолепных королевских покоев Элизу перевели в мрачное, сырое подземелье с железными решетками на окнах, в которые со свистом врвался ветер. Вместо бархата и шелка дали бедняжке связку набранной ею на кладбище крапивы; эта жгучая связка должна была служить Элизе изголовьем, а сплетенные ею жесткие рубашки-панцири — постелью и коврами; но дорожке этого ей ничего не было. И она с молитвой на устах вновь принялась за свою работу. С улицы доносились до Элизы оскорбительные песни насмежавшихся над нею уличных мальчишек; ни одна живая душа не обратилась к ней со словом утешения и сочувствия.

Вечером у решетки раздался шум лебединых крыл — это отыскал сестру самый младший из братьев, и она громко зарыдала от радости, хотя и знала, что ей оставалось жить всего одну ночь; зато работа ее подходила к концу, и братья были тут!

Архиепископ пришел провести с нею ее последние часы, — так обещал он королю, — но она покачала головой и взором и знаками попросила его уйти; в эту ночь ей ведь нужно было сплести последнюю рубашку, иначе пропали бы задаром все ее страдания, и слезы, и бессонные ночи! Архиепископ ушел, понося ее бранными словами, но бедняжка Элиза знала, что она невинна, и продолжала работать.

Чтобы хоть немножко помочь ей, мышки, шмыгавшие по полу, стали собирать и приносить к ее ногам разбросанные стебли крапивы, а дрозд, сидевший за решетчатым окном, утешал ее своею веселою песенкой.

На заре, незадолго до восхода солнца, у дворцовых ворот появились одиннадцать братьев Элизы и потребовали, чтобы их впустили к королю. Им отвечали, что этого никак нельзя: король еще спал и никто не смел его беспокоить. Они продолжали просить, потом стали угрожать; явилась стража, а затем вышел и сам король узнать, в чем дело. Но в эту минуту взошло солнце, и братьев не стало — над дворцом взвились одиннадцать диких лебедей.

Народ валом повалил за город посмотреть, как будут жечь ведьму. Жалкая кляча везла телегу, в которой сидела Элиза; на нее накинули плащ из грубой мешковины; ее чудные длинные волосы были распущены по плечам, в лице не было ни кровинки, губы тихо шевелились, шепча молитвы, а пальцы плели зеленую пряжу. Даже по дороге к месту казни не выпускала она из рук начатой работы; десять рубашек-панцирей лежали у ее ног совсем готовые, одиннадцатую она плела. Толпа глумилась над нею.

— Посмотрите на ведьму! Ишь, бормочет! Небось не молитвенник у нее в руках — нет, все возится со своими колдовскими штуками! Вырвем-ка их у нее да разорвем в клочки.

И они теснились вокруг нее, норовя вырвать из ее рук работу, как вдруг прилетели одиннадцать белых лебедей, сели по краям телеги и шумно захлопали своими могучими крыльями. Испуганная толпа отступила.

— Это знамение небесное! Она невинна, — шептали многие, но не смели сказать этого вслух.

Палач схватил Элизу за руку, но она поспешно набросила на лебедей одиннадцать рубашек, и... перед ней встали одиннадцать красавцев принцев, только у самого младшего не хватало одной руки, вместо нее было лебединое крыло: Элиза не успела закончить последней рубашки, в ней не доставало одного рукава.

— Теперь я могу говорить! — сказала она. — Я невинна!

И народ, видевший все, что произошло, преклонился перед ней, как перед святой, но она без чувств упала в объятия братьев — так обессилела она от неустанный напряжения, страха и боли.

— Да, она невинна! — сказал самый старший брат и рассказал все, как было; и пока он говорил, в воздухе распространилось благоухание, точно от множества роз, — это каждое полено в костре пустило корни и ростки, и образовался высокий благоухающий куст, покрытый красными розами. На самой же верхушке куста блестел, как звезда, ослепительный цветок. Король сорвал его, положил на грудь Элизы, и она пришла в себя на радость и на счастье!

Все церковные колокола зазвонили сами собой, птицы слетелись целыми стаями, и ко дворцу потянулось такое свадебное шествие, какого не видал еще ни один король!

РУСАЛОЧКА

В открытом море вода такая синяя, как васильки, и прозрачная, как чистое стекло, — но зато и глубоко там! Так глубоко, что ни одной цепи не хватит, чтобы якорь достал до дна, а чтобы измерить эту глубину, пришлось бы громоздить друг на друга невесть сколько колоколен. Вот там-то и живут русалки.

Не подумайте, что там, на дне, один голый белый песок; нет, там растут невиданные деревья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, как живые, при малейшем движении воды. Между ветвями шныряют рыбы большие и маленькие — точь-в-точь как у нас птицы. В самом глубоком месте стоит коралловый дворец морского царя с высокими стрельчатыми окнами из чистейшего янтаря и с крышей из раковин, которые то открываются, то закрываются, смотря по тому, прилив или отлив; это очень красиво: ведь в каждой раковине лежит такая сияющая жемчужина, что она одна украсила бы корону любой королевы.

Морской царь давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла старуха мать, женщина умная, но очень гордая своим родом: она носила на хвосте целую дюжину устриц, тогда как вельможи имели право носить всего-навсего шесть. Вообще же она была особа, достойная всяческих похвал, прежде всего потому, что очень любила своих маленьких внуков. Все шесть принцесс были прехорошенькими русалочками, но лучше всех была самая младшая, нежная и прозрачная, как лепесток розы, с глубокими синими, как море, глазами. Но у нее, как и у других русалок, не было ножек, а только рыбий хвост.

День-деньской играли принцессы в огромных дворцовых залах, где по стенам росли живые цветы. В открытые янтарные окна врывались рыбки, как у нас, бывает, влетают ласточки; рыбки не боялись

маленьких принцесс, ели из их рук и позволяли себя гладить.

Возле дворца был большой сад; там росли огненно-красные и темно-голубые деревья с вечно колеблющимися ветвями и листьями; плоды их при этом сверкали, как золото, а цветы — как огоньки. Вместо земли там был мелкий голубоватый, как серное пламя, песок, и потому там на всем лежал какой-то удивительный голубоватый отблеск, — казалось, будто витаешь высоко-высоко в воздухе, причем небо у тебя не только над головой, но и под ногами. В безветрие со дна видно было солнце; оно казалось пурпурным цветком, из чашечки которого лился свет.

У каждой принцессы был в саду уголок; тут они могли копать и сажать, что хотели. Одна сделала себе цветочную грядку в виде кита, другой захотелось, чтобы ее грядка была похожа на русалочку, а самая младшая сделала себе грядку круглую, как солнце, и засадила ее ярко-красными цветами. Странное дитя была эта русалочка: такая тихая, задумчивая. Другие сестры украшали свой садик разными разностями, которые доставались им с затонувших кораблей, а она любила только свои яркие, как солнце, цветы да прекрасного белого мраморного мальчика, упавшего на дно моря с какого-то погибшего корабля. Русалочка посадила у статуи красную плакучую иву, которая пышно разрослась; ветви ее обвивали статую и клонились к голубому песку, где колебалась их фиолетовая тень, — вершина и корни точно играли и целовались друг с другом!

Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старухе бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и о животных. Особенно занимало и удивляло русалочку то, что цветы на земле пахнут, — не то что тут, в море! — что леса там зеленые, а рыбы, которые живут в ветвях, звонко поют. Бабушка называла рыбками птичек, иначе внуки не поняли бы ее: они ведь сроду не видывали птиц. — Когда вам исполнится пятнадцать лет, — говорила бабушка, — вам тоже разрешат всплывать на поверхность моря, сидеть при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города!

В этот год старшей принцессе как раз должно было исполниться пятнадцать лет, но другим сестрам — они были погодки — приходилось еще ждать, и дольше всех — самой младшей. Но каждая обещала рассказать остальным сестрам о том, что ей больше всего понравится в первый день, — рассказов бабушки им было мало, им хотелось знать обо всем подробнее.

Никого не тянуло так на поверхность моря, как самую младшую, тихую, задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех. Сколько ночей провела она у открытого окна, вглядываясь в синеву моря, где шевелили своими плавниками и хвостами целые стаи рыбок! Она видела сквозь воду месяц и звезды; они, конечно, блестели не так ярко, но зато казались гораздо больше, чем кажутся нам. Случалось, что под ними скользило как будто большое темное облако, и русалочка знала, что это или проплывал кит, или проходил корабль с сотнями людей; они и не думали о хорошенькой русалочке, что стояла там, в глубине моря, и протягивала к килу корабля свои белые ручки.

Но вот старшей принцессе исполнилось пятнадцать лет и ей позволили всплыть на поверхность моря.

Сколько было рассказов, когда она вернулась назад! Но больше всего, по ее словам, ей понравилось лежать в тихую погоду на песчаной отмели и нежиться при свете месяца, любясь раскинувшимся по берегу городом: там, точно сотни звезд, горели огни, слышались музыка, шум и грохот экипажей, виднелись башни со шпилями, звонили колокола. Да, именно потому, что ей нельзя было попасть туда, ее больше всего и манило это зрелище.

Как жадно слушала ее рассказы самая младшая сестра! Стоя вечером у открытого окна и вглядываясь в морскую синеву, она только и думала, что о большом шумном городе, и ей казалось даже, что она слышит звон колоколов.

Через год и вторая сестра получила позволение подниматься на поверхность моря и плыть, куда захочет. Она вынырнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце садилось, и нашла, что лучше этого зрелища ничего и быть не может. Небо сияло, как

расплавленное золото, рассказывала она, а облака... да тут у нее уж и слов не хватало! Пурпуровые и фиолетовые, они быстро неслись по небу, но еще быстрее их неслась к солнцу, точно длинная белая вуаль, стая лебедей; русалочка тоже поплыла было к солнцу, но оно опустилось в море, и по небу и в воде разлилась розовая вечерняя заря.

Еще через год всплыла на поверхность моря третья принцесса; она была смелее всех и проплыла в широкую реку, которая впадала в море. Тут она увидела зеленые холмы, покрытые виноградниками, дворцы и дома, окруженные густыми рощами, где пели птицы; солнце светило и грело так, что ей не раз приходилось нырять в воду, чтобы освежить свое пылающее лицо. В маленькой бухте она увидела толпу голеньких ребятишек, которые плескались в воде; она хотела было поиграть с ними, но они испугались ее и убежали, а вместо них появился какой-то черный зверек и так страшно принялся на нее тявкать, что русалка перепугалась и уплыла назад в море; это была собака, но русалка ведь никогда еще не видала собак.

И вот принцесса все вспоминала эти чудные леса, зеленые холмы и прелестных детей, которые умеют плавать, хоть у них и нет рыбьего хвоста!

Четвертая сестра не была такой смелой; она держалась больше в открытом море и рассказывала, что это было лучше всего: куда ни глянь, на много-много миль вокруг одна вода да небо, опрокинутое, точно огромный стеклянный купол; вдали, как морские чайки, проносились большие корабли, играли и кувыркались веселые дельфины и пускали из ноздрей сотни фонтанов огромные киты.

Потом пришла очередь предпоследней сестры; ее день рождения был зимой, и поэтому она увидела то, что не видели другие: море было зеленоватого цвета, повсюду плавали большие ледяные горы — ни дать ни взять жемчужины, рассказывала она, но такие огромные, выше самых высоких колоколен, построенных людьми! Некоторые из них были причудливой формы и блестели, как алмазы. Она уселась на самую большую, ветер развевал ее длинные волосы, а моряки испуганно обходили гору подальше. К вечеру небо покрылось тучами, засверкала молния, загремел

гром и темное море стало бросать ледяные глыбы из стороны в сторону, а они так и сверкали при блеске молнии. На кораблях убрали паруса, люди метались в страхе и ужасе, а она спокойно плыла на ледяной горе и смотрела, как огненные зигзаги молнии, прорезав небо, падали в море.

Каждая из сестер была в восторге от того, что видела наверху в первый раз, — все было для них ново и потому нравилось; но, получив, как взрослые девушки, позволение плавать всюду, они скоро пресытились этими прогулками и через месяц стали говорить, что у них дома, на дне, лучше.

Часто по вечерам все пять сестер, взявшись за руки, подымались на поверхность; у всех были чудеснейшие голоса, каких не бывает у людей на земле, и вот, когда начиналась буря и они видели, что корабль обречен на гибель, они подплывали к нему и нежными голосами пели о чудесах подводного царства и уговаривали моряков не бояться опуститься на дно; но моряки не могли разобрать слов: им казалось, что это просто шумят волны; да им все равно и не удалось бы увидеть на дне никаких чудес — если корабль погибал, люди тонули и опускались ко дворцу морского царя уже мертвыми.

Младшая же русалочка, когда сестры ее всплывали рука об руку на поверхность моря, оставалась одна-одинешенька и смотрела им вслед, готовая заплакать, но русалки не умеют плакать, и от этого ей было еще тяжелей.

— Ах, когда же мне будет пятнадцать лет? — говорила она. — Я знаю, что очень люблю и тот мир, и людей, которые там живут!

Наконец и ей исполнилось пятнадцать лет.

— Ну вот, вырастили и тебя! — сказала бабушка, вдовствующая королева. — Поди сюда, надо и тебя принарядить, как других сестер!

И она надела русалочке на голову венок из белых лилий, — каждый лепесток был половинкой жемчужины, — потом, для обозначения высокого сана принцессы, приказала восьми устрицам прицепиться к ее хвосту.

— Ой, как больно! — воскликнула русалочка.

— Ради красоты и потерпеть не грех! — сказала старуха.

Ах, с каким удовольствием скинула бы с себя русалочка все эти уборы и тяжелый венок, — красные цветы из ее садика шли ей куда больше, — но она не посмела!

— Прощайте! — сказала она и легко и плавно, точно пузырек воздуха, поднялась на поверхность.

Солнце только что село, но облака еще сияли пурпуром и золотом, тогда как в красноватом небе уже зажигались ясные вечерние звезды; воздух был мягок и свеж, а море — как зеркало. Неподалеку от того места, где вынырнула русалочка, стоял трехмачтовый корабль всего лишь с одним поднятым парусом, — не было ведь ни малейшего ветерка; на вантах и реях сидели матросы, с палубы неслись звуки музыки и песен; когда же совсем стемнело, корабль осветился сотнями разноцветных фонариков; казалось, что в воздухе замелькали флаги всех наций. Русалочка подплыла к самым окнам каюты, и когда волны слегка приподымали ее, она могла заглянуть в каюту. Там было множество разодетых людей, но лучше всех был молодой принц с большими черными глазами. Ему, наверное, было не больше шестнадцати лет; в тот день праздновали его рождение, оттого на корабле и шло такое веселье. Матросы плясали на палубе, а когда вышел туда молодой принц, кверху взвились сотни ракет, и стало светло, как днем, так что русалочка совсем перепугалась и нырнула в воду, но скоро опять высунула голову, и ей показалось, что все звезды с небес попадали к ней в море. Никогда еще не видела она такой огненной потехи: большие солнца вертелись колесом, огромные огненные рыбы били в воздухе хвостами, и все это отражалось в тихой, ясной воде. На самом корабле было так светло, что можно было разглядеть каждую веревку, а людей и подавно. Ах, как хорош был молодой принц! Он пожимал людям руки, улыбался и смеялся, а музыка все гремела и гремела в тишине ясной ночи.

Становилось уже поздно, но русалочка глаз не могла оторвать от корабля и от красавца принца. Разноцветные огоньки потухли, ракеты больше не взлетали в воздух, не слышалось и пушечных выстрелов, зато загудело и застонало само море. Русалочка качалась на волнах рядом с кораблем и все заглядывала в каюту, а корабль стал набирать ско-

рость, паруса развертывались один за другим, ветер крепчал, волны все нарастали, облака сгустились, и где-то вдаль засверкала молния. Начиналась буря! Матросы принялись убирать паруса; огромный корабль страшно качало, ветер так и кидал его из стороны в сторону, вокруг корабля вздымались высокие волны, словно черные горы, грозившие сомкнуться над мачтами корабля, но он нырял между водяными стенами, как лебедь, и снова взлетал на гребни. Русалочку буря только забавляла, а морякам приходилось туго. Корабль стонал и скрипел, толстые доски трещали, волны перекатывались через палубу; грот-мачта переломилась, как тростинка, корабль опрокинулся набок, и вода хлынула в трюм. Тут русалочка поняла опасность; ей самой приходилось остерегаться бревен и обломков, носившихся по волнам. На минуту сделалось вдруг так темно, что хоть глаза выколи; но вот опять блеснула молния, и русалочка вновь увидела на корабле людей; каждый спасался как мог. Русалочка отыскала глазами принца и, когда корабль пошел ко дну, увидела, что принц погрузился в воду. Сначала русалочка очень обрадовалась тому, что он попадет теперь к ним на дно, но потом вспомнила, что люди не могут жить в воде и что он может приплыть во дворец ее отца только мертвым. Нет, нет, он не должен умереть! И она поплыла между бревнами и досками, совсем забывая, что они в любую минуту могут ее раздавить. Приходилось то нырять в самую глубину, то взлетать кверху вместе с волнами, но вот наконец она настигла принца, который уже почти совсем выбился из сил и не мог больше плыть по бурному морю; руки и ноги отказались ему служить, а прелестные глаза закрылись; он умер бы, не явись ему на помощь русалочка. Она приподняла над водой его голову и предоставила волнам нести их обоих куда угодно.

К утру непогода стихла; от корабля не осталось и щепки; солнце опять засияло над водой, и его яркие лучи как будто вернули щекам принца их живую окраску, но глаза его все еще не открывались.

Русалочка откинула со лба принца волосы и поцеловала его в высокий, красивый лоб; ей показалось, что принц похож на мраморного мальчика, что

стоит у нее в саду; она поцеловала его еще раз и пожелала, чтобы он остался жив.

Наконец она завидела твердую землю и высокие, уходящие в небо горы, на вершинах которых, точно стаи лебедей, белели снега. У самого берега зеленела чудная роща, а над ней высилась то ли церковь, то ли монастырь — она не знала толком, что это. В роще росли апельсиновые и лимонные деревья, а у ворот здания — высокие пальмы. У входа в тихую, но глубоководную бухту стоял утес, возле которого море намыло мелкий белый песок; вот сюда-то и приплыла русалочка и положила принца на берег, позаботившись о том, чтобы голова его лежала повыше и на самом солнышке.

В это время в высоком белом доме зазвонили в колокола, и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше, за большие камни, которые торчали из воды, покрыла себе волосы и грудь морской пеной — теперь никто не различил бы в этой пене ее лица — и стала ждать: не придет ли кто на помощь бедному принцу.

Ждать пришлось недолго: к принцу подошла одна из молодых девушек и сначала очень испугалась, но тут же собралась с духом и позвала на помощь людей. Затем русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто был возле него. А ей он не улыбнулся, он даже не знал, что она спасла ему жизнь! Грустно стало русалочке, и, когда принца увели в большое белое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой.

И прежде она была тихой и задумчивой, теперь же стала еще тише, еще задумчивее. Сестры спрашивали ее, что она видела в первый раз на поверхности моря, но она ничего им не рассказала.

Часто и вечером и утром приплывала она к тому месту, где оставила принца, видела, как созревали в садах плоды, как их потом собирали, видела, как стоял снег на высоких горах, но принца так больше и не видела и возвращалась домой с каждым разом все печальнее. Единственной отрадой было для нее сидеть в своем садике, обвивая руками красивую мраморную статую, похожую на принца, но за цветами она больше не ухаживала; они росли, как хотели, по тропинкам и на дорожках, переплелись своими

стеблями и листьями с ветвями дерева, и в садике стало совсем темно.

Наконец она не выдержала и рассказала обо всем одной из своих сестер; за ней узнали секрет и все остальные сестры, но больше никто, кроме разве еще двух-трех русалок, ну, а те никому не сказали, разве уж самым близким подругам. Одна из них, оказыва-ется, знала, кто этот принц, видела праздник на корабле и даже могла сказать, где находится его королевство.

— Поплыли вместе, сестрица! — сказали русалочке сестры и рука об руку поднялись на поверхность моря близ того места, где стоял дворец принца.

Дворец был из светло-желтого блестящего камня, с большими мраморными лестницами; одна из них спускалась прямо в море. Великолепные вызолоченные купола высились над крышей, а в нишах, между колоннами, окружавшими все здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые люди. Сквозь высокие зеркальные окна виднелись роскошные покои; всюду висели дорогие шелковые занавеси, были разостланы ковры, а стены украшены большими картинами. Загляденье, да и только! Посреди самой просторной залы журчал большой фонтан; струи воды били высоко-высоко под самый стеклянный купол потолка, через который на воду и на диковинные растения, росшие в бассейне, лились лучи солнца.

Теперь русалочка знала, где живет принц, и стала приплывать ко дворцу почти каждый вечер или каждую ночь. Ни одна из сестер не осмеливалась подплывать к земле так близко, как она; она же заплывала и в узкий канал, который проходил как раз под великолепным мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на молодого принца, а он-то думал, что гуляет при свете месяца один-одинешенек.

Много раз видела она, как он катался с музыкантами на своей нарядной лодке, украшенной развевающимися флагами, — русалочка выглядывала из зеленого тростника, и если люди иной раз замечали ее длинную серебристо-белую вуаль, развевающуюся по ветру, то думали, что это лебедь машет крыльями.

Не раз слышала она, как говорили о принце рыбаки, ловившие по ночам рыбу; они рассказывали

о нем много хорошего, и русалочка радовалась, что спасла ему жизнь, когда его, полумертвого, носила по волнам; она вспоминала, как его голова покоилась на ее груди и как нежно целовала она его тогда. А он-то ничего не знал о ней, она ему и присниться не могла!

Все больше и больше начинала русалочка любить людей, все сильнее и сильнее тянуло ее к ним; их земной мир казался ей куда больше, чем ее подводный; они могли ведь переплыть на своих кораблях море, взбираться на высокие горы к самым облакам, а их земля с лесами и полями тянулась далеко-далеко, ее и глазом не охватить! Русалочке очень хотелось побольше узнать о людях и об их жизни, но сестры не могли ответить на все ее вопросы, и она обращалась к бабушке: старуха хорошо знала «высший свет», как она справедливо называла землю, лежавшую над морем.

— Если люди не тонут, — спрашивала русалочка, — то они живут вечно, не умирают, как мы?

— Ну что ты! — отвечала старуха. — Они тоже умирают, их век даже короче нашего. Мы живем триста лет, но, когда нам приходит конец, нас не хоронят среди близких, у нас нет даже могил, мы просто превращаемся в морскую пену. Нам не дано бессмертной души, и мы никогда не воскресаем; мы — как тростник: вырвешь его с корнем, и он не зазеленеет вновь! У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живет вечно даже и после того, как тело превращается в прах; она улетает на небо, прямо к мерцающим звездам! Как мы можем подняться со дна морского и увидеть землю, где живут люди, так и они могут подняться после смерти в неведомые блаженные страны, которых нам не видать никогда!

— А почему у нас нет бессмертной души? — грустно спросила русалочка. — Я бы отдала все свои сотни лет за один день человеческой жизни, чтобы потом тоже подняться на небо.

— Вздор! Нечего и думать об этом! — сказала старуха. — Нам тут живется куда лучше, чем людям на земле!

— Значит, и я умру, стану морской пеной, не буду больше слышать музыки волн, не увижу чудесных цветов и красного солнца! Неужели я никак не могу обрести бессмертную душу?

— Можешь, — сказала бабушка, — если кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери, если отдастся он тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу; тогда частица его души сообщится тебе и когда-нибудь ты вкусишь вечного блаженства. Он даст тебе душу и сохранит при себе свою. Но этому не бывать никогда! Ведь то, что у нас считается красивым, твой рыбий хвост, например, люди находят безобразным; они ничего не смыслят в красоте; по их мнению, чтобы быть красивым, надо непременно иметь две неуклюжие подпорки — ноги, как они их называют.

Русалочка глубоко вздохнула и печально посмотрела на свой рыбий хвост.

— Будем жить — не тужить! — сказала старуха. — Повеселимся вволю свои триста лет — это срок немалый, тем слаще будет отдых после смерти! Сегодня вечером у нас во дворце бал!

Вот было великолепиие, какого не увидишь на земле! Стены и потолок танцевальной залы были из толстого, но прозрачного стекла; вдоль стен рядами лежали сотни огромных пурпурных и травянисто-зеленых раковин с голубыми огоньками в середине; огни эти ярко освещали всю залу, а через стеклянные стены — и море вокруг. Видно было, как к стенам подплывают стаи больших и маленьких рыб и чешуя их переливается золотом, серебром, пурпуром.

Посреди залы вода струилась широким потоком, и в нем танцевали водяные и русалки под свое чудное пение. Таких звучных, нежных голосов не бывает у людей. Русалочка пела лучше всех, и все хлопали ей в ладоши. На минуту ей было сделалось весело при мысли о том, что ни у кого и нигде, ни в море, ни на земле, нет такого чудесного голоса, как у нее; но потом она опять начала думать о надводном мире, о прекрасном принце, и ей стало грустно, что у нее нет бессмертной души. Она незаметно ускользнула из дворца и, пока там пели и веселились, печально сидела в своем садике. Вдруг сверху до нее донеслись звуки валторн, и она подумала: «Вот он опять катается на лодке! Как я люблю его! Больше, чем отца и мать! Я принадлежу ему всем сердцем, всеми свои-

ми помыслами, ему я бы охотно вручила счастье всей моей жизни! На все бы я пошла — только бы быть с ним и обрести бессмертную душу! Пока сестры танцуют в отцовском дворце, поплыву-ка я к морской ведьме; я всегда боялась ее, но, может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне!»

И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Ей еще ни разу не приходилось проплывать этой дорогой; тут не росли ни цветы, ни даже трава — кругом только голый серый песок; вода в водоворотах бурлила и шумела, как под мельничными колесами, и увлекала за собой в глубину все, что только встречала на пути. Русалочке пришлось плыть как раз между такими бурлящими водоворотами; дальше путь к жилищу ведьмы лежал через пузырившийся ил; это место ведьма называла своим торфяным болотом. А там уж было рукой подать до ее жилья, окруженного диковинным лесом: вместо деревьев и кустов в нем росли полипы, полуживотные-полурастения, похожие на стоголовых змей, торчащих прямо из песка; ветви их были подобны длинным ослизлым рукам с пальцами, извивающимися, как черви; полипы ни на минуту не переставали шевелить всеми своими сочленениями, от корня до самой верхушки, они хватили гибкими пальцами все, что только им попадалось, и уже никогда не выпускали. Русалочка испуганно приостановилась, сердечко ее забилось от страха, она готова была вернуться, но вспомнила о принце, о бессмертной душе и собралась с духом: крепко обвязала вокруг головы свои длинные волосы, чтобы в них не вцепились полипы, скрестила на груди руки и, как рыба, поплыла между омерзительными полипами, которые тянули к ней свои извивающиеся пальцы. Она видела, как крепко, точно железными клещами, держали они своими пальцами все, что удавалось им схватить: белые скелеты утонувших людей, корабельные рули, ящики, кости животных, даже одну русалочку. Полипы поймали и задушили ее. Это было страшнее всего!

Но вот она очутилась на скользкой лесной поляне, где кувыркались, показывая противное желтоватое брюхо, большие, жирные водяные ужи. Посреди поляны был выстроен дом из белых человеческих

костей; тут же сидела сама морская ведьма и кормила изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. Омерзительных ужей она звала своими цыплятками и позволяла им ползать по своей большой ноздреватой, как губка, груди.

— Знаю, знаю, зачем ты пришла! — сказала русалочке морская ведьма. — Глупости ты затеваешь, ну да я все-таки помогу тебе — тебе же на беду, моя красавица! Ты хочешь отделаться от своего хвоста и получить вместо него две подпорки, чтобы ходить, как люди; хочешь, чтобы молодой принц полюбил тебя, а ты получила бы бессмертную душу!

И ведьма захохотала так громко и гадко, что и жаба и ужи попадали с нее и растянулись на песке.

— Ну ладно, ты пришла в самое время! — продолжала ведьма. — Приди ты завтра поутру, было бы поздно, и я не могла бы помочь тебе раньше будущего года. Я изготовлю тебе питье, ты возьмешь его, поплывешь с ним к берегу еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли; тогда твой хвост удвоится и превратится в пару стройных, как сказали бы люди, ножек. Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят острым мечом. Зато все, кто тебя увидит, скажут, что такой прелестной девушки они еще не встречали! Ты сохранишь свою плавную, скользкую походку — ни одна танцовщица не сравнится с тобой; но помни, что ты будешь ступать как по лезвию ножа и изранишь свои ножки в кровь. Вытерпишь все это? Тогда я помогу тебе.

— Да! — сказала русалочка дрожащим голосом и подумала о принце и о бессмертной душе.

— Помни, — сказала ведьма, — что раз ты примешь человеческий облик, тебе уже не сделаться вновь русалкой! Не видать тебе ни морского дна, ни отцовского дома, ни сестер! А если принц не полюбит тебя так, что забудет ради тебя и отца и мать, не отдастся тебе всем сердцем и не велит священнику соединить ваши руки, чтобы вы стали мужем и женой, ты не получишь бессмертной души. С первой же зарей после его женитьбы на другой твое сердце разорвется на части, и ты станешь пеной морской!

— Пусть! — сказала русалочка и побледнела как смерть.



— А еще ты должна мне заплатить за помощь, — сказала ведьма. — И я недешево возьму! У тебя чудный голос, и им ты думаешь обворожить принца, но ты должна отдать этот голос мне. Я возьму за свой бесценный напиток самое лучшее, что есть у тебя: ведь я должна примешать к напитку свою собственную кровь, чтобы он стал остер, как лезвие меча.

— Если ты возьмешь мой голос, что же останется мне? — спросила русалочка.

— Твое прелестное лицо, твоя плавная походка и твои говорящие глаза — этого довольно, чтобы покоришь человеческое сердце! Ну полно, не бойся; высунешь язычок, и я отрежу его в уплату за волшебный напиток!

— Хорошо! — сказала русалочка, и ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье.

— Чистота — превыше всего! — сказала она и оттерла котел связкой живых ужей. Потом она расцарапала себе грудь; в котел закапала черная кровь, и скоро стали подниматься клубы пара, принимавшие такие причудливые формы, что просто страх брал. Ведьма поминутно подбавляла в котел новых и новых снадобий, и когда питье закипело, оно забулькало так, будто плакал крокодил. Наконец напиток был готов, на вид он казался прозрачайшей ключевой водой!

— Бери! — сказала ведьма, отдавая русалочке напиток; и русалочка стала немая — не могла больше ни пить, ни говорить!

— Если полипы схватят тебя, когда ты поплывешь назад, — сказала ведьма, — брызни на них каплю этого питья, и их руки и пальцы разлетятся на тысячи кусков!

Но русалочке не пришлось этого делать — полипы с ужасом отворачивались при одном виде напитка, сверкающего в ее руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она лес, миновала болото и бурлящие водовороты.

Вот и отцовский дворец; огни в танцевальной зале потушены, все спят. Русалочка не посмела больше войти туда, — ведь она была немая и собиралась покинуть отцовский дом навсегда. Сердце ее готово было разорваться от тоски и печали. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки у каждой сестры, по-

слала родным тысячи воздушных поцелуев и поднялась на синюю поверхность моря.

Солнце еще не вставало, когда она увидела перед собой дворец принца и присела на великолепную мраморную лестницу. Месяц озарял ее своим чудесным голубым сиянием. Русалочка выпила обжигающий напиток, и ей показалось, будто ее пронзили обоюдоострым мечом; она потеряла сознание и упала замертво. Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце; во всем теле она чувствовала жгучую боль. Перед ней стоял красавец принц и смотрел на нее своими черными, как ночь, глазами; она потупилась и увидела, что рыбий хвост исчез, а вместо него у нее две ножки, беленькие и маленькие, как у ребенка. Но она была совсем нагая и потому закуталась в свои длинные, густые волосы. Принц спросил, кто она и как сюда попала, но она только кротко и грустно смотрела на него своими темно-голубыми глазами: говорить ведь она не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. Ведьма сказала правду: каждый шаг причинял русалочке такую боль, будто она ступала по острым ножам и иголкам; но она терпеливо переносила боль и шла об руку с принцем легкая, как пузырек воздуха; принц и все окружающие только дивились ее чудной, скользкой походке.

Русалочку раздели в шелк и муслин, и она стала первой красавицей при дворе, но оставалась по-прежнему немой, не могла ни петь, ни говорить. Как-то раз красивые рабыни, все в шелку и золоте, появились перед принцем и его царственными родителями и стали петь. Одна из них пела особенно хорошо, и принц хлопал в ладоши и улыбался ей; русалочке стало очень грустно: когда-то и она могла петь, и несравненно лучше! «Ах, если бы он знал, что я навсегда рассталась со своим голосом, чтобы только быть возле него!»

Потом рабыни начали танцевать под звуки чудеснейшей музыки; тут и русалочка подняла свои белые хорошенькие ручки, встала на цыпочки и понеслась в легком, воздушном танце; так не танцевал еще никто! Каждое движение подчеркивало ее красоту, а глаза ее говорили сердцу больше, чем пение всех рабынь.

Все были в восхищении, особенно принц, он назвал русалочку своим маленьким найденным, и русалочка все танцевала и танцевала, хотя каждый раз, как только ноги ее касались земли, ей было так больно, будто она ступала по острым ножам. Принц сказал, что она всегда должна быть возле него, и ей было позволено спать на бархатной подушке перед дверями его комнаты.

Он велел сшить ей мужской костюм, чтобы она могла сопровождать его на прогулках верхом. Они ездили по благоухающим лесам, где в свежей листве пели птички, а зеленые ветви касались их плеч; они взбирались на высокие горы, и хотя из ее ног сочилась кровь и все видели это, она смеялась и продолжала следовать за принцем на самые вершины; там они любовались на облака, плывшие у их ног, точно стаи птиц, улетающих в чужие страны.

Когда же они оставались дома, русалочка ходила по ночам на берег моря, спускалась по мраморной лестнице, окунала свои пылавшие огнем ноги в холодную воду и думала о родном доме и о дне морском.

Раз ночью всплыли из воды рука об руку ее сестры и запели печальную песню, она кивнула им, они узнали ее и рассказали ей, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали ее каждую ночь, а один раз она увидела в отдалении даже свою старую бабушку, которая уже много-много лет не подымалась из воды, и самого морского царя с короной на голове; они простирали к ней руки, но не смели подплывать к земле так близко, как сестры.

День ото дня принц привязывался к русалочке все сильнее и сильнее, но он любил ее только как милое, доброе дитя, сделать же ее своей женой и королевой ему и в голову не приходило, а между тем ей надо было стать его женой, иначе она ведь не могла обрести бессмертной души и должна была, в день его женитьбы на другой, превратиться в морскую пену.

«Любишь ли ты меня больше всех на свете?» — казалось, спрашивали глаза русалочки, когда принц обнимал ее и целовал в лоб.

— Да, я люблю тебя! — говорил принц. — У тебя доброе сердце, ты предана мне больше всех и похожа на молодую девушку, которую я видел однажды

и, верно, больше уж не увижу! Я плыл на корабле, корабль разбился, волны выбросили меня на берег вблизи какого-то храма, где служат богу молодые девушки; самая младшая из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь; я видел ее всего два раза, но ее одну в целом мире мог бы я полюбить! Ты похожа на нее и почти вытеснила из моего сердца ее образ. Она принадлежит святому храму, и вот моя счастливая звезда послала мне тебя; никогда я не расстанусь с тобой!

«Увы! Он не знает, что это я спасла ему жизнь! — думала русалочка. — Я вынесла его из волн морских на берег и положила в роще, возле храма, а сама спряталась в морской пене и смотрела, не придет ли кто-нибудь ему на помощь. Я видела эту красивую девушку, которую он любит больше, чем меня! — И русалочка глубоко-глубоко вздыхала, плакать она не могла. — Но та девушка принадлежит храму, никогда не вернется в мир, и они никогда не встретятся! Я же нахожусь возле него, вижу его каждый день, могу ухаживать за ним, любить его, отдать за него жизнь!»

Но вот стали поговаривать, что принц женится на прелестной дочери соседнего короля и потому снаряжает свой великолепный корабль в плавание. Принц поедет к соседнему королю как будто для того, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом деле, чтобы увидеть принцессу; с ним едет большая свита. Русалочка на все эти речи только покачивала головой и смеялась — она ведь лучше всех знала мысли принца.

— Я должен ехать! — говорил он ей. — Мне надо посмотреть прекрасную принцессу; этого требуют мои родители, но они не станут принуждать меня жениться на ней, а я никогда не полюблю ее! Она ведь не похожа на ту красавицу, на которую похожа ты. Если уж мне придется наконец избрать себе невесту, я лучше выберу тебя, мой немой найденный с говорящими глазами!

И он целовал ее розовые губы, играл ее длинными волосами и клал свою голову к ней на грудь, где билось сердце, жаждавшее человеческого счастья и бессмертной души.

— Ты ведь не боишься моря, моя немая крошка?— говорил он, когда они уже стояли на великолепном корабле, который должен был отвезти их в земли соседнего короля.

И принц стал рассказывать ей о бурях и о штيله, о диковинных рыбах, что живут в глубинах, и о том, что видели там водолазы, а она только улыбалась, слушая его рассказы, — она-то лучше всех знала, что есть на дне морском.

В ясную лунную ночь, когда все, кроме рулевого, спали, она села у самого борта и стала глядеть в прозрачные волны; и ей показалось, что она видит отцовский дворец; старуха бабушка в серебряной короне стояла на вышке и смотрела сквозь волнующиеся струи воды на киль корабля. Затем на поверхность моря всплыли ее сестры; они печально смотрели на нее и ломали свои белые руки, а она кивнула им головой, улыбнулась и хотела рассказать о том, как ей хорошо здесь, но тут к ней подошел корабельный юнга, и сестры нырнули в воду, юнга же подумал, что это мелькнула в волнах белая морская пена.

Наутро корабль вошел в гавань великолепной столицы соседнего королевства. В городе зазвонили в колокола, с высоких башен раздались звуки рогов, а на площадях стали строиться полки солдат с блестящими штыками и развевающимися знаменами. Начались празднества, балы следовали за балами, но принцессы еще не было, — она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда ее отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она.

Русалочка жадно смотрела на нее и не могла не признать, что лица милее и прекраснее она еще не видала. Кожа у нее была такая нежная, прозрачная, а из-за длинных темных ресниц улыбались синие кроткие глаза.

— Это ты!— воскликнул принц.— Ты спасла мне жизнь, когда я, полумертвый, лежал на берегу моря!

И он крепко прижал к сердцу свою зардевшуюся невесту.

— Ах, я так счастлив!— сказал он русалочке.— То, о чем я не смел и мечтать, сбылось! Ты порадуешься моему счастью, ты ведь так любишь меня!

Русалочка поцеловала ему руку, и ей показалось, что сердце ее вот-вот разорвется от боли: его свадьба ведь убьет ее, превратит в морскую пену!

Колокола в церквах звонили, по улицам разезжали герольды, оповещая народ о помолвке принцессы. В алтарях в драгоценных сосудах курились благовония. Священники кадили ладаном, жених и невеста подали друг другу руки и получили благословение епископа. Русалочка, разодетая в шелк и золото, держала шлейф невесты, но уши ее не слышали праздничной музыки, глаза не видели блестящей церемонии, она думала о своем смертном часе и о том, что она теряет с жизнью.

В тот же вечер жених с невестой должны были отплыть на родину принца; пушки палили, флаги развевались, на палубе был раскинут роскошный шатер из золота и пурпура, устланный мягкими подушками; там новобрачные должны были провести эту тихую, прохладную ночь.

Паруса надулись от ветра, корабль легко и плавно скользнул по волнам и понесся в открытое море.

Как только смерклось, на корабле зажглись сотни разноцветных фонариков, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые поднялась на поверхность моря и увидела такое же веселье на корабле. И вот она понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая коршуном. Все были в восторге: никогда еще она не танцевала так чудесно! Ее нежные ножки болели, словно их резали ножами, но она не чувствовала этой боли — сердцу ее было еще больнее. Она знала, что лишь один вечер осталось ей пробыть с тем, ради кого она оставила родных и отцовский дом, отдала свой чудный голос и ежедневно терпела невыносимые мучения, о которых он и не догадывался. Лишь эту ночь оставалось ей дышать одним воздухом с ним, видеть синее море и звездное небо, а там наступит для нее вечная ночь, без мыслей, без сновидений. Ей ведь не было дано бессмертной души! Далеко за полночь продолжались на корабле танцы и музыка, и русалочка смеялась и танцевала со смертельной мукой в сердце, принц же целовал красавицу жену, а она играла его черными кудрями; на-

конец рука об руку удалились они в свой великолепный шатер.

На корабле все стихло, только рулевой стоял у руля. Русалочка оперлась своими белыми руками о борт и, повернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, как она знала, должен был убить ее. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры; они были бледны, как и она, но их длинные роскошные волосы не развевались больше по ветру — они были обрезаны.

— Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавиться тебя от смерти! А она дала нам вот этот нож — видишь, какой он острый? Прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца, и когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост и ты снова станешь русалкой, спустишься к нам в море и проживешь свои триста лет, прежде чем превратишься в соленую морскую пену. Но спеши! Или он, или ты — один из вас должен умереть до восхода солнца! Наша старая бабушка так печалится, что потеряла от горя все свои седые волосы, а нам остригла волосы своими ножницами ведьма! Убей принца и вернись к нам! Торопись, видишь, на небе показалась красная полоска? Скоро взойдет солнце, и ты умрешь!

С этими словами они глубоко вздохнули и погрузились в море.

Русалочка приподняла пурпурную занавесь шатра и увидела, что головка прелестной новобрачной покоится на груди принца. Русалочка наклонилась и поцеловала его в прекрасный лоб, посмотрела на небо, где разгоралась утренняя заря, потом посмотрела на острый нож и опять устремила взор на принца, который во сне произнес имя своей жены — она одна была у него в голове! — нож дрогнул в руках у русалочки. Еще минута — и она бросила его в волны, которые покраснели, точно окрасились кровью, в том месте, где он упал. В последний раз посмотрела она на принца полуугасшим взором, бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело ее расплывается пеной.

Над морем поднялось солнце; лучи его любовно согревали мертвенно-холодную морскую пену, и русалочка не чувствовала смерти; она видела ясное

солнце и сотни каких-то прозрачных, чудных созданий, реявших над ней, а сквозь них просвечивали белые паруса корабля и розовые облака в небе; голоса их звучали как музыка, но такая нежная, что человеческое ухо не расслышало бы ее, так же как человеческие глаза не различали их самих. У них не было крыльев, но они носились в воздухе, легкие и незримые. Русалочка увидела, что и у нее такое же тело, как у них, и что она все больше и больше отделяется от морской пены.

— К кому я иду? — спросила она, поднимаясь в воздухе, и ее голос звучал такую дивную музыкой, какой не в силах передать земные звуки.

— К дочерям воздуха! — ответили ей воздушные создания. — У русалки нет бессмертной души, и обрести ее она может, только если ее полюбит человек. Ее вечное существование зависит от чужой воли. У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они могут заслужить ее добрыми делами. Мы прилетаем в жаркие страны, где люди гибнут от знойного, зачумленного воздуха, и навеваем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и несем людям исцеление и отраду. Пройдет триста лет, во время которых мы будем усиленно творить добро, и мы получим в награду бессмертную душу и сможем изведать вечное блаженство, доступное людям. Ты, бедная русалочка, всем сердцем стремилась к тому же, что и мы, ты любила и страдала, подымись же вместе с нами в заоблачный мир. Теперь ты сама можешь добрыми делами заслужить себе бессмертную душу и обрести ее через триста лет!

И русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу и в первый раз почувствовала у себя на глазах слезы.

На корабле за это время все опять пришло в движение, и русалочка увидела, как принц с женой ищут ее. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену, точно знали, что русалочка бросилась в волны. Невидимая, поцеловала русалочка красавицу в лоб, улыбнулась принцу и поднялась вместе с другими дочерьми воздуха к розовым облакам, плававшим в небе.

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ,

*в которой говорится о зеркале,
и его осколках*

Ну, начнем! Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем теперь. Так вот, жил однажды тролль, злющий-презлющий, как сам дьявол. Раз он был в особенно хорошем расположении духа: он смастерил такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось донельзя, все же негодное и безобразное, напротив, так и бросалось в глаза и казалось еще хуже. Прекраснейшие пейзажи выглядели в нем вареным шпинатом, а лучшие из людей — уродами или казались стоящими кверху ногами и без животов, так что тролль не мог не хохотать, радуясь своей выдумке. Все ученики тролля — у него была своя школа — рассказывали о зеркале, как о каком-то чуде.

— Теперь только, — говорили они, — можно увидеть весь мир и людей в их настоящем свете!

И вот они бегали с зеркалом повсюду. Скоро не осталось ни одной страны, ни одного человека, которые бы не отразились в нем в искаженном виде. Напоследок захотелось им добраться и до неба.

Все выше и выше летели они, и вдруг зеркало так перекосило, что оно вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось вдребезги. Миллионы, биллионы и еще гораздо больше его осколков наделали, однако, несравненно больше вреда, чем само зеркало. Некоторые из них, величиной всего с песчинку, разлетаясь по белу свету, попадали, случалось, людям в глаза и так там и оставались. Человек же с таким осколком в глазу начинал видеть все наизусть или замечать в каждой вещи одно лишь дурное, так как каждый осколок сохранял свойство, которым отличалось прежде целое зеркало. Некоторым людям осколки попадали прямо в сердце, и это было хуже всего: сердце превращалось в кусок льда. Были между этими осколками и большие — такие, что их можно было вставить в оконные рамы, но уж в эти не стоило смотреть на своих добрых друзей. Наконец, были

такие осколки, которые пошли на очки; только беда была, если люди надевали их с целью посмотреть на вещи и судить о них вернее.

Злой тролль хохотал до колик в животе и наслаждался, словно его щекотали. А по свету летало еще много осколков зеркала. Послушаем же!

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

Мальчик и девочка

В большом городе, где столько домов и людей, что не всем удается отгородить себе хоть маленькое местечко для садика, и где поэтому большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей, но у них был садик побольше цветочного горшка.

Родители их жили под самой крышей в двух смежных домах. Там, где кровли домов почти сходились, под выступами кровель шел водосточный желоб, и туда как раз были обращены чердачные окошки обеих семей. Таким образом, стоило только перешагнуть с одного желоба на другой — и вы попадали к соседям.

У родителей было по большому деревянному ящику; в них росли овощи и небольшие кусты роз — в каждом по одному; кусты чудесно разрастались. Родителям пришлось в голову поставить эти ящики поперек желобов, и словно две цветущие грядки протянулись от одного окна к другому. Горох спускался из ящиков зелеными гирляндами, розовые кусты обрамляли окна и сплетались ветвями, а мальчик и девочка ходили друг к другу по крыше в гости и сидели на скамеечке под розами. Тут они чудесно играли.

Зимой окна зачастую замерзали, и это удовольствие прекращалось. Но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам — сейчас же оттаивало чудесное отверстие, такое круглое-круглое, а в него выглядывал веселый, ласковый глазок — это смотрели, каждый из своего окна, мальчик и девочка: Кай и Герда. Летом они в один прыжок могли очутиться друг у друга, а зимой надо было сначала спуститься на много-много

ступеней вниз, а затем подняться на столько же вверх. На дворе же ветер крутил снег.

— Это роятся белые пчелки!— говорила старая бабушка.

— А у них тоже есть королева?— спрашивал мальчик: он знал, что у настоящих пчел есть такая.

— Есть,— отвечала бабушка.— Она там, где рой всего гуще, она больше всех и никогда подолгу не остается на земле — всегда взлетает на черное облако. Часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки, и стекла тогда покрываются ледяными узорами, словно цветами.

— Видели, видели!— говорили дети и верили, что все это сущая правда.

— А Снежная королева не может войти сюда?— спросила раз девочка.

— Пусть-ка попробует!— сказал мальчик.— Я посажу ее на теплую печку, вот она и растает.

Но бабушка погладила его по головке и завела разговор о другом.

Вечером, когда Кай был дома и почти совсем разделся, собираясь лечь спать, он вскарабкался на стул у окна и поглядел в маленький, оттаявший на оконном стекле кружочек. За окном порхали снежинки; одна из них, побольше, упала на край цветочного ящика и начала расти, расти, пока наконец не превратилась в женщину, закутанную в тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звездочек. Она была так прелестна и нежна, но изо льда, из ослепительного, сверкающего льда, и все же живая! Глаза ее сияли, как звезды, но в них не было ни теплоты, ни покоя. Она кивнула мальчику и поманила его рукой. Мальчуган испурился и спрыгнул со стула; мимо окна промелькнуло что-то похожее на большую птицу.

На другой день был славный мороз, но затем сделалась оттепель, а там пришла и весна. Солнце светило, зелень опять показалась из земли, ласточки вили под крышей гнезда, окна растворили, и дети снова сидели в своем маленьком садике высоко над всеми этажами.

В то лето розы цвели особенно пышно.

Дети пели, взявшись за руки, целовали розы, смотрели на солнечное сияние и разговаривали

с ним. Один раз Кай и Герда рассматривали книжку с картинками — зверями и птицами; на больших башенных часах пробило пять.

— Ай!— вскрикнул вдруг мальчик.— Меня кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз!

Девочка обвила ручонкой его шею; он мигал глазами, но ни в одном ничего не было видно.

— Должно быть, выскочило,— сказал он.

Но в том-то и дело, что нет. Это был как раз крошечный осколок дьявольского зеркала.

Бедняжка Кай! Теперь сердце его должно было превратиться в кусок льда! Боль прошла, но осколок остался.

— О чем же ты плачешь?— спросил он Герду.— Мне совсем не больно. Какая ты делаешься некрасивая! Фу!— закричал он затем.— Эту розу точит червь. А та совсем кривая. Какие гадкие розы! Не лучше ящиков, в которых торчат!

И он толкнул ящик ногою и обломал две розы.

— Кай, что ты делаешь?— закричала девочка, а он, увидя ее испуг, сорвал еще одну и убежал от миленькой маленькой Герды в свое окно.

Приносила ли после того ему девочка книжку с картинками, он говорил, что эти картинки хороши только для грудных ребят; рассказывала ли что-нибудь бабушка, он придирался к ее словам. А потом... дошел и до того, что крался за ней, передразнивая ее походку, стал надевать очки, подражать ее голосу. Выходило очень похоже и смешило людей. Скоро мальчик выучился передразнивать и всех соседей. Он отлично умел выставить напоказ все их странности и недостатки, и люди говорили:

— Что за голова у этого мальчугана!

А причиной всему был осколок зеркала, что попал ему в глаз, а затем и в сердце. Потому-то он и передразнивал даже маленькую миленькую Герду, которая любила его всем сердцем.

И забавы его стали теперь совсем иными, такими мудренными. Раз зимою, когда шел снег, он явился с большим увеличительным стеклом и подставил под снег полу своего синего пальто.

— Погляди в стекло, Герда,— сказал он.

Каждая снежинка казалась под стеклом куда больше, чем была на самом деле, и походила на

роскошный цветок или десятиугольную звезду. Это было очень красиво.

— Видишь, как искусно сделано! — сказал Кай. — Это гораздо интереснее настоящих цветов! И какая точность! Ни единой неправильной линии! Ах, если бы только они не таяли!

Немного спустя Кай явился в больших рукавицах, с санками за спиной, крикнул Герде в самое ухо: «Мне позволили покататься на большой площади с другими мальчиками!» — и убежал.

На площади каталось множество детей. Те, что были посмелее, привязывали свои санки к крестьянским саням и прокатывались таким образом довольно далеко. Веселье так и кипело. В самый разгар его на площади появились большие сани, выкрашенные в белый цвет. В них сидел кто-то укутанный в белую меховую шубу и в такой же шапке. Сани объехали вокруг площади два раза. Кай живо привязал к ним свои санки и покатился. Большие сани понеслись по площади и затем свернули в переулок. Сидевший в них человек обернулся и дружески кивнул Каю, точно знакомому. Кай несколько раз порывался отвязать свои санки, но человек в шубе кивал ему, и он продолжал ехать.

Вот они выехали за городские ворота. Снег повалил вдруг хлопьями, да так густо, что Кай не мог видеть своей протянутой руки. Мальчик поспешил отпустить веревку, которою зацепился за большие сани, но санки его точно приросли к ним и продолжали нестись вихрем. Кай громко закричал — никто не услышал его. Снег валил, санки мчались, ныряя в сугробах, прыгая через изгороди и канавы. Кай весь дрожал.

Снежные хлопья все росли и обратились под конец в большие белые курицы. Вдруг они разлетелись в стороны, большие сани остановились, и сидевший в них человек встал. Это была высокая, стройная, ослепительно белая женщина — Снежная королева; и шуба и шапка на ней были из снега.

— Славно проехались! — сказала она. — Но ты совсем замерз — полезай ко мне в медвежью шубу!

И, посадив мальчика в сани, она завернула его в свою шубу. Кай словно опустился в снежный сугроб.

— Все еще мерзнешь? — спросила она и поцеловала его в лоб.

У! Поцелуй ее был холоднее льда, он пронизал его насквозь и дошел до самого сердца, а оно и без того уже было наполовину ледяным. Каю показалось, что он сейчас умрет... Но это только на одну минуту, а потом, напротив, ему стало хорошо, он даже совсем перестал зябнуть.

— Мои санки! Не забудь мои санки! — спохватился он.

И санки были привязаны на спину одной из белых куриц, которая полетела с ними за большими санями. Снежная королева поцеловала Каю еще раз, и он позабыл и Герду, и бабушку, и всех домашних.

— Больше я не буду целовать тебя, — сказала она. — А не то зацелую до смерти.

Кай взглянул на нее. Она была так хороша! Более умного, прелестного лица он не мог себе и представить. Теперь она не казалась ему ледяною, как в тот раз, когда сидела за окном и кивала ему головой.

Он совсем не боялся ее и рассказал ей, что знает все четыре действия арифметики, да еще с дробями, знает, сколько в каждой стране квадратных миль и жителей, а она только улыбалась в ответ. И тогда ему показалось, что он в самом деле знает мало.

В тот же миг Снежная королева подхватила его, и они взвились на черное облако. Буря выла и стонала, словно распевала старинные песни; они летели над лесами и озерами, над морями и твердой землей; под ними дули холодные ветры, выли волки, сверкал снег, летали с криком черные вброны, а над ними сиял большой ясный месяц. На него смотрел Кай всю долгую-долгую зимнюю ночь, — днем он спал у ног Снежной королевы.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ

Цветник женщины, умевшей колдовать

А что же было с Гердой, когда Кай не вернулся? И куда он девался? Никто этого не знал.

Мальчики рассказали только, что видели, как он привязал свои санки к большим великолепным саням, которые потом свернули в переулок и выехали за городские ворота.

Много было пролито слез; горько и долго плакала Герда. Наконец порешили, что Кай умер: утонул в реке, протекавшей за городом. Долго тянулись мрачные зимние дни.

Но вот настала весна, выглянуло солнце.

— Кай умер и больше не вернется! — сказала Герда.

— Не верю! — отвечал солнечный свет.

— Он умер и больше не вернется! — повторила она ласточкам.

— Не верим! — ответили они.

Под конец и сама Герда перестала этому верить.

— Надену-ка я свои красные башмачки (Кай ни разу еще не видал их), — сказала она однажды утром, — да пойду к реке спрошу про него.

Было еще очень рано. Она поцеловала спящую бабушку, надела красные башмачки и побежала одна-одинешенька за город, прямо к реке.

— Правда, что ты взяла моего названного брата? — спросила Герда. — Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты отдашь мне его назад!

И девочке почудилось, что волны как-то странно кивают ей. Тогда она сняла свои красные башмачки — самое драгоценное, что у нее было, — и бросила их в реку. Но они упали как раз у берега, и волны сейчас же выбросили их — река как будто не хотела брать у девочки ее драгоценность, так как не могла вернуть ей Кая. Девочка же подумала, что бросила башмачки недостаточно далеко, влезла в лодку, качавшуюся в тростнике, стала на самый краешек кормы и опять бросила башмачки в воду. Лодка не была привязана и от ее движения стала медленно отплывать от берега. Девочка хотела поскорее выпрыгнуть на берег, но пока она пробиралась с кормы на нос, лодка уже отошла далеко от берега и быстро понеслась по течению.

Герда ужасно испугалась и принялась плакать и кричать, но никто, кроме воробьев, не слышал ее криков. Воробьи же не могли перенести ее на сушу и только летели за ней вдоль берега и щебетали, словно желая ее утешить:

— Мы здесь! Мы здесь!

Лодку уносило все дальше. Герда сидела смиренно, в одних чулках; красные башмачки ее плыли за лодкой, но не могли догнать ее.

«Может быть, река несет меня к Каю!» — подумала Герда, повеселела, встала на ноги и долго-долго любовалась красивыми зелеными берегами.

Но вот она приплыла к большому вишневному саду, в котором приютился домик с красными и синими стеклами в окошках и с соломенной крышей. У дверей стояли два деревянных солдата и отдавали честь всем, кто проплывал мимо.

Герда закричала им — она приняла их за живых, — но они, понятно, не ответили ей. Вот она подплыла к ним еще ближе, лодка подошла чуть не к самому берегу, и девочка закричала еще громче. Из домика вышла, опираясь на клюку, старая-престарая старушка в большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами.

— Ах ты, бедная крошка! — сказала старушка. — Как это ты попала на такую большую быструю реку да забралась так далеко?

С этими словами старушка вошла в воду, зацепила лодку своею клюкою, притянула ее к берегу и высадила Герду.

Герда была рада-радешенька, что очутилась наконец на суше, хоть и побаивалась чужой старухи.

— Ну, пойдем. Расскажи мне, кто ты и как сюда попала, — сказала старушка.

Герда стала рассказывать ей обо всем, а старушка покачивала головой и повторяла: «Гм! Гм!» Когда девочка кончила, она спросила старуху, не видала ли она Кая. Та ответила, что он еще не проходил тут, но, верно, пройдет, так что девочке пока не о чем горевать; пусть лучше попробует вишен да полюбуется цветами, что растут в саду: они красивее нарисованных в любой книжке с картинками и все умеют рассказывать сказки. Тут старушка взяла Герду за руку, увела к себе в домик и заперла дверь на ключ.

Окна были высоко от пола и все из разноцветных — красных, голубых и желтых — стеклышек; от этого и сама комната была освещена каким-то удивительным радужным светом. На столе стояла корзинка с чудесными вишнями, и Герда могла есть их сколько душе угодно. Пока же она ела, старушка

расчесывала ей волосы золотым гребешком. Волосы вились кудрями и золотым сиянием окружали милое, приветливое, круглое, словно роза, личико девочки.

— Давно мне хотелось иметь такую миленькую девочку!— сказала старушка.— Вот увидишь, как ладно мы заживем с тобой!

И она продолжала расчесывать кудри девочки, и чем дольше чесала, тем больше Герда забывала своего названного братца Кая,— старушка умела колдовать. Она не была злою колдуньей и колдовала только изредка, для своего удовольствия; теперь же ей очень захотелось оставить у себя Герду. И вот она пошла в сад, дотронулась своей клюкой до всех розовых кустов, и те, как стояли в полном цвету, так все и ушли глубоко-глубоко в землю, и следа от них не осталось. Старушка боялась, что Герда при виде этих роз вспомнит о своих розах, а там и о Кае, да и убежит от нее.

Потом старушка повела Герду в цветник. Тут были цветы всех родов и всех времен года. Во всем свете не нашлось бы книжки с картинками пестрее, красивее этого цветника. Герда прыгала от радости и играла среди цветов, пока солнце не село за высокими вишневыми деревьями. Тогда ее уложили в чудесную постельку с красными шелковыми перинками, набитыми голубыми фиалками. Девочка заснула, и ей снились такие сны, какие видит разве королева в день своей свадьбы.

На другой день Герде опять позволили играть в чудесном цветнике на солнце. Так прошло много дней. Герда знала теперь каждый цветочек, но, как ни много их было, ей все-таки казалось, что какого-то недостает, только какого же? Раз она сидела и рассматривала соломенную шляпу старушки, расписанную цветами; самым красивым из них как раз была роза — старушка забыла ее стереть, когда загнала живые розы в землю. Вот что значит рассеянность!

— Как! Тут нет роз?— сказала Герда и сейчас же побежала искать их на грядках.

Искала, искала, да так их и не нашла.

Тогда девочка опустила на землю и заплакала. Теплые слезы упали как раз на то место, где стоял прежде один из розовых кустов, и как только они

смочили землю, куст мгновенно вырос из нее, такой же цветущий, как прежде.

Герда обвила его ручонками, принялась целовать цветы и вспомнила о тех чудных розах, что цвели у нее дома, а вместе с тем и о Кае.

— Как же я замешкалась!— сказала девочка.— Мне ведь надо искать Кая!.. Не знаете ли вы, где он?— спросила она у роз.— Верите ли вы тому, что он умер и не вернется больше?

— Он не умер!— сказали розы.— Мы ведь были под землею, где все умершие, но Кая меж ними не было.

— Спасибо вам!— сказала Герда и пошла к другим цветам, заглядывала в их чашечки и спрашивала:— Не знаете ли вы, где Кай?

Но каждый цветок грелся на солнышке и думал только о собственной своей сказке или истории. Много их выслушала Герда, но ни один из цветов не сказал ни слова о Кае.

И Герда пошла к одуванчику, сиявшему в блестящей зеленой траве.

— Ты, маленькое ясное солнышко!— сказала ему Герда.— Скажи, не знаешь ли ты, где искать моего названного братца?

Одуванчик засиял еще ярче и взглянул на девочку. Какую же песенку спел он ей? Увы! И в этой песенке ни слова не говорилось о Кае!

— Был первый весенний день, солнце грело и так приветливо светило на маленький дворик. Лучи его скользили по белой соседней стене, и возле самой стены из зеленой травки выглядывали первые желтенькие цветочки, сверкавшие на солнце, словно золотые. Во двор вышла посидеть старушка бабушка. Вот пришла из гостей ее внучка, бедная служанка, и крепко поцеловала старушку. Поцелуй девушки дороже золота — он идет прямо от сердца. Золото на ее губах, золото в сердце, золото и на небе в утренний час! Вот и все!— сказал одуванчик.

— Бедная моя бабушка!— вздохнула Герда.— Верно, она скучает обо мне. Верно, горюет, как горевала о Кае. Но я скоро вернусь и приведу его с собой. Нечего больше и спрашивать цветы — от них ничего не добьешься, они знают только свои сказки и песенки!— И она побежала в конец сада.

Дверь была заперта, но Герда так долго шатала ржавый засов, что он поддался, дверь отворилась, и девочка так, босоножкой, и пустилась бежать по дороге. Раза три оглядывалась она назад, но никто не гнался за нею.

Наконец она устала, присела на камень и огляделась кругом: лето уже прошло, на дворе стояла поздняя осень, а в чудесном саду старушки, где вечно сияло солнышко и цвели цветы всех времен года, этого не было заметно.

— Господи! Как же я замешкалась! Ведь уж осень на дворе! Тут не до отдыха!— сказала Герда и опять пустилась в путь.

Ах, как ныли ее бедные, усталые ножки! Как холодно, сыро было вокруг! Длинные листья на ивах совсем пожелтели, туман оседал на них крупными каплями и стекал на землю; листья так и сыпались. Один терновник стоял весь покрытый вяжущими, терпкими ягодами. Каким серым, унылым казался весь мир!

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

Принц и принцесса

Пришлось Герде опять присесть отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон. Он долго смотрел на девочку, кивая ей головою, и наконец заговорил:

— Кар-кар! Здррравствуй!

Чище этого он выговаривать по-человечески не мог, но, видимо, желал девочке добра и спросил ее, куда это она бредет по белу свету совсем одна. Слово «одна» Герда поняла отлично и сразу почувствовала все его значение. Рассказав ворону всю свою жизнь, девочка спросила, не видал ли он Кая.

Ворон задумчиво покачал головой и сказал:

— Очень вероятно, очень вероятно!

— Как! Правда?— воскликнула девочка и чуть не задушила ворона поцелуями.

— Поттише, поттише!— сказал ворон.— Я думаю, что это был твой Кай. Но теперь он, верно, забыл тебя со своей принцессой!

— Разве он живет у принцессы?— спросила Герда.

— А вот послушай,— сказал ворон.— Только мне ужасно трудно говорить по-вашему. Вот если бы ты понимала по-вороньи, я рассказал бы тебе обо всем куда лучше.

— Нет, этому меня не учили,— сказала Герда.

— Ну ничего,— сказал ворон.— Расскажу, как сумею, хоть и плохо.

И он рассказал обо всем, что сам знал:

— В королевстве, где мы с тобой находимся, есть принцесса, такая умница, что и сказать нельзя! Она прочла все газеты на свете и позабыла все, что в них прочла,— вот какая умница! Раз как-то сидела она на троне — а веселья-то в этом не слишком много, как говорят люди,— и напевала песенку: «Отчего бы мне не выйти замуж?» «А ведь и в самом деле!»— подумала она, и ей захотелось замуж. Но в мужья она хотела выбрать себе такого человека, который бы сумел отвечать, когда с ним заговорят, а не такого, что умел бы только важничать,— это ведь так скучно! И вот барабанным боем созвали всех придворных дам и объявили им волю принцессы. Все они были очень довольны и сказали: «Вот это нам нравится! Мы и сами недавно об этом думали!» Все это истинная правда!— прибавил ворон.— У меня при дворе есть невеста — она ручная ворона,— от нее-то я и знаю все это.

На другой день все газеты вышли с каймой из сердца и с вензелями принцессы. В газетах было объявлено, что каждый молодой человек приятной наружности может явиться во дворец и побеседовать с принцессой; того же, кто будет держать себя вполне свободно, как дома, и окажется всех красноречивее, принцесса избереет себе в мужья. Да, да!— повторил ворон.— Все это так же верно, как то, что я сижу здесь перед тобою. Народ повалил во дворец валом, пошла давка и толкотня, но толку не вышло никакого ни в первый, ни во второй день. На улице все женихи говорили отлично, но стоило им перешагнуть дворцовый порог, увидеть гвардию всю в серебре, а лакеев в золоте и вступить в огромные, залитые светом залы, как их брала оторопь. Подступят к трону, где сидит принцесса, да и повторяют только ее же последние слова, а ей вовсе не это было нужно. Право, их всех точно опаивали дурманом! А выйдя за

ворота, они опять обретали дар слова. От самых ворот до дверей тянулся длинный-длинный хвост женихов. Я сам там был и видел.

— Ну, а Кай-то, Кай? — спросила Герда. — Когда же он явился? И он пришел свататься?

— Постой! Постой! Теперь мы как раз дошли и до него! На третий день явился небольшой человек, ни в карете, ни верхом, а просто пешком, и прямо вошел во дворец. Глаза его блестели, как твои; волосы у него были длинные, но одет он был бедно.

— Это Кай! — обрадовалась Герда. — Я нашла его! — И она захлопала в ладоши.

— За спиной у него была котомка, — продолжал ворон.

— Нет, это, верно, были его саночки! — сказала Герда. — Он ушел из дому с санками.

— Очень возможно, — сказал ворон. — Я не разглядел хорошенько. Так вот, моя невеста рассказывала мне, что, войдя в дворцовые ворота и увидав гвардию в серебре, а на лестницах лакеев в золоте, он ни капельки не смутился, кивнул головой и сказал: «Скучненько, должно быть, стоять тут на лестнице, я лучше войду в комнаты!» Залы были залиты светом. Тайные советники и превосходительства рассказывали без сапог, разнося золотые блюда, — торжественнее уж нельзя было! А его сапоги громко скрипели, но он этим не смущался.

— Это, наверно, Кай! — воскликнула Герда. — Я знаю, что на нем были новые сапоги. Я сама слышала, как они скрипели, когда он приходил к бабушке.

— Да, они таки скрипели порядком, — продолжал ворон. — Но он смело подошел к принцессе. Она сидела на жемчужине величиною с колесо прялки, а кругом стояли придворные дамы со своими служанками и служанками служанок и кавалеры с камердинерами, слугами камердинеров и прислужниками камердинерских слуг. Чем ближе кто-нибудь стоял к дверям, тем важнее, надменнее держался. На прислужника камердинерских слуг, стоявшего в самых дверях, нельзя было и взглянуть без дрожи — такой он был важный!

— Вот страх-то, — сказала Герда. — А Кай все-таки женился на принцессе?

— Не будь я вороном, я бы сам женился на ней, хоть я и помолвлен. Он вступил с принцессой в беседу и говорил так же хорошо, как я, когда говорю по-вороньи, — так, по крайней мере, сказала мне моя невеста. Держался он вообще очень свободно и мило и заявил, что пришел не свататься, а только послушать умные речи принцессы. Ну и вот, она ему понравилась, он ей тоже.

— Да, да, это Кай! — сказала Герда. — Он ведь такой умный! Он знал все четыре действия арифметики, да еще с дробями! Ах, проводи же меня во дворец!

— Легко сказать, — отвечал ворон, — да как это сделать? Постой, я поговорю с моей невестой, она что-нибудь придумает и посоветует нам. Ты думаешь, что тебя вот так прямо и впустят во дворец? Как же, не очень-то впускают таких девочек!

— Меня впустят! — сказала Герда. — Когда Кай услышит, что я тут, он сейчас же прибежит за мною.

— Подожди меня тут у решетки, — сказал ворон, повертел головой и улетел.

Вернулся он уже совсем под вечер и закаркал:

— Кар, кар! Моя невеста шлет тебе тысячу поклонов и вот этот маленький хлебец. Она стащила его в кухне — там их много, а ты, верно, голодна!.. Ну, во дворец тебе не попасть: ты ведь босая — гвардия в серебре и лакеи в золоте ни за что не пропустят тебя. Но не плачь, ты все-таки попадешь туда. Невеста моя знает, как пройти в спальню принцессы с черного хода, и знает, где достать ключ.

И вот они вошли в сад, пошли по длинным аллеям, где один за другим падали осенние листья, и когда все огоньки в дворцовых окнах погасли, ворон провел девочку в маленькую полуотворенную дверцу.

О, как билось сердечко Герды от страха и нетерпения! Точно она собиралась сделать что-то дурное, а ведь она только хотела узнать, не здесь ли ее Кай! Да, да, он, верно, здесь! Герда так живо представила себе его умные глаза, длинные волосы; она ясно видела, как он улыбается ей, когда они, бывало, сидели рядышком под кустами роз. Он, вероятно, обрадуется, когда увидит ее, услышит, на какой длинный путь решилась она ради него, и узнает, как горевали о нем

все домашние. Ах, она была просто вне себя от страха и радости!

Но вот они и на площадке лестницы. На шкафу горела лампочка, а на полу сидела ручная ворона и осматривалась по сторонам. Герда присела и поклонилась, как учила ее бабушка.

— Мой жених рассказывал мне о вас столько хорошего, фрёкен! — сказала ручная ворона. — И ваша vita (жизнь), как это принято называть, также очень трогательна! Не угодно ли вам взять лампу, а я пойду вперед. Мы пойдем прямо, тут мы никого не встретим.

— А мне кажется, за нами кто-то идет, — проговорила Герда; и в ту же минуту мимо нее с легким шумом промчались какие-то тени: лошади с развевающимися гривами и стройными ногами, охотники, дамы и кавалеры верхами.

— Это сны! — сказала ручная ворона. — Тем лучше для нас, удобнее будет рассмотреть спящих.

Тут они вошли в первую залу, где стены были обиты розовым атласом, затканном цветами. Мимо девочки опять пронеслись сны, но так быстро, что она не успела и рассмотреть всадников. Одна зала была великолепнее другой. Герда была совсем ослеплена этой роскошью. Наконец они дошли до спальни. Потолок напоминал верхушку огромной пальмы с драгоценными хрустальными листьями; с середины его спускался толстый золотой стебель, на котором висели две кровати в виде лилий. Одна была белая, в ней спала принцесса, другая — красная, и в ней Герда надеялась найти Кая. Девочка слегка отогнула один из красных лепестков и увидела темно-русый затылок. Это Кай! Она громко назвала его по имени и поднесла лампу к самому его лицу. Сны с шумом умчались прочь; принц проснулся и повернул голову... Ах, это был не Кай!

Принц походил на него только с затылка, но был так же молод и красив. Из белой лилии выглянула принцесса и спросила, что случилось.

Герда заплакала и рассказала всю свою историю, упомянув и о том, что сделали для нее вороны.

— Ах ты, бедняжка! — сказали принц и принцесса, похвалили ворон, объявили, что ничуть не гнева-

ются на них — только пусть они не делают этого впредь, — и захотели даже наградить их.

— Хотите быть вольными птицами? — спросила принцесса. — Или желаете занять должность придворных ворон, на полном содержании из кухонных остатков?

Ворон с вороной поклонились и попросили должности при дворе — они подумали о старости и сказали:

— Хорошо ведь иметь верный кусок хлеба на старости лет!

Принц встал и уступил свою постель Герде; больше он пока ничего не мог для нее сделать. А она сложила ручки и подумала: «Как добры все люди и животные!» — закрыла глазки и сладко заснула. Сны опять прилетели в спальню, но теперь они везли на маленьких саночках Кая, который кивал Герде головою. Увы, все это было лишь во сне и исчезло, как только девочка проснулась.

На другой день ее одели с ног до головы в шелк и бархат и позволили ей оставаться во дворце, сколько она пожелает. Девочка могла жить да поживать тут припеваючи, но она прогостила всего несколько дней и стала просить, чтобы ей дали повозку с лошадей и пару башмаков, — она опять хотела пуститься разыскивать по белу свету своего названного брата.

Ей дали и башмаки, и муфту, и чудесное платье, а когда она простилась со всеми, к воротам подъехала карета из чистого золота, с сияющими, как звезды, гербами принца и принцессы; у кучера, лакеев и фореиторов¹ — ей дали и фореиторов — красовались на головах маленькие золотые короны. Принц и принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали ей счастливого пути.

Лесной ворон, который уже успел жениться, провожал девочку первые три мили и сидел в карете рядом с нею — он не мог ехать, сидя спиной к лошадям. Ручная ворона сидела на воротах и хлопала крыльями. Она не ехала провожать Герду, потому что страдала головными болями, с тех пор как полу-

¹ Фореитор — верховой, правящий передними лошадьми при запряжке цугом (гуськом).

чила должность при дворе и слишком много ела. Карета битком была набита сахарными крендельками, а ящик под сиденьем — фруктами и пряниками.

— Прощай, прощай! — закричали принц и принцесса.

Герда заплакала, ворона тоже. Так проехали они первые три мили. Тут простился с девочкой и ворон. Тяжелое было расставание! Ворон взлетел на дерево и махал черными крыльями до тех пор, пока карета, сиявшая как солнце, не скрылась из виду.

ИСТОРИЯ ПЯТАЯ

Маленькая разбойница

Вот Герда въехала в темный лес, в котором жили разбойники; карета горела как жар, она резала разбойникам глаза, и они этого не потерпели.

— Золото! Золото! — закричали они, схватили лошадей под уздцы, убили маленьких фореиторов, кучера и слуг и вытащили из кареты Герду.

— Ишь, какая славненькая, жирненькая! Орешками откормлена! — сказала старуха разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми нависшими бровями. — Жирненькая, что твой барашек! Ну-ка, какова на вкус будет?

И она вытащила острый сверкающий нож. Вот ужас!

— Ай! — закричала она вдруг: ее укусила за ухо ее собственная дочка, которая сидела у нее за спиной и была такая необузданная и своевольная, что любо. — Ах ты, дрянная девчонка! — закричала мать, но убить Герду не успела.

— Она будет играть со мной, — сказала маленькая разбойница. — Она отдаст мне свою муфту, свое хорошенькое платьице и будет спать со мной в моей постельке.

И девочка опять так укусила мать, что та подпрыгнула и завертелась на одном месте. Разбойники захохотали.

— Ишь, как пляшет со своей девчонкой!

— Я хочу сесть в карету! — закричала маленькая разбойница и настояла на своем — она была ужасно избалована и упряма.



Они уселись с Гердой в карету и помчались по пням и по кочкам в чащу леса.

Маленькая разбойница была ростом с Герду, но сильнее, шире в плечах и гораздо смуглее. Глаза у нее были совсем черные, но какие-то печальные. Она обняла Герду и сказала:

— Они тебя не убьют, пока я не рассержусь на тебя. Ты, верно, принцесса?

— Нет,— отвечала девочка и рассказала, что пришлось ей испытать и как она любит Кая.

Маленькая разбойница серьезно поглядела на нее, слегка кивнула головой и сказала:

— Они тебя не убьют, даже если я и рассержусь на тебя,— я лучше сама убью тебя!

И она отерла слезы Герде, а потом спрятала обе руки в ее хорошенькую мягкую и теплую муфточку.

Вот карета остановилась: они въехали во двор разбойничьего замка.

Он весь был в огромных трещинах; из них вылетали вороны и воробьи. Откуда-то выскочили огромные бульдоги; казалось, каждый из них легко проглотит человека, но они только высоко подпрыгивали в воздух и даже не лаяли — это было запрещено.

Посреди огромной залы с полуразвалившимися, покрытыми копотью стенами и каменным полом пылал огонь. Дым подымался к потолку и сам должен был искать себе выхода.

Над огнем кипел в огромном котле суп, а на вертелах жарились зайцы и кролики.

— Ты будешь спать вместе со мной вот тут, возле моего маленького зверинца,— сказала Герде маленькая разбойница.

Девочек накормили, напоили, они ушли в свой угол, где была постлана солома, накрытая коврами. Повыше сидело на жердочках больше сотни голубей. Все они, казалось, спали, но когда девочки подошли, слегка зашевелились.

— Все мои!— сказала маленькая разбойница, схватила одного голубя за ноги и так трянула его, что тот забил крыльями.— На, поцелуй его!— крикнула она, ткнув голубя Герде прямо в лицо.— А вот тут сидят лесные плутишки,— продолжала она, указывая на двух голубей, сидевших в небольшом углублении в стене, за деревянную решеткой.— Эти

двое — лесные плутишки. Их надо держать взаперти, не то живо улетят! А вот и мой милый старичина-башка!— И девочка потянула за рога привязанного к стене северного оленя в блестящем медном ошейнике.— Его тоже нужно держать на привязи, иначе удерет! Каждый вечер я щекочу его под шей своим острым ножом — он до смерти этого боится.

С этими словами маленькая разбойница вытасила из расщелины в стене длинный нож и провела им по шее оленя. Бедное животное забрыкалось, а девочка захохотала и потащила Герду к постели.

— Разве ты спишь с ножом?— спросила ее Герда, покосившись на острый нож.

— Всегда!— отвечала маленькая разбойница.— Как знать, что может случиться! Но расскажи мне еще раз о Каяе и о том, как ты пустилась странствовать по белу свету.

Герда рассказала. Лесные голуби в клетке тихо ворковали; другие голуби уже спали. Маленькая разбойница обвила одною рукой шею Герды — в другой у нее был нож — и захрапела, но Герда не могла сомкнуть глаз, не зная, убьют ее или оставят в живых.

Вдруг лесные голуби проворковали:

— Курр! Курр! Мы видели Кая! Белая курица несла на спине его санки, а он сидел в санях Снежной королевы. Они летели над лесом, когда мы, птенчики, еще лежали в гнезде. Она дохнула на нас, и все умерли, кроме нас двоих. Курр! Курр!

— Что вы говорите!— воскликнула Герда.— Куда же полетела Снежная королева? Знаете?

— Она полетела, наверно, в Лапландию — там ведь вечный снег и лед. Спроси у северного оленя, что стоит тут на привязи.

— Да, там вечный снег и лед. Чудо как хорошо!— сказал северный олень.— Там прыгаешь себе на воле по огромным блестящим ледяным равнинам. Там раскинут летний шатер Снежной королевы, а постоянные ее чертоги — у Северного полюса, на острове Шпицберген.

— О Кай, мой милый Кай!— вздохнула Герда.

— Лежи же смиренно,— сказала маленькая разбойница.— Не то я пырну тебя ножом!

Утром Герда рассказала ей, что слышала от лесных голубей. Маленькая разбойница серьезно посмотрела на Герду, кивнула головой и сказала:

— Ну, так и быть!.. А ты знаешь, где Лапландия?— спросила она затем у северного оленя.

— Кому же и знать, как не мне!— отвечал олень, и глаза его заблестели.— Там я родился и вырос, там прыгал по снежным равнинам.

— Так слушай,— сказала Герде маленькая разбойница.— Видишь, все наши ушли, дома одна мать; немного погодя она хлебнет из большой бутылки и вздремнет, тогда я кое-что сделаю для тебя.

Потом, когда старуха хлебнула из своей бутылки и захрапела, маленькая разбойница подошла к северному оленю и сказала:

— Еще долго можно было бы потешаться над тобой! Уж больно ты бываешь уморительным, когда тебя щекочут острым ножом. Ну, да так и быть! Я отвяжу тебя и выпущу на волю. Ты можешь убежать в свою Лапландию, но должен за это отвезти ко дворцу Снежной королевы вот эту девочку — там ее названный брат. Ты ведь, конечно, слышал, что она рассказывает? Она говорила довольно громко, а ты всегда подслушиваешь.— Северный олень подпрыгнул от радости. Маленькая разбойница посадила на него Герду, крепко привязала ее ради осторожности и даже подсунула под нее мягкую подушечку, чтобы ей удобнее было сидеть.

— Так и быть,— сказала она затем,— возьми назад меховые сапожки — будет ведь холодно! А муфту уж я оставлю себе, больно она хороша. Но мерзнуть я тебе не дам: вот огромные рукавицы моей матери, и они дойдут тебе до самых локтей. Сунь в них руки! Ну вот, теперь руками ты похожа на мою безобразную мать.

Герда плакала от радости.

— Терпеть не могу, когда хнычут!— сказала маленькая разбойница.— Теперь ты должна радоваться. Вот тебе еще два хлеба и окорок, чтобы тебе не пришлось голодать.

И то и другое было привязано к оленю.

Затем маленькая разбойница отворила дверь, заманила собак в дом, перерезала своим острым ножом веревку, которою был привязан олень, и сказала ему:

— Ну, живо! Да береги, смотри, девочку.

Герда протянула маленькой разбойнице обе руки в огромных рукавицах и попрощалась с нею. Северный олень пустился во всю прыть через пни и кочки по лесу, по болотам и степям. Волки выли, вороны каркали.

— Уф! Уф!— послышалось вдруг с неба, и оно словно зачихало огнем.

— Вот мое родное северное сияние!— сказал олень.— Гляди, как горит!

И он побежал дальше, не останавливаясь ни днем ни ночью. Хлебы были съедены, ветчина тоже, и вот они очутились в Лапландии.

ИСТОРИЯ ШЕСТАЯ

Лапландка и финка

Олень остановился у жалкой избушки. Крыша спускалась до самой земли, а дверь была такая низенькая, что людям приходилось проползать в нее на четвереньках.

Дома была одна старуха лапландка, жарившая при свете жировой лампы рыбу. Северный олень рассказал лапландке всю историю Герды, но сначала рассказал свою собственную — она казалась ему гораздо важнее.

Герда же так окоченела от холода, что и говорить не могла.

— Ах вы, бедняги!— сказала лапландка.— Долгий же вам еще предстоит путь! Придется сделать сто миль с лишним, пока доберетесь до Финляндии, где Снежная королева живет на даче и каждый вечер зажигает голубые бенгальские огни. Я напишу два слова на сушеной треске — бумаги у меня нет, — а вы снесете ее финке, которая живет в тех местах и лучше моего сумеет научить вас, что надо делать.

Когда Герда согрелась, поела и пила, лапландка написала два слова на сушеной треске, велела Герде хорошенько беречь ее, потом привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался.

— Уф! Уф!— послышалось опять с неба, и оно стало выбрасывать столбы чудесного голубого пла-

мени. Так добежал олень с Гердой и до Финляндии и постучался в дымовую трубу финки — у нее и дверей-то не было.

Ну и жара стояла в ее жилье! Сама финка, низенькая толстая женщина, ходила полуголая. Живо стащила она с Герды платье, рукавицы и сапоги, иначе девочке было бы чересчур жарко, положила оленю на голову кусок льда и затем принялась читать то, что было написано на сушеной треске.

Она прочла все от слова до слова три раза, пока не заучила наизусть, и потом сунула треску в котел с супом — рыба ведь еще годилась в пищу, а у финки ничего даром не пропадало.

Тут олень рассказал сначала свою историю, а потом историю Герды. Финка мигала своими умными глазками, но не говорила ни слова.

— Ты такая мудрая женщина, — сказал олень. — Не изобразишь ли ты для девочки такое питье, которое бы дало ей силу двенадцати богатырей? Тогда бы она одолела Снежную королеву!

— Силу двенадцати богатырей! — сказала финка. — Да, много в этом толку!

С этими словами она взяла с полки большой кожаный свиток и развернула его: на нем стояли какие-то удивительные письмена.

Финка принялась читать их и читала до того, что пот градом покатился с ее лба.

Олень опять принялся просить за Герду, а сама Герда смотрела на финку такими умоляющими, полными слез глазами, что та опять заморгала, отвела оленя в сторону и, меняя ему на голове лед, шепнула:

— Кай в самом деле у Снежной королевы, но он вполне доволен и думает, что лучше ему нигде и быть не может. Причиной же всему осколки зеркала, что сидят у него в сердце и в глазу. Их надо удалить, иначе Снежная королева сохранит над ним свою власть.

— А не можешь ли ты дать Герде что-нибудь такое, что сделает ее сильнее всех?

— Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Не видишь разве, как велика ее сила? Не видишь, что ей служат и люди и животные? Ведь она босая обошла

полсвета! Но она не должна от нас узнать о своей силе, что живет в ее сердце; ее сила в том, что она невинный милый ребенок. Если она сама не сможет проникнуть в покои Снежной королевы и извлечь из сердца Кая осколки, то мы и подавно ей не поможем! В двух милях отсюда начинается сад Снежной королевы. Отнеси туда девочку, опусти у большого куста, покрытого красными ягодами, и, не мешкая, возвращайся обратно.

С этими словами финка посадила Герду на спину оленя, и тот бросился бежать со всех ног.

— Ай, я без теплых сапог! Ай, я без рукавиц! — закричала Герда, очутившись на морозе.

Но олень не смел остановиться, пока не добежал до куста с красными ягодами. Тут он спустил девочку, поцеловал ее в самые губы, и по щекам его покатились крупные блестящие слезы. Затем он стрелой пустился назад.

Бедная девочка осталась одна, на трескучем морозе, без башмаков, без рукавиц.

Она побежала вперед что было мочи. Навстречу ей несся целый полк снежных хлопьев, но они не падали с неба — небо было совсем ясное, и на нем пылало северное сияние, — нет, они бежали по земле прямо на Герду и становились все крупнее и крупнее. Герда вспомнила большие красивые хлопья под увеличительным стеклом, но эти были куда больше, страшнее, самых удивительных видов и форм и все живые.

Это были передовые отряды войска Снежной королевы. Одни напоминали собой больших безобразных ежей, другие — стоголовых змей, третьи — толстых медвежат с взъерошенной шерстью. Все они одинаково сверкали белизной, все были живыми снежными хлопьями.

Но Герда смело шла все вперед и вперед и наконец добралась до чертогов Снежной королевы.

Посмотрим же, что было в это время с Каем.

Он и не думал о Герде, а уж меньше всего о том, что она так близко от него.

ИСТОРИЯ СЕДЬМАЯ

*Что случилось в чертогах
Снежной королевы
и что случилось потом*

Стены чертогов были снежные метели, окна и двери были буйные ветры. Сотни огромных зал, смотря по тому, как наметала их вьюга, тянулись одна за другой. Все они были освещены северным сиянием, и самая большая простиралась на много-много миль. Как холодно, как пустынно было в этих белых, ярко сверкающих чертогах! Веселье никогда и не заглядывало сюда. Никогда не устраивались здесь медвежьи балы с танцами под музыку бури, в которых могли бы отличиться грацией и умением ходить на задних лапах белые медведи; никогда не составлялись партии в карты с ссорами и дракою и не сходились на беседу за чашкой кофе беленькие кумушки-лисички, — нет, никогда, никогда! Холодно, пустынно, мертво и грандиозно! Северное сияние вспыхивало и горело так правильно, что можно было с точностью рассчитать, в какую минуту свет усилится и в какую ослабеет. Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на тысячи кусков, таких одинаковых и правильных, что это казалось каким-то фокусом. Посреди озера восседала Снежная королева, когда бывала дома, говоря, что сидит на зеркале разума; по ее мнению, это было единственное и лучшее зеркало на свете.

Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого — поцелуй Снежной королевы сделал его нечувствительным к холоду, да и самое сердце его было куском льда. Кай возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные льды. Есть ведь такая игра — складывание фигур из деревянных дощечек, которая называется «китайской головоломкой». Кай тоже складывал разные затейливые фигуры, но из льдин, и это называлось «ледяной игрой разума». В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их — занятием первостепенной важности. Это происходило оттого, что в глазу у него сидел осколок волшебного

зеркала. Он складывал из льдин целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось, — слово «вечность». Снежная королева сказала ему: «Если ты сложишь это слово, ты будешь сам себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков». Но он никак не мог его сложить.

— Теперь я полечу в теплые края, — сказала Снежная королева.

И она улетела, а Кай остался один в необозримой пустынной зале, смотрел на льдины и все думал, думал, так что в голове у него трещало. Он сидел на одном месте, такой бледный, неподвижный, словно неживой. Можно было подумать, что он замерз.

В это-то время в огромные ворота, в которые вечно дули буйные ветры, входила Герда. И перед нею ветры улеглись, точно заснули. Она вошла в огромную пустынную ледяную залу и увидела Кая. Она тотчас узнала его, бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула:

— Кай, милый мой Кай! Наконец-то я нашла тебя!

Но он сидел все такой же неподвижный и холодный. Тогда Герда заплакала; горячие слезы ее упали ему на грудь, проникли в сердце, растопили его ледяную кору и расплавили осколок. Кай взглянул на Герду и вдруг залился слезами и плакал так сильно, что осколок вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герду и обрадовался:

— Герда! Милая Герда!.. Где же это ты была так долго? Где был я сам? — И он оглянулся вокруг. — Как здесь холодно, пустынно!

И он крепко прижался к Герде. Она смеялась и плакала от радости. Да, радость была такая, что даже льдины пустились в пляс, а когда устали, улеглись и составили то самое слово, которое задала сложить Каю Снежная королева. Сложив его, он мог сделаться сам себе господином, да еще получить от нее в дар весь свет и пару новых коньков.

Герда поцеловала Кая в обе щеки, и они опять зацвели розами; поцеловала его в глаза, и они заблестели, как ее; поцеловала его руки и ноги, и он опять стал бодрым и здоровым.

Кай ничуть не страшился прибытия Снежной королевы — его отпускная лежала тут, написанная блестящими ледяными буквами.

Кай с Гердой рука об руку вышли из ледяных чертогов. Они шли и говорили о бабушке, о розах, что цвели в их садике, и перед ними стихали буйные ветры, проглядывало солнце. Когда же они дошли до куста с красными ягодами, там уже ждал их северный олень.

Кай и Герда отправились сначала к финке, отогрелись у нее и узнали дорогу домой, а потом — к лапландке. Та сшила им новое платье, починила свои сани и поехала их провожать.

Олень тоже провожал молодых путников вплоть до самой границы Лапландии, где уже пробивалась первая зелень. Тут Кай и Герда простились с ним и с лапландкой.

Вот перед ними и лес. Запели первые птички, деревья покрылись зелеными почками. Из леса навстречу путникам выехала верхом на великолепной лошади молодая девушка в ярко-красной шапочке и с пистолетами за поясом.

Герда сразу узнала и лошадь — она была когда-то впряжена в золотую карету — и девушку. Это была маленькая разбойница.

Она тоже узнала Герду. Вот была радость!

— Ишь ты, бродяга! — сказала она Каю. — Хотела бы я знать, стоишь ли ты того, чтобы за тобой бегали на край света!

Но Герда потрепала ее по щеке и спросила о принце и принцессе.

— Они уехали в чужие края, — отвечала молодая разбойница.

— А ворон? — спросила Герда.

— Лесной ворон умер; ручная ворона осталась вдовой, ходит с черной шерстинкой на ножке и жалуется на судьбу. Но все это пустяки, а ты вот расскажи-ка лучше, что с тобой было и как ты нашла его.

Герда и Кай рассказали ей обо всем.

— Ну, вот и сказке конец! — сказала молодая разбойница, пожала им руки и обещала навестить их, если когда-нибудь заедет в их город.

Затем она отправилась своей дорогой, а Кай и Герда — своей.

Они шли, и по дороге расцветали весенние цветы, зеленела травка. Вот раздался колокольный звон, и они узнали колокольни своего родного города. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому: маятник все так же стучал «тик-так», и стрелка двигалась по циферблату. Но, проходя в низенькую дверь, они заметили, что стали взрослыми людьми. Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытое окошко; тут же стояли их детские стульчики. Кай с Гердой сели каждый на свой и взяли друг друга за руки. Холодное, пустынное великолепие чертогов Снежной королевы было забыто ими, как тяжелый сон.

Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою, а на дворе стояло теплое, благодатное лето.

ПАСТУШКА И ТРУБОЧИСТ

Видали ли вы когда-нибудь старинный-старинный шкаф, почерневший от времени и весь изукрашенный резьбой в виде разных завитушек, цветов и листьев? Такой вот точно шкаф — наследство после прабабушки — и стоял в комнате. Он был весь покрыт резьбой — розами, тюльпанами и самыми причудливыми завитушками. Между ними высовывались маленькие оленьи головы с ветвистыми рогами, а по самой середине был вырезан целый человечек. На него невозможно было глядеть без смеха, да и сам он преуморительно скалил зубы — такую гримасу уж никак не назовешь улыбкой! У него были козлиные ноги, маленькие рожки на лбу и длинная борода. Дети звали его обер-унтер-генерал-адмирал-сержант Козлоног! Трудно выговорить такое имя, и немногие удостоиваются подобного титула, зато и вырезать такую фигуру стоило немалого труда. Ну, да все-таки вырезали! Он всегда глядел на подзеркальный столик, где стояла прелестная фарфоровая пастушка. Башмачки на ней были вызолоченные, платье слегка приподнято и подколото алой розой, на голове

красовалась золотая шляпа, а в руках пастуший посох. Ну, просто прелесть! Рядом с нею стоял маленький трубочист, черный как уголь, но, впрочем, тоже из фарфора и сам по себе такой же чистенький и миленький, как всякая фарфоровая статуэтка; он ведь только изображал трубочиста, и мастер точно так же мог бы сделать вместо него принца,— все равно!

Он премило держал в руках свою лестницу; личико у него было белое, а щеки розовые, как у барышни, и это было немножко неправильно, следовало бы ему быть почернее. Он стоял рядом с пастушкой — так их поставили, так они и стояли; стояли, стояли, да и обрुчились: они были отлично парочкой, оба молодые, оба из фарфора и оба одинаково хрупки.

Тут же стояла и еще одна кукла, в три раза больше их. Это был старый китаец, который кивал головой. Он был тоже фарфоровый и называл себя дедушкой маленькой пастушки, но доказать этого, кажется, не мог. Он утверждал, что имеет над ней власть, и потому кивал головою обер-унтер-генерал-адмирал-сержанту Козлоногу, который сватался за пастушку.

— Вот так муж у тебя будет! — сказал старый китаец пастушке. — Я думаю даже, что он из красного дерева! Он сделает тебя обер-унтер-генерал-адмирал-сержантшей! И у него целый шкаф серебра, не говоря уже о том, что лежит в потайных ящичках!

— Я не хочу в темный шкаф! — сказала пастушка. — Говорят, у него там одиннадцать фарфоровых жен!

— Так ты будешь двенадцатой! — отвечал китаец. — Ночью, как только в старом шкафу затрещит, мы сыграем вашу свадьбу! Да, да, не будь я китайтец!

Тут он кивнул головой и заснул.

Пастушка плакала и смотрела на своего милого фарфорового трубочиста.

— Право, я попрошу тебя, — сказала она, — бежать со мной куда глаза глядят. Тут нам нельзя оставаться.

— Твои желания для меня — закон! — ответил трубочист. — Пойдем хоть сейчас! Я думаю, что смогу прокормить тебя своим ремеслом!

— Только бы нам удалось спуститься со столика! — сказала она. — Я не успокоюсь, пока мы не будем далеко-далеко отсюда!

Трубочист успокаивал ее и показывал, куда лучше ступать ножкой, на какой выступ или золоченую завитушку резных ножек стола. Лестница его тоже сослужила им немалую службу; таким образом они благополучно спустились на пол. Но, взглянув на старый шкаф, они увидели там страшный переполох. Резные олени далеко-далеко вытянули вперед головы с рогами и вертели ими во все стороны, а обер-унтер-генерал-адмирал-сержант Козлоног высоко подпрыгнул и закричал старому китайцу:

— Бегут! Бегут!

Беглецы испугались немножко и поскорее шмыгнули в ларчик, стоявший на полу перед окном.

Тут лежали три-четыре неполные колоды карт и кукольный театр; он был кое-как установлен в тесном ящичке, и на сцене шло представление. Все дамы — и бубновые, и червонные, и трефовые, и пиковые — сидели в первом ряду и обмахивались своими тюльпанами. Позади них стояли валеты, и у каждого было по две головы — сверху и снизу, как и у всех карт. В пьесе изображались страдания влюбленной парочки, которую разлучали. Пастушка заплакала: это была точь-в-точь их собственная история.

— Нет, я не вынесу! — сказала она трубочисту. — Уйдем отсюда!

Но, очутившись опять на полу, они увидели, что старый китаец проснулся и весь качается из стороны в сторону, — внутри его катался свинцовый шарик...

— Ай, старый китаец гонится за нами! — закричала пастушка и в отчаянии упала на свои фарфоровые коленки.

— Стой, мне пришла в голову мысль! — сказал трубочист. — Видишь вон там, в углу, большую вазу с сушеными душистыми травами и цветами! Влезем в нее! Там мы будем лежать на розах и лаванде, а если китаец подойдет к нам, засыплем ему глаза солью.

— Нет, это не годится! — сказала она. — Я знаю, что старый китаец и ваза были когда-то помолвлены, а в таких случаях всегда ведь сохраняются добрые отношения! Нет, нам остается только пуститься по белу свету куда глаза глядят!

— А хватит ли у тебя мужества идти за мною всюду? — спросил трубочист. — Подумала ли ты, как велик мир? Подумала ли о том, что нам нельзя будет вернуться назад?

— Да, да! — отвечала она.

Трубочист пристально посмотрел на нее и сказал:

— Моя дорога идет через печную трубу! Хватит ли у тебя мужества вскарабкаться со мной в печку и пробраться по коленчатым переходам трубы? Там-то уж я знаю, что мне делать! Мы заберемся так высоко, что нас не достанут. В самом же верху есть дыра, через нее можно выбраться на белый свет!

И он повел ее к печке.

— Как тут темно! — сказала она, но все-таки полезла за ним в печку и в трубу, где было темно, как ночью.

— Ну вот мы и в трубе! — сказал он. — Смотри, смотри! Прямо над нами сияет чудесная звездочка!

На небе и в самом деле сияла звезда, точно указывающая им дорогу. А они все лезли и лезли, выше да выше! Дорога была ужасная. Но трубочист поддерживал пастушку и указывал, куда ей удобнее и лучше ставить фарфоровые ножки. Наконец они достигли края трубы и уселись, — они очень устали, и было от чего!

Небо, усеянное звездами, было над ними, а все домовые крыши под ними. С этой высоты глазам их открывалось огромное пространство. Бедная пастушка никак не думала, что свет так велик. Она склонилась головкою к плечу трубочиста и заплакала; слезы капали ей на грудь и разом смыли всю позолоту с ее пояса.

— Нет, это слишком! — сказала она. — Я не вынесу! Свет слишком велик! Ах, если бы я опять стояла на подзеркальном столике! Я не успокоюсь, пока не вернусь туда! Я пошла за тобою куда глаза глядят, теперь проводи же меня обратно, если любишь меня!

Трубочист стал ее уговаривать, напоминал ей о старом китайце и об обер-унтер-генерал-адмирал-сержанте Козлоноге, но она только рыдала и крепко целовала своего милого. Что ему оставалось делать? Пришлось уступить, хотя и не следовало.

И вот они с большим трудом спустились по трубе обратно вниз; нелегко это было! Очутившись опять в темной печке, они сначала постояли несколько минут за дверцами, желая услышать, что творится в комнате. Там было тихо, и они выглянули. Ах! На полу валялся старый китаец: он свалился со стола, собираясь пуститься за ними вдогонку, и разбился на три части; спина так вся и отлетела прочь, а голова закатилась в угол. Обер-унтер-генерал-адмирал-сержант Козлоног стоял, как всегда, на своем месте и раздумывал.

— Ах, какой ужас! — воскликнула пастушка. — Старый дедушка разбился на куски, и мы всему виною! Ах, я не переживу этого!

И она заломила свои крошечные ручки.

— Его можно починить! — сказал трубочист. — Его отлично можно починить! Только не огорчайся! Ему приклеят спину, а в затылок забьют хорошую заклепку — он будет совсем как новый и успеет еще наделаться нам много неприятностей.

— Ты думаешь? — спросила она.

И они опять вскарабкались на столик, где стояли прежде.

— Вот как далеко мы ушли! — сказал трубочист. — Стоило стараться!

— Только бы дедушку починили! — сказала пастушка. — Или это очень дорого обойдется?

И дедушку починили: приклеили ему спину и забили хорошую заклепку в шею; он стал как новый, только кивать головой больше не мог.

— Вы что-то загордились с тех пор, как разбились! — сказал ему обер-унтер-генерал-адмирал-сержант Козлоног. — А мне кажется, тут гордиться особенно нечем! Что же, отдадут ее за меня или нет?

Трубочист и пастушка с мольбой взглянули на старого китайца, — они так боялись, что он кивнет, но он не мог, хоть и не хотел в этом признаться: не очень-то приятно рассказывать всем и каждому, что у тебя в затылке заклепка! Так фарфоровая парочка и осталась стоять рядышком. Пастушка и трубочист благословляли дедушкину заклепку и любили друг друга, пока не разбились.

ОГНИВО

Шел солдат по дороге: раз-два! раз-два! Ранец за спиной, сабля на боку; он шел домой с войны. На дороге встретилась ему старая ведьма — уж такая безобразная: нижняя губа свисала у нее до самой груди.

— Здорово, служивый! — сказала она. — Какая у тебя славная сабля! А ранец-то какой большой! Вот бравый солдат! Ну, сейчас ты получишь денег сколько твоей душе угодно.

— Спасибо, старая ведьма! — сказал солдат.

— Видишь вон то старое дерево? — сказала ведьма, показывая на дерево, которое стояло неподалеку. — Оно внутри пустое. Заберись наверх, увидишь дупло, влезь в него и спускайся до самого низа. А перед тем я обвяжу тебя веревкой вокруг пояса, и, когда ты мне крикнешь, я тебя вытащу.

— Зачем мне туда лезть? — спросил солдат.

— За деньгами! — сказала ведьма. — Знай, что из дупла ты попадешь в большой подземный ход: в нем горит больше сотни ламп, и там совсем светло. Перед тобой будут три двери, ты можешь отворить их, ключи торчат снаружи. Войди в первую комнату: посреди комнаты увидишь большой сундук, а на нем собака: глаза у нее, словно чайные чашки! Но ты не бойся! Я дам тебе свой синий клетчатый передник, расстели его на полу, а сам живо подбеги и схвати собаку, посади ее на передник, открой сундук и бери из него денег вволю. В этом сундуке одни медяки; захочешь серебра — ступай в комнату рядом: там сидит собака с глазами, как мельничные колеса! Но ты не пугайся: сажай ее на передник и бери себе денежки. А захочешь, так достанешь и золота, сколько сможешь унести: пойди только в третью комнату. У собаки, что сидит там на деревянном сундуке, глаза — каждый с Круглую башню. Вот это собака так собака! Да ты ее не бойся: посади на мой передник, и она тебя не тронет, а ты бери себе золота сколько хочешь!

— Оно бы недурно! — сказал солдат. — Но что ты с меня за это возьмешь, старая ведьма? Ведь что-нибудь да тебе от меня нужно?

— Я не возьму с тебя ни полушки! — сказала ведьма. — Только принеси мне старое огниво, его по-

забыла там моя бабушка, когда спускалась в последний раз.

— Ну, обвязывай меня веревкой! — приказал солдат.

— Готово! — сказала ведьма. — А вот и мой синий клетчатый передник!

Солдат влез на дерево, спустился в дупло и очутился, как сказала ведьма, в большой галерее, где горели сотни ламп.

Он открыл первую дверь. Ох! Там сидела собака с глазами, как чайные чашки, и таращилась на солдата.

— Вот так молодец! — сказал солдат, посадил пса на ведьмин передник и набрал полный карман медных денег, потом закрыл сундук, опять посадил на него собаку и отправился в другую комнату. Ай-ай! Там сидела собака с глазами, как мельничные колеса!

— Чего на меня уставилась? Глаза заболят! — сказал солдат и посадил собаку на ведьмин передник. Увидев в сундуке огромную кучу серебра, он выбросил все медяки и набил оба кармана и ранец серебром. Затем солдат пошел в третью комнату. Фу-ты, пропасть! У этой собаки глаза были ни дать ни взять две Круглые башни и вертелись, точно колеса.

— Мое почтение! — сказал солдат и взял под козырек. Такой собаки он еще не видывал.

Долго смотреть на нее он, впрочем, не стал, а взял да и посадил на передник и открыл сундук. Батюшки! Сколько тут было золота! Он мог бы купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговки слястями, всех оловянных солдатиков, всех деревянных лошадок и все кнутики на свете! На все хватило бы! Солдат повыбросил из карманов и ранца серебряные монеты и так набил карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что еле-еле мог двигаться. Ну, наконец-то у него завелись денежки! Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь, поднял голову и закричал:

— Тащи меня, старая ведьма!

— Огниво взял? — спросила ведьма.

— Ах черт, чуть не забыл! — сказал солдат, вернулся и взял огниво.

Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге, только теперь и карманы его, и сапоги, и ранец, и фуражка были набиты золотом.

— Зачем тебе это огниво?— спросил солдат.

— Не твое дело!— ответила ведьма.— Получил деньги, и хватит с тебя! Ну, отдавай огниво!

— Как бы не так!— сказал солдат.— Сейчас говори, зачем тебе оно, не то вытащу саблю да отрублю тебе голову.

— Не скажу!— уперлась ведьма.

Солдат взял и отрубил ей голову. Ведьма повалилась мертвая, а он завязал все деньги в ее передник, взвалил узел на спину, сунул огниво в карман и зашагал прямо в город.

Это был прекрасный город; солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе, занял самые лучшие комнаты и потребовал все свои любимые блюда — ведь он стал богачом!

Слуга, который чистил приезжим обувь, удивился, что у такого богатого господина такие плохие сапоги, но солдат еще не успел обзавестись новыми. Зато на другой день он купил себе и хорошие сапоги, и богатое платье. Теперь солдат стал настоящим баринном, и ему рассказали обо всех чудесах, какие были тут, в городе, и о короле, и о его прелестной дочери, принцессе.

— Как бы ее увидеть?— спросил солдат.

— Этого никак нельзя!— сказали ему.— Она живет в огромном медном замке, за высокими стенами с башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, будто дочь его выйдет замуж за простого солдата, а короли этого не любят.

«Вот бы на него поглядеть!»— подумал солдат. Да кто бы ему позволил?!

Теперь-то он зажил весело: ходил в театры, ездил кататься в королевский сад и раздавал деньги бедным. И хорошо делал: он ведь по себе знал, каково сидеть без гроша в кармане! Теперь он был богат, прекрасно одевался и приобрел очень много друзей: все они называли его славным малым, настоящим кавалером, а ему это очень нравилось. Так он все тратил да тратил свое золото, а вновь-то взять было неоткуда, и осталось у него в конце концов всего-на-



всего две денежки! Пришлось перебраться из хороших комнат в крошечную каморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и даже латать их; никто из друзей больше не навещал его, — уж очень высоко было к нему подниматься!

Раз как-то вечером сидел солдат в своей каморке; совсем уже стемнело, а у него не было денег даже на свечку; он и вспомнил про маленький огарочек в огниве, которое взял в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огниво и огарок, но стоило ему ударить по кремню, как дверь распахнулась, и перед ним очутилась собака с глазами, точно чайные чашки, та самая, которую он видел в подземелье.

— Что угодно, господин? — пролаяла она.

— Вот так история! — сказал солдат. — Огнивото, выходит, прелюбопытная вещица; я могу получить все, что захочу! Эй ты, добудь мне деньжонок! — сказал он собаке. Раз — ее уж и след простыл, два — она опять тут как тут, а в зубах у нее большой кошель, набитый медью! Тут солдат понял, что за чудное у него огниво. Ударишь по кремню раз — является собака, которая сидела на сундуке с медными деньгами; ударишь два — является та, которая сидела на серебре; ударишь три — прибегает собака, что сидела на золоте.

Солдат опять перебрался в хорошие комнаты, стал ходить в щегольском платье, и все его друзья сейчас же снова узнали его и ужасно полюбили.

И однажды он подумал: «Как это глупо, что нельзя видеть принцессу. Такая красавица, говорят, а что толку? Ведь она век свой сидит в медном замке, за высокими стенами с башнями. Неужели мне так и не удастся поглядеть на нее хоть одним глазком? Ну-ка, где мое огниво?» И он ударил по кремню раз — в тот же миг перед ним стояла собака с глазами, точно чайные чашки.

— Теперь, правда, уже ночь, — сказал солдат. — Но мне до смерти захотелось увидеть принцессу, хоть на одну минуточку!

Собака сейчас же за дверь, и не успел солдат опомниться, как она явилась с принцессой. Принцесса сидела у собаки на спине и спала. Она была чудо как хороша; всякий сразу бы увидел, что это настоя-

щая принцесса, и солдат не утерпел и поцеловал ее, — он ведь был настоящий солдат.

Собака отнесла принцессу назад, и за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой, какой она видела сегодня ночью удивительный сон про собаку и солдата: будто она ехала верхом на собаке, а солдат поцеловал ее.

— Вот так история! — сказала королева.

И на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху фрейлину — она должна была разузнать, был ли то в самом деле сон или что другое.

А солдату опять до смерти захотелось увидеть прелестную принцессу. И вот ночью опять явилась собака, схватила принцессу и помчалась с ней во всю прыть, но старуха фрейлина надела непромокаемые сапоги и пустилась вдогонку. Увидав, что собака скрылась с принцессой в одном большом доме, фрейлина подумала: «Теперь я знаю, где их найти!» — взяла кусок мела, поставила на воротах дома крест и спокойно отправилась домой спать. Но собака, когда понесла принцессу назад, увидела этот крест, тоже взяла кусок мела и наставила крестов на всех воротах в городе. Это было ловко придумано: теперь фрейлина не могла отыскать нужные ворота — всюду белели кресты.

Рано утром король с королевой, старуха фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, куда это ездила принцесса ночью.

— Вот куда! — сказал король, увидев первые ворота с крестом.

— Нет, вот куда, муженек! — возразила королева, заметив крест на других воротах.

— Да и здесь крест, и здесь! — зашумели другие, увидев кресты на всех воротах. Тут все поняли, что толку им не добиться.

Но королева была женщина умная, умела не только в каретах разъезжать. Взяла она большие золотые ножницы, изрезала на лоскутки целую штуку шелковой материи, спила крошечный хорошенький мешочек, насыпала в него мелкой гречневой крупы, привязала его на спину принцессе и потом прорезала в мешочке дырочку, чтобы крупа могла сыпаться на дорогу, по которой ездила принцесса.

Ночью собака явилась опять, посадила принцессу на спину и понесла к солдату; солдат так полюбил принцессу, что даже готов был стать принцем, лишь бы ему жениться на ней.

Собака и не заметила, что крупа сыпалась за нею по всей дороге, от самого дворца до окна солдата, куда она прыгнула с принцессой. Поутру король и королева сразу узнали, куда ездила принцесса, и солдата посадили в тюрьму.

Ух, до чего же там было темно и скучно! Засадили его туда и сказали: «Завтра утром тебя повесят!» Невесело было услышать это, а огниво свое он позабыл дома, на постоялом дворе.

Утром солдат подошел к маленькому окошку и стал глядеть сквозь железную решетку на улицу: народ толпами валил за город смотреть, как будут вешать солдата; били барабаны, проходили полки. Все спешили, бежали бегом. Бежал и мальчишка сапожник в кожаном переднике. Он мчался вприпрыжку, и одна туфля слетела у него с ноги и ударилась прямо о стену, у которой стоял солдат и глядел в окошко.

— Эй, ты, куда торопишься? — крикнул мальчику солдат. — Без меня ведь дело не обойдется! А вот если сбегаешь туда, где я жил, за моим огнивом, получишь четыре монеты. Только живо!

Мальчишка был не прочь получить четыре монеты, он стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату и... А вот теперь послушаем!

За городом построили огромную виселицу, вокруг стояли солдаты и сотни тысяч народу. Король и королева сидели на роскошном троне прямо против судей и всего королевского совета.

Солдат уже стоял на лестнице, и ему собирались накинуть веревку на шею, но он сказал, что, прежде чем казнить преступника, всегда исполняют какое-нибудь его желание. А ему бы очень хотелось выкурить трубочку — это ведь будет последняя его трубочка на этом свете!

Король не посмел отказать в этой просьбе, и солдат вытащил свое огниво. Ударил по кремню раз, два, три — и перед ним предстали все три собаки: собака с глазами, как чайные чашки, собака с глаза-

ми, как мельничные колеса, и собака с глазами, как Круглая башня.

— А ну, помогите мне избавиться от петли! — приказал солдат.

И собаки бросились на судей и на весь королевский совет: того хватили за ноги, того за нос да швыряли кверху на несколько сажень, и все падали и разбивались вдребезги!

— Не надо! — закричал король, но самая большая собака схватила его вместе с королевой и подбросила их кверху вслед за другими. Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал:

— Служивый, будь нашим королем и возьми за себя прекрасную принцессу!

Солдата посадили в королевскую карету, и все три собаки танцевали перед ней и кричали «ура». Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот, солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чем была очень довольна. Свадебный пир продолжался целую неделю; собаки тоже сидели за столом и таращили глаза.

ЦВЕТЫ МАЛЕНЬКОЙ ИДЫ

— Бедные мои цветочки совсем завяли! — сказала маленькая Ида. — Вчера вечером они были такие красивые, а теперь повесили головки! Отчего это? — спросила она студента, сидевшего на диване.

Она очень любила этого студента, — он умел рассказывать чудеснейшие истории и вырезать из бумаги презабавные картинки: сердечки с крошечными танцовщицами внутри, цветы и великолепные дворцы с дверями и окнами, которые можно было открывать. Большой забавник был этот студент!

— Что с ними случилось? — спросила она опять и показала ему свой завядший букет.

— Знаешь что? — сказал студент. — Цветы были ночью на балу, вот и повесили теперь головки!

— Да ведь цветы не танцуют! — сказала маленькая Ида.

— Танцуют! — отвечал студент. — По ночам, когда кругом темно и мы все спим, они так весело пля-

шут друг с другом, такие балы задают — просто чудо!

— А детям нельзя прийти к ним на бал?

— Отчего же, — сказал студент, — ведь маленькие маргаритки и ландыши тоже танцуют.

— А где танцуют самые красивые цветы? — спросила Ида.

— Ты ведь бывала за городом, там, где большой дворец, в котором летом живет король и где такой чудесный сад с цветами? Помнишь лебедей, которые подплывали к тебе за хлебными крошками? Вот там-то и бывают настоящие балы!

— Я вчера была там с мамой, — сказала маленькая Ида, — но на деревьях нет больше листьев, и во всем саду нет ни одного цветка! Куда они все девались? Их столько было летом!

— Они все во дворце! — сказал студент. — Надо тебе сказать, что, как только король и придворные переезжают в город, все цветы сейчас же убегают из сада прямо во дворец, и там у них начинается веселье! Вот бы тебе посмотреть! Две самые красивые розы садятся на трон — это король с королевой. Красные петушки гребешки становятся по обеим сторонам и кланяются — это камер-юнкеры. Потом приходят все остальные прекрасные цветы, и начинается бал. Гиацинты и крокусы изображают маленьких морских кадетов и танцуют с барышнями — голубыми фиалками, а тюльпаны и большие желтые лилии — это пожилые дамы, они наблюдают за танцами и вообще за порядком.

— А цветочкам не попадает за то, что они танцуют в королевском дворце? — спросила маленькая Ида.

— Да ведь никто же не знает об этом! — сказал студент. — Правда, ночью заглянет иной раз во дворец старик смотритель с большою связкою ключей в руках, но цветы, как только слышат звяканье ключей, тотчас присмирели, спрячутся за длинные занавески, которые висят на окнах, и только чуть-чуть выглядывают оттуда одним глазом. «Тут что-то пахнет цветами!» — бормочет старик смотритель, а видеть ничего не видит.

— Вот забавно! — сказала маленькая Ида и даже в ладоши захлопала. — И я тоже не могу их увидеть?

— Можешь, — сказал студент. — Стоит тебе только, как опять пойдешь туда, заглянуть в окошки. Вот я сегодня видел там длинную желтую лилию; она лежала и потягивалась на диване — воображала себя придворной дамой.

— А цветы из Ботанического сада тоже могут прийти туда? Ведь это далеко!

— Не бойся, — сказал студент, — они умеют летать, когда захотят! Ты видела красивых красных, желтых и белых бабочек, похожих на цветы? Они ведь и были прежде цветами, только прыгнули со своих стебельков высоко в воздух, забили лепестками, точно крылышками, и полетели. Они вели себя хорошо и получили за это позволение летать не только ночью; другие должны днем сидеть смиренно на своих стебельках, а они летают, и лепестки их превратились в настоящие крылышки. Ты сама не раз ими любовалась. А впрочем, может быть, цветы из Ботанического сада и не бывают в королевском дворце! Может быть, они даже и не знают, что там идет по ночам такое веселье. Вот что я скажу тебе: то-то удивится потом профессор ботаники — ты ведь его знаешь, он живет тут рядом! — когда придешь в его сад, расскажи какому-нибудь цветочку про большие балы в королевском дворце. Твой цветочек расскажет об этом остальным, и они все убегут. Профессор придет в сад, а там ни единого цветочка, и он в толк не возьмет, куда они девались!

— Да как же цветочек расскажет другим? У цветов нет языка!

— Конечно, нет, — сказал студент, — зато они умеют объясняться знаками! Ты сама видела, как они качаются и шевелят своими зелеными листочками, чуть подует ветерок. Это у них так мило выходит — точно они разговаривают.

— А профессор понимает их знаки? — спросила маленькая Ида.

— Как же! Раз утром он пришел в свой сад и видит, что большая крапива делает листочками знаки прелестной красной гвоздике; этим она хотела сказать гвоздике: «Ты так мила, я очень тебя люблю!» Профессору это не понравилось, и он сейчас же ударил крапиву по листьям — листья у крапивы все

равно что пальцы, — да обжегся! С тех пор и не смеет ее трогать.

— Вот забавно! — сказала Ида и засмеялась.

— Ну можно ли забивать ребенку голову такими бреднями? — сказал скучный советник, который тоже пришел в гости и сидел на диване.

Он терпеть не мог студента и вечно ворчал на него, особенно когда тот вырезал затейливые, забавные фигурки, вроде человека на виселице и с сердцем в руках — его повесили за то, что он воровал сердца, — или старой ведьмы на помеле, с мужем на носу. Все это очень не нравилось советнику, и он всегда повторял:

— Ну можно ли забивать ребенку голову такими бреднями? Глупые выдумки!

Но Иду очень позабавил рассказ студента о цветах, и она думала об этом целый день.

«Значит, цветочки повесили головки потому, что устали после бала!» И маленькая Ида пошла к своему столику, где стояли все ее игрушки; ящик столика тоже битком был набит разным добром. Кукла Софи лежала в своей кровати и спала, но Ида сказала ей:

— Тебе придется встать, Софи, и полежать эту ночь в ящике: бедные цветы больны, их надо уложить в твою постельку, — может быть, они выздоровеют!

И она вынула куклу из кровати. Софи посмотрела на Иду очень недовольно и не сказала ни слова, — она рассердилась за то, что ей не дают спать в ее постели.

Ида уложила цветы, укрыла их хорошенько одеялом и велела им лежать смирно, за это она обещала напоить их чаем, и тогда они встанут завтра утром совсем здоровыми! Потом она задернула полог, чтобы солнце не светило цветам в глаза.

Рассказ студента не шел у нее из головы, и, укладываясь спать, Ида не могла удержаться, чтобы не заглянуть за гардины, задернутые на ночь; на окошках стояли чудесные мамины цветы — тюльпаны и гиацинты, и маленькая Ида шепнула им:

— Я знаю, что у вас ночью будет бал!

Цветы стояли как ни в чем не бывало и даже не шелохнулись, ну да маленькая Ида что знала, то знала.

В постели Ида долго еще думала о том же и все представляла себе, как это должно быть мило, когда цветочки танцуют! «Неужели и мои цветы были на балу во дворце?» — подумала она и заснула.

Но среди ночи маленькая Ида вдруг проснулась; она видела во сне цветы, студента и советника, который бранил студента за то, что тот забивает ей голову пустяками. В комнате, где лежала Ида, было тихо, на столе горел ночник, и папа с мамой крепко спали.

— Хотелось бы мне знать: спят ли мои цветы в постельке? — сказала маленькая Ида про себя и приподнялась с подушки, чтобы посмотреть в полуоткрытую дверь, за которой были ее игрушки и цветы; потом она прислушалась, — ей показалось, что в той комнате играют на фортепьяно, но очень тихо и нежно; такой музыки она никогда еще не слыхала.

— Это, верно, цветы танцуют! — сказала Ида. — Господи, как бы мне хотелось посмотреть!

Но она не смела встать с постели, чтобы не разбудить папу с мамой.

— Хоть бы цветы вошли сюда! — сказала она.

Но цветы не входили, а музыка все продолжалась, такая тихая, нежная, просто чудо! Тогда Ида не выдержала, потихоньку вылезла из кровати, прокралась на цыпочках к дверям и заглянула в соседнюю комнату. Что за прелесть была там!

В той комнате не горел ночник, а было все-таки светло, как днем, от месяца, глядевшего из окошка прямо на пол, где в два ряда стояли тюльпаны и гиацинты; на окнах не осталось ни единого цветка — одни горшочки с землей. Цветы очень мило танцевали: они то становились в круг, то, взявшись за длинные зеленые листочки, точно за руки, кружились парами. На фортепьяно играла большая желтая лилия — это, наверное, ее маленькая Ида видела летом! Она хорошо помнила, как студент сказал: «Ах, как она похожа на фрекен Лину!» Все посмеялись тогда над ним, но теперь Иде и в самом деле показалось, будто длинная желтая лилия похожа на Лину; она и на рояле играла так же, как Лина; поворачивала свое продолговатое лицо то в одну сторону, то в другую и кивала в такт чудесной музыке. Никто не заметил Иды.

Вдруг маленькая Ида увидела, что большой голубой крокус вскочил прямо на середину стола с игрушками, подошел к кукольной кровати и отдернул полог, там лежали больные цветы, но они живо поднялись и кивнули головками в знак того, что они тоже хотят танцевать. Старый Курилка со сломанной нижней губой встал и поклонился прекрасным цветам: они совсем не были похожи на больных — спрыгнули со стола и принялись веселиться вместе со всеми.

В эту минуту что-то стукнуло, как будто что-то упало на пол. Ида посмотрела в ту сторону — это была масленичная верба: она тоже спрыгнула со стола к цветкам, считая, что она им сродни. Верба тоже была мила; ее украшали бумажные цветы, а на верхушке сидела восковая куколка в широкополой черной шляпе, точь-в-точь такой, как у советника. Верба прыгала посреди цветов и громко топала своими тремя красными деревянными ходульками, — она танцевала мазурку, а другим цветам этот танец не удавался, потому что они были слишком легки и не могли топать.

Но вот восковая куколка на вербе вдруг вытянулась, завертелась над бумажными цветами и громко закричала:

— Ну можно ли забивать ребенку голову такими бреднями? Глупые выдумки!

Теперь кукла была вылитый советник, в черной широкополой шляпе, такая же желтая и сердитая! Но бумажные цветы ударили ее по тонким ножкам, и она опять съезжилась в маленькую восковую куколку. Это было так забавно, что Ида не могла удержаться от смеха.

Верба продолжала плясать, и советнику волей-неволей приходилось плясать вместе с нею, все равно — вытягивался ли он во всю длину или оставался маленькою восковою куколкой в черной широкополой шляпе. Наконец все цветы, особенно те, что лежали в кукольной кровати, стали просить за него, и верба оставила его в покое. Вдруг что-то громко застучало в ящике, где лежала кукла Софи и другие игрушки. Курилка побежал по краю стола, лег на живот и приотворил ящик. Софи встала и удивленно огляделась.

— Да у вас, оказывается, бал! — проговорила она.
— Хочешь танцевать со мной? — спросил Курилка.

— Хорош кавалер! — сказала Софи и повернулась к нему спиной; потом уселась на ящик и стала ждать — авось ее пригласит кто-нибудь из цветов, но никто и не думал ее приглашать. Она громко кашлянула, но и тут никто не подошел к ней. Курилка плясал один, и очень недурно!

Видя, что цветы и не глядят на нее, Софи вдруг свалилась с ящика на пол, да с таким шумом, что все сбежались к ней и стали спрашивать, не ушиблась ли она. Все разговаривали с нею очень ласково, особенно цветы, которые только что спали в ее кровати; Софи нисколько не ушиблась, и цветы маленькой Иды стали благодарить ее за чудесную постельку, потом увели с собой в лунный кружок на полу и принялись танцевать с ней, а другие цветы кружились вокруг них. Теперь Софи была очень довольна и сказала цветочкам, что охотно уступает им свою кровать, — ей хорошо и в ящике!

— Спасибо! — сказали цветы. — Но мы не можем жить так долго! Утром мы совсем умрем! Скажи только маленькой Иде, чтобы она скоронила нас в саду, где зарыта канарейка; летом мы опять вырастем и будем еще красивее!

— Нет, вы не должны умирать! — сказала Софи и поцеловала цветы. В это время дверь отворилась, и в комнату вошла целая толпа цветов. Ида никак не могла понять, откуда они взялись, — должно быть, из королевского дворца. Впереди шли две прелестные розы с маленькими золотыми коронами на головах — это были король с королевой. За ними, раскачиваясь во все стороны, шли чудесные левкой и гвоздики. Музыканты — крупные маки и пионы — дули в шелуху от горошка и совсем покраснели от натуги, а маленькие голубые колокольчики и беленькие подснежники звенели, точно на них были надеты бубенчики. Вот была забавная музыка! Затем шла целая толпа других цветов, и все они танцевали — и голубые фиалки, и оранжевые ноготки, и маргаритки, и ландыши. Цветы так мило танцевали и целовались, что просто загляденье!

Наконец все пожелали друг другу спокойной ночи, а маленькая Ида тихонько пробралась в свою кроватку, и ей всю ночь снились цветы и все, что она видела.

Утром она встала и побежала к своему столику посмотреть, там ли ее цветочки.

Она отдернула полог — да, они лежали в кроватке, но совсем, совсем завяли! Софи тоже лежала на своем месте в ящике и выглядела очень сонной.

— А ты помнишь, что тебе надо передать мне? — спросила ее Ида.

Но Софи глупо смотрела на нее и не раскрывала рта.

— Какая же ты нехорошая! — сказала Ида. — А они еще танцевали с тобой!

Потом она взяла картонную коробочку с нарисованною на крышке хорошенькою птичкой, открыла коробочку и положила туда мертвые цветы.

— Вот вам и гробик! — сказала она. — А когда придут мои норвежские кузены, мы вас зароем в саду, чтобы на будущее лето вы выросли еще красивее!

Ионас и Адольф, норвежские кузены, были бойкие мальчуганы; отец подарил им по новому луку, и они пришли показать их Иде. Она рассказала им про бедные умершие цветы и позволила помочь их похоронить. Мальчики шли впереди с луками на плечах, за ними маленькая Ида с мертвыми цветами в коробке. Вырыли в саду могилу. Ида поцеловала цветы и опустила коробку в яму, а Ионас с Адольфом выстрелили над могилкой из луков, — ни ружей, ни пушек у них ведь не было.

ДЮЙМОВЧКА

Жила одна женщина, и не было у нее детей. А ей очень хотелось маленького ребеночка. Вот пошла она к старой колдунье и сказала:

— Мне очень хочется, чтобы у меня была дочка. Не скажешь ли ты, где мне ее взять?

— Почему не сказать? — ответила колдунья. — Вот тебе ячменное зерно. Это зерно не простое, не такое, какие растут на крестьянских полях и которыми

кормят кур. Посади ты это зернышко в цветочный горшок, а потом увидишь, что будет.

— Спасибо тебе! — сказала женщина и дала колдунье двенадцать грошей.

Потом она пошла домой и посадила ячменное зернышко в цветочный горшок. Только она его посадила, зернышко сразу дало росток, а из ростка вырос большой чудесный цветок, совсем как тюльпан. Но лепестки цветка были плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона.

— Какой прелестный цветок! — сказала женщина и поцеловала красивые пестрые лепестки.

И как только она поцеловала лепестки, там внутри, в бутоне, что-то щелкнуло, и цветок распустился. Это был точь-в-точь тюльпан, но в самой чашечке на зеленом пестике цветка сидела девочка. Она была маленькая-маленькая, всего в дюйм¹ ростом. Ее так и прозвали Дюймовочкой.

Скорлупка грецкого ореха была ее колыбелькой, голубые фиалки — периной, а лепесток розы — одеялом. В скорлупке она спала ночью, а днем играла на столе. Женщина поставила на стол тарелку с водой, а на края тарелки положила цветы, и длинные стебельки цветов купались в воде. Для маленькой Дюймовочки тарелка с водой была целым озером, и Дюймовочка плавала по этому озеру на лепестке тюльпана, как на лодочке. Вместо весел у нее были два белых конских волоса. Дюймовочка целые дни каталась на своей чудесной лодочке, переплывала с одной стороны тарелки на другую и распевала песни. Такого нежного голоса, как у нее, никто никогда не слышал.

Однажды ночью, когда Дюймовочка спала в своей колыбельке, через открытое окно в комнату влезла большущая жаба, мокрая и безобразная.

Она вспрыгнула прямо на стол и заглянула в скорлупку, где спала под лепестком розы Дюймовочка.

— Вот славная жена будет моему сынку! — сказала жаба.

Она схватила ореховую скорлупку с девочкой и выпрыгнула через окно в сад.

¹ Дюйм — два с половиной сантиметра.

В саду протекала речка, а у самого ее берега было топкое болото. Здесь-то, в болотной тине, и жила старая жаба со своим сыном. Сын был тоже мокрый и безобразный — точь-в-точь как и его мать, старая жаба.

— Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! — только и мог он сказать, когда увидел маленькую девочку в ореховой скорлупке.

— Тихе ты! Разбудишь ее, и она убежит от нас, — сказала старая жаба. — Она ведь легче лебединого пуха. Посадим-ка ее на самую середину реки, на широкий лист кувшинки, — это целый остров для такой крошки. Оттуда уж ей ни за что не убежать. А я тем временем устрою для вас в тине уютное гнездышко.

В реке росло много кувшинок; их широкие зеленые листья плавали по воде. Самый большой лист был дальше всех от берега. Жаба подплыла к этому листу и поставила на него ореховую скорлупку, в которой спокойно спала девочка.

Рано утром проснулась Дюймовочка и вдруг увидела, что она на листе кувшинки; кругом, куда ни посмотришь, вода, а берег чуть виднеется вдаль. Дюймовочка очень испугалась и заплакала.

А старая жаба сидела в тине и украшала свой дом камышом и желтыми кувшинками — она хотела угодить молодой невестке. Когда все было готово, жаба поплыла со своим гадким сыном к листу, на котором сидела Дюймовочка, чтобы взять ее кроватку и поставить в спальне. Старая жаба низко присела в воде перед девочкой и сказала:

— Вот мой сынок! Он будет твоим мужем. Вы славно заживете с ним у нас в тине.

— Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! — только и мог сказать сынок.

Жабы взяли скорлупку и уплыли с ней, а Дюймовочка осталась одна на зеленом листе и горько-горько плакала — ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выходить замуж за ее противного сына.

Маленькие рыбки, которые плавали под водой, видели жабу и ее сына и слышали, что она говорила Дюймовочке.

Они высунули из воды свои головы, чтобы поглядеть на крошку невесту. Как только рыбки увидели



Дюймовочку, им стало ужасно жалко, что такой прелестной девочке придется жить с жабами. Не бывать же этому! Рыбки со всей речки подплыли к листу кувшинки, на котором сидела Дюймовочка, и перегрызли стебелек листа.

И вот лист кувшинки поплыл по течению. Течение было сильное, и лист с девочкой плыл очень быстро. Теперь жаба никак не могла бы догнать Дюймовочку.

А Дюймовочка плыла все дальше, и маленькие птички, которые сидели в кустах, смотрели на нее и пели:

— Какая хорошенькая маленькая девочка!

Красивый белый мотылек все время порхал вокруг Дюймовочки и наконец опустился на лист — уж очень ему понравилась маленькая девочка. Тогда Дюймовочка сняла с себя пояс, один конец набросила на мотылька, а другой привязала к своему листку, и листок поплыл еще быстрее.

Вдруг мимо пролетел майский жук. Он увидел Дюймовочку, схватил ее и унес на дерево, а зеленый лист кувшинки поплыл дальше, и с ним мотылек — он ведь был привязан и не мог освободиться.

Бедная Дюймовочка очень испугалась, когда жук схватил ее и полетел с ней на дерево. Но майскому жуку и горя было мало. Он уселся высоко на дереве, покормил Дюймовочку сладким цветочным соком и сказал ей, что она ему очень нравится, хотя она и совсем не похожа на майского жука.

Потом к ним пришли в гости другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они разглядывали Дюймовочку с головы до ног, а жучки-барышни пожимали щупальцами.

— У нее только две ножки! — говорили одни.

— У нее даже нет щупальцев! — сказали другие.

— Какая она тонкая! Она совсем как человек! — сказали третьи.

— Она очень некрасивая! — решили наконец все жуки.

Тут майскому жуку, который принес Дюймовочку, показалось тоже, что она очень некрасивая, и он не захотел больше держать ее у себя — пусть идет куда знает. Он слетел с нею вниз и посадил ее на ромашку.

Дюймовочка сидела на цветке и плакала: ей было обидно, что она такая некрасивая. Даже майские жуки прогнали ее.

Все лето прожила Дюймовочка одна-одинешенька в лесу. Она сплела себе из травы колыбельку и повесила эту колыбельку под большой лист лопуха, чтобы ее не замочил дождик. Она ела сладкий цветочный мед и пила росу, которую каждое утро находила на листьях.

Так прошло лето, прошла и осень. Приближалась длинная холодная зима. Все птички улетели, цветы завяли, а большой лопух, под которым жила Дюймовочка, пожелтел, засох и свернулся в трубочку.

Дюймовочка дрожала от холода: платье ее все разорвалось, а она была такая маленькая, нежная — как ей не мерзнуть! Пошел снег, и каждая снежинка была для Дюймовочки то же, что для нас целая лопата снегу. Мы ведь большие, а она была всего-то с дюйм ростом. Она завернулась было в сухой лист, но он совсем не грел, и Дюймовочка сама дрожала как осенний лист.

Тогда Дюймовочка решила уйти из лесу и поискать себе приют на зиму.

За лесом, в котором жила Дюймовочка, было большое поле. Хлеб с поля уже давно убрали, и только короткие сухие стебельки торчали из мерзлой земли.

В поле было еще холоднее, чем в лесу, и бедняжка совсем замерзла. И вот Дюймовочка пришла к норке полевой мыши; вход в норку был прикрыт сухими стебельками и былинками. Полевая мышь жила в тепле и довольстве: кухня и кладовая у нее были битком набиты хлебными зернами. Дюймовочка стала у порога, как нищенка, и попросила подать ей кусочек ячменного зернышка — она два дня ничего не ела.

— Ах ты, бедняжка! — сказала полевая мышь (она была, в сущности, добрая старуха). — Ну, иди сюда, погрейся да поешь со мной!

И Дюймовочка спустилась в норку, обогрелась и поела. Старухе девочка очень понравилась, и она сказала ей:

плотнее закутала ласточку ковриком, а потом сбегала, принесла листок мяты, которым сама укрывалась, и покрыла им голову птицы.

На следующую ночь Дюймовочка опять потихоньку пробралась к птице. Ласточка уж совсем ожила, только была еще очень слаба и еле-еле открыла глаза, чтобы посмотреть на девочку. Дюймовочка стояла перед нею с куском гнилушки в руках — другого фонаря у нее не было.

— Спасибо тебе, милая крошка! — сказала больная ласточка. — Я так хорошо согрелась! Скоро я совсем поправлюсь и опять полечу на солнышко.

— Ах, — сказала Дюймовочка, — теперь так холодно, идет снег! Остайся лучше в своей теплой постельке, а я буду ухаживать за тобой.

Дюймовочка принесла ласточке воды в цветочном лепестке и несколько ячменных зернышек. Ласточка попила и поела, а потом рассказала девочке, как она поранила себе крыло о терновый куст и не могла улететь вместе с другими ласточками в теплые края. Пришла зима, стало очень холодно, и она упала на землю... Больше ласточка уже ничего не помнила, и как попала сюда, в подземелье, она не знала.

Всю зиму прожила ласточка в подземелье, а Дюймовочка ухаживала за ней.

Ни крот, ни полевая мышь ничего не знали об этом — они ведь совсем не любили птичек.

Когда настала весна и пригрело солнышко, Дюймовочка открыла ту дыру, которую проделал в потлке крот, чтобы ласточка могла улететь.

Ласточка спросила, не хочет ли девочка отправиться вместе с нею — пусть сядет к ней на спину, и они полетят в зеленый лес. Но Дюймовочке было жалко старую полевую мышь — она знала, что старухе без нее будет очень скучно.

— Нет, я не могу улететь с тобой, — сказала она ласточке.

— Прощай, прощай, милая девочка! — прощевала ласточка и вылетела на волю.

Дюймовочка посмотрела ей вслед, и слезы закапали у нее из глаз — уж очень полюбила она птичку.

— Тви-вить, тви-вить! — крикнула ласточка и скрылась в зеленом лесу.

А Дюймовочка осталась в мышиной норе. Теперь ей жилось очень плохо. Ей совсем не позволяли выходить на солнышко, а поле вокруг норки полевой мыши заросло высокими, толстыми колосьями и казалось Дюймовочке дремучим лесом.

И вот однажды пришел старый крот и посватался к Дюймовочке.

— Ну, теперь тебе нужно готовить приданое, — сказала старуха мышь. — Ты выйдешь замуж за важного господина, и надо, чтобы у тебя всего было вдоволь.

И Дюймовочке пришлось по целым дням прясть пряжу.

Старуха мышь наняла четырех пауков, и они днем и ночью сидели в мышиной норе и ткали разные ткани.

А толстый слепой крот приходил каждый вечер в гости и болтал о том, что скоро лету будет конец, солнце перестанет палить землю, и она снова станет мягкой и рыхлой. Вот тогда они сыграют свадьбу. Но Дюймовочка все грустила и плакала: она совсем не хотела выходить замуж за толстого крота.

Каждое утро, на восходе солнца, и каждый вечер, на закате, Дюймовочка выходила на порог мышиной норки: иногда ветер раздвигал верхушки колосьев, и ей удавалось увидеть кусочек голубого неба.

«Как светло, как хорошо тут, на воле!» — думала Дюймовочка и все вспоминала о ласточке; ей очень хотелось бы повидаться с птичкой, но ласточки нигде не было видно: должно быть, она летала там, далеко-далеко в зеленом лесу.

И вот наступила осень. Приданое Дюймовочки было готово.

— Через четыре недели твоя свадьба! — сказала Дюймовочке полевая мышь.

Но Дюймовочка заплакала и сказала, что не хочет выходить замуж за скучного крота.

— Глупости! — сказала старуха мышь. — Не упрямясь, а не то я укушу тебя своим белым зубом. Чем тебе крот не муж? У самой королевы нет такой черной бархатной шубки, как у него. Да и в погребах у него не пусто. Бога благодари за такого мужа!

Наконец настал день свадьбы, и крот пришел за своей невестой. Теперь Дюймовочке придется пересе-

литься в кротовую нору, жить глубоко под землей, и никогда она не увидит солнца — крот ни за что не позволит ей выходить из норы.

А бедной Дюймовочке было так тяжело навсегда распрощаться с ясным солнышком! И Дюймовочка вышла взглянуть на солнышко в последний раз.

Хлеб был уже убран с поля, и из земли опять торчали одни голые, засохшие стебли. Девочка отошла от мышиной норки подальше и протянула к солнцу руки:

— Прощай, солнышко, прощай!

Потом она увидела маленький красный цветочек, обняла его и сказала:

— Поклонись, цветочек, от меня милой ласточке, если увидишь ее!

— Тви-вить, тви-вить!— вдруг раздалось над ее головой.

Дюймовочка подняла глаза и увидела ласточку, которая пролетала мимо. Ласточка тоже увидела девочку и очень обрадовалась, а Дюймовочка заплакала и рассказала ласточке, как ей не хочется выходить замуж за толстого крота и жить с ним глубоко под землей, куда никогда не заглядывает солнышко.

— Уже наступает холодная зима,— сказала ласточка,— и я улетаю далеко-далеко, в теплые края. Хочешь лететь со мной? Садись ко мне на спину, только привяжи себя покрепче поясом, и мы улетим с тобой от гадкого крота, улетим далеко, за синее море, где солнышко светит ярко, где всегда лето и цветут чудесные цветы. Полетим со мной, милая крошка! Ты ведь милая крошка! Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в темной, холодной яме.

— Да, да, я полечу с тобой!— сказала Дюймовочка.

Она села ласточке на спину и крепко привязала себя поясом к самому большому перышку.

Ласточка взвилась стрелой и полетела над темными лесами, над синими морями и высокими горами, покрытыми снегом. Тут было очень холодно, и Дюймовочка вся зарылась в теплые перья ласточки и высунула только голову, чтобы любоваться прекрасными местами, над которыми они пролетали.

Но вот и теплые края! Тут солнце сияло гораздо ярче, небо было вдвое выше, чем у нас, а около канав

и изгородей вился чудесный зеленый виноград. В лесах росли лимоны и апельсины, пахло миртами и душистой мятой, а по дорожкам бегали веселые ребята и ловили больших пестрых бабочек. Но ласточка летела все дальше.

На берегу прекрасного голубого озера посреди зеленых кудрявых деревьев стоял старинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а наверху, под крышей, лепились птичьи гнезда. В одном из них и жила ласточка.

— Вот мой дом!— сказала ласточка.— А ты выбери себе самый красивый цветок внизу, я посажу тебя туда, и ты заживешь прекрасно.

Дюймовочка обрадовалась и от радости захлопала в ладоши.

Внизу лежали куски белого мрамора — это свалилась верхушка одной колонны и разбилась на три куска,— между мраморными обломками росли большие белые цветы. Ласточка спустилась и посадила девочку на широкий лепесток. Но что за чудо! В чашечке сидел маленький человечек, беленький и прозрачный, как будто он был из стекла. За плечами у него дрожали легкие крылышки, а на голове блестела маленькая золотая корона. Ростом он был не больше нашей Дюймовочки. Это был король эльфов.

Когда ласточка подлетела к цветку, эльф совсем перепугался. Он был такой крошечный, ласточка такая большая! Но он очень обрадовался, когда увидел Дюймовочку,— он никогда еще не видал такой красивой девочки. Он низко поклонился ей и спросил, как ее зовут.

— Дюймовочка,— ответила девочка.

— Милая Дюймовочка,— сказал эльф,— не хочешь ли ты быть моей женой?

И Дюймовочка сразу согласилась.

Тогда из каждого цветка вылетели эльфы и принесли Дюймовочке подарки. Самым лучшим подарком были прозрачные крылышки, совсем как у стрекозы. Их привязали Дюймовочке на спину, и она тоже могла теперь летать с цветка на цветок. То-то было радости и веселья!

А ласточка сидела наверху, в своем гнездышке, и распевала песни, как умела.

Она пела эльфам веселые песни всю теплую зиму, а когда в холодные страны пришла весна, ласточка стала собираться на родину.

— Прощай, прощай!— прощбетала ласточка и опять полетела из теплых краев в Данию.

Там у нее было маленькое гнездышко, как раз над окном человека, который умел хорошо рассказывать сказки. Ласточка рассказала ему про Дюймовочку, а от него и мы узнали всю эту историю.

МАЛЕНЬКИЙ КЛАУС И БОЛЬШОЙ КЛАУС

В одной деревне жили два человека. Они были тезки, того и другого звали Клаусом, но у одного было четыре лошади, а у другого только одна; так вот, чтобы их различать, того, у которого было четыре лошади, прозвали Большим Клаусом, а другого — Маленьким Клаусом. Послушаем-ка теперь, что с ними случилось; это ведь было!

Всю неделю Маленький Клаус должен был пахать поле Большого Клауса и притом на своей единственной лошадке. Зато Большой Клаус в свою очередь помогал ему раз в неделю — по воскресеньям. Большой Клаус давал маленькому Клаусу своих четырех лошадей. Ух ты, как звонко щелкал кнутом Маленький Клаус над всей пятеркой. Словно все лошади были его собственными. Солнце сияло, колокола звонили к обедне, разряженные люди шли с молитвенниками под мышкой в церковь послушать проповедь священника. Все они видели, что Маленький Клаус пашет на пяти лошадях, а он, ликуя, щелкал кнутом да покрикивал:

— Эх, вы, лошадушки вы мои!

— Не смей так говорить!— сказал ему однажды Большой Клаус.— У тебя ведь только одна лошадь!

Но вот опять кто-нибудь проходил мимо, и Маленький Клаус, позабыв о том, что ему запретили так говорить, снова покрикивал:

— Ну вы, лошадушки вы мои!

— Перестань сейчас же!— приказал ему наконец Большой Клаус.— Если ты скажешь это еще хоть

раз, я возьму да стукну твою лошадь по лбу. Ей тогда сразу конец придет!

— Не буду больше!— сказал Маленький Клаус.— Право же, не буду!

Но тут кто-то опять прошел мимо и поздоровался с ним, а он от радости, что пашет на целых пяти лошадях, снова щелкнул кнутом и закричал:

— Ну вы, лошадушки вы мои!

— Вот я тебе покажу твоих лошадушек!— обозлился Большой Клаус.

Взял топор — да как хватит лошадь Маленького Клауса обухом по лбу. Убил наповал.

— Эх, нет теперь у меня ни одной лошадки!— сказал Маленький Клаус и заплакал.

Немного погодя он снял с лошади шкуру, высушил ее хорошенько на ветру и положил в мешок, потом взвалил мешок на спину и пошел в город продавать шкуру.

Идти пришлось очень далеко, через большой темный лес, а тут еще непогода разыгралась. Маленький Клаус заблудился, а когда выбрался на дорогу, уже совсем стемнело. До города было еще далеко, да и домой не близко; никак нельзя добраться ни туда, ни сюда раньше, чем наступит ночь.

При дороге стоял большой крестьянский двор; ставни в доме были уже закрыты, но сквозь их щели проникал свет.

«Тут я, пожалуй, найду себе приют на ночь»,— подумал Маленький Клаус и постучался.

Хозяйка отперла дверь, но, узнав, чего он хочет, отказалась его впустить, объяснив, что мужа ее нет дома, а без него она не должна принимать гостей.

— Видно, придется переночевать на дворе!— сказал Маленький Клаус, когда хозяйка захлопнула дверь перед его носом.

Возле дома стоял большой стог сена, а между стогом и домом — сарайчик с плоской соломенной крышей.

— Вот там я и улягусь!— сказал Маленький Клаус, глядя на эту крышу.— Чудесная постель! Аист, надо надеяться, не слетит туда и не клонет меня в ногу!

Это он сказал потому, что на крыше дома стоял живой аист в своем гнезде.

Маленький Клаус влез на крышу сарая, растянулся на соломе и принялся ворочаться с боку на бок, стараясь улечься поудобнее. Ставни в доме закрывали только нижнюю половину окон, и Маленький Клаус хорошо видел все, что делается в горнице.

В горнице был накрыт большой стол, а на нем — и вино, и жаркое, и вкусная рыба; за столом сидели хозяйка и пономарь, — больше никого.

Хозяйка наливала гостю вино, а он уплетал рыбу, — он был большой до нее охотник.

«Вот бы мне присоединиться!» — подумал Маленький Клаус и, вытянув шею, заглянул в окно. Боже, какой великолепный пирог он увидел! Вот так пир!

Но тут он услышал, что кто-то подъезжает к дому, — вернулся домой хозяйкин муж. Это был очень хороший человек, но водилась за ним одна слабость: он видеть не мог пономарей. Стоило крестьянину встретить пономаря, как он приходил в бешенство. Потому-то пономарь и выбрал время, когда его не было дома, чтобы зайти к его жене, а добрая женщина постаралась угостить гостя на славу. Оба они до смерти перепугались, когда хозяин вернулся, и хозяйка попросила гостя поскорее влезть в большой пустой сундук, стоявший в углу. Пономарь послушался — он ведь знал, что бедняга хозяин терпеть не может пономарей, — а хозяйка проворно убрала все угощение в печку: если бы ее муж увидел кушанье и вино, он, конечно, спросил бы, кого она вздумала угощать.

— Ах! — громко вздохнул Маленький Клаус, лежа на сарае и глядя, как исчезает вкусная еда.

— Кто там? — спросил крестьянин и увидел Маленького Клауса. — Ты чего тут лежишь? Пойдем-ка лучше в горницу!

Маленький Клаус объяснил, что заблудился, припоздал, и попросился переночевать.

— Ну что ж, ночуй! — сказал крестьянин. — Только сперва нам с тобой надо подкрепиться.

Хозяйка встретила их обоих очень ласково, накрыла на стол и вынула из печки большой горшок каши.

Крестьянин проголодался и ел с большим аппетитом, а у Маленького Клауса из головы не шли жаркое, рыба и пирог, спрятанные в печке.

Под столом, у ног Маленького Клауса, лежал мешок с лошадиной шкурой, той самой, которую он нес продавать. Каша не лезла Клаусу в горло, и вот он придавил мешок ногой; сухая шкура громко закрипела.

— Т-сс! — сказал Маленький Клаус мешку, а сам опять наступил на него, и шкура закрипела громче прежнего.

— Что там у тебя? — спросил хозяин.

— Да это все мой колдун! — сказал Маленький Клаус. — Говорит, что не стоит нам есть кашу, — он уже наколдовал для нас полную печку всяких вкусных кушаний: там и жаркое, и рыба, и пирог.

— Вот так штука! — воскликнул крестьянин, мигом открыл печку и увидел там разные блюда, одно другого лучше. Мы-то знаем, что их туда спрятала его жена, а он думал, что это все колдун наколдовал.

Жена не посмела сказать ни слова и живо поставила все блюда на стол, а муж с гостем принялись уплетать и жаркое, и рыбу, и пирог. Но вот Маленький Клаус опять наступил на мешок, и шкура закрипела.

— Что он сейчас сказал? — спросил крестьянин.

— Да вот, говорит, что наколдовал нам еще три бутылки вина, они тоже в печке, — ответил Маленький Клаус.

Пришлось хозяйке вытащить и вино. Крестьянин выпил малую толику и совсем развеселился. И вот ему до смерти захотелось иметь такого колдуна, как у Маленького Клауса.

— А может он вызвать черта? — спросил крестьянин. — Вот на кого я бы посмотрел: ведь мне сейчас весело!

— Да! — ответил Маленький Клаус. — Мой колдун может сделать все, что я захочу. Правда? — спросил он у мешка, а сам наступил на него, и шкура закрипела.

— Слышишь? Он отвечает: «Да». Только черт очень уж безобразный, не стоит на него смотреть!

— Ну, я его ни капельки не боюсь! А какой он на вид?

— Да вылитый пономарь!

— Тьфу! — плюнул крестьянин. — Вот мерзость! Надо тебе сказать, что я видеть не могу пономарей! Но все равно, ведь я знаю, что это черт, и мне будет не так противно! К тому же я сейчас набрался храбрости, это очень кстати. Только пусть он не подходит слишком близко!

— А вот я сейчас скажу колдуну! — проговорил Маленький Клаус, наступил на мешок и прислушался.

— Ну что?

— Он велит тебе пойти и открыть вон тот сундук в углу: черт в нем спрятался. Только придерживай крышку, а то он выскочит.

— А ты помоги придержать! — сказал крестьянин и пошел к сундуку, в который хозяйка спрятала пономаря.

Пономарь был ни жив ни мертв от страха. Крестьянин приоткрыл крышку и заглянул в сундук.

— Тьфу! — закричал он и отскочил прочь. — Видел, видел! Точь-в-точь наш пономарь! Вот гадость-то!

Подобную неприятность необходимо было запить, и собутыльники попивали вино до поздней ночи.

— А колдуна этого ты мне продай! — сказал крестьянин. — Проси, сколько хочешь, хоть целую мерку денег!

— Нет, не могу! — отозвался Маленький Клаус. — Подумай, какую пользу я от него имею!

— Продай! Мне страсть как хочется его заполучить! — сказал крестьянин и принялся упрашивать Маленького Клауса.

— Ну, ладно, — проговорил наконец Маленький Клаус, — будь по-твоему. Ты со мной обошелся ласково, пустил меня переночевать, так бери себе моего колдуна за мерку денег; но смотри — насыпай поплотнее!

— Хорошо! — сказал крестьянин. — Только возьми уж кстати и сундук; я и часу не хочу держать его у себя в доме. Почему знать, может, черт все еще там сидит.

Маленький Клаус отдал крестьянину свой мешок с высушенной шкурой и получил за него полную мерку денег; а еще крестьянин дал ему в придачу

большую тачку, чтобы было на чем везти деньги и сундук.

— Прощай! — сказал Маленький Клаус и покатил тачку с деньгами и сундуком, в котором все еще сидел пономарь.

По ту сторону леса протекала большая глубокая река, да такая быстрая, что трудно было бороться с ее течением. Через реку был перекинут большой новый мост. Маленький Клаус встал посередине моста и сказал как можно громче, чтобы пономарь услышал:

— К чему мне этот дурацкий сундук? Ну и тяжелый! Словно камнями набит. Замучаюсь я с ним. Брошу-ка его в реку; приплывет он ко мне домой сам — ладно, а не приплывет — и не надо!

И вот Маленький Клаус взялся за сундук одной рукой и слегка приподнял его, как будто хотел столкнуть в воду.

— Постой! — закричал в сундуке пономарь. — Выпусти меня сначала!

— Ай! — крикнул Маленький Клаус, делая вид, что испугался. — Он все еще тут! В воду его скорее! Пусть потонет!

— Нет, нет! Это не черт, это я! — кричал пономарь. — Выпусти меня, я тебе целую мерку денег дам!

— Это дело другое! — сказал Маленький Клаус и открыл сундук.

Пономарь мигом выскочил оттуда и столкнул пустой сундук в воду. Потом они пошли к пономарю, и Маленький Клаус получил еще целую мерку денег. Теперь вся тачка была доверху набита деньгами.

«А лошадка-то мне недурной барыш принесла! — подумал Маленький Клаус, когда пришел домой и высыпал на пол всю кучу денег. — Вот разозлится Большой Клаус, когда узнает, как я разбогател по милости своей единственной лошади! Только не стану я всего рассказывать».

И он послал к Большому Клаусу мальчика попросить мерку, которую мерят зерно.

«На что она ему нужна?» — подумал Большой Клаус и вымазал дно мерки дегтем: авось, мол, к нему что-нибудь да пристанет. Так оно и вышло: получив свою мерку, Большой Клаус увидел, что к ее дну прилипли три новенькие серебряные монетки.

— Вот так штука! — сказал Большой Клаус и сейчас же побежал к Маленькому Клаусу.

— Откуда у тебя столько денег?

— Вчера вечером продал шкуру своей лошади.

— С барышом продал! — сказал Большой Клаус.

Побежал домой, взял топор и прикончил всех своих четырех лошадей, потом снял с них шкуры и отправился в город продавать их.

— Шкуры! Шкуры! Кому нужны шкуры! — кричал он по улицам.

Все сапожники и кожевники сбежались к нему и стали спрашивать, сколько он просит за шкуры.

— Мерку денег за штуку! — отвечал Большой Клаус.

— Да ты с ума сошел! — возмутились покупатели. — У нас столько денег не водится, чтобы их мерками тратить!

— Шкуры! Шкуры! Кому нужны шкуры! — кричал он опять и всем, кто спрашивал, почему у него шкуры, отвечал: — Мерку денег за штуку.

— Да он нас дурачить вздумал! — закричали сапожники и кожевники, позвтали кто ремень, кто кожаный передник и принялись хлестать Большого Клауса.

— Шкуры! Шкуры! — передразнивали они его. — Вот мы тебе покажем шкуры! Дождешься, что кровью харкать будешь, красными поросятами плеваться! Вон из города!

И Большой Клаус давай бог ноги! Отроду его так не колотили.

— Ну, — проговорил он, добравшись до дому, — поплатится же мне за это Маленький Клаус! Убью его!

А у Маленького Клауса как раз умерла старушка бабушка; она, правда, была очень жадная и злая, но он все-таки ее жалел и на ночь уложил в свою теплую постель: авось оживет, думал. А сам уселся в углу, на стуле, — так ему случалось спать и прежде.

Ночью дверь открылась, и вошел Большой Клаус с топором в руках. Он знал, где стоит кровать Маленького Клауса, подошел к ней — и хватить по лбу того, кто на ней лежал. Думал, что это Маленький Клаус лежит, а там была мертвая бабушка.

— Вот тебе! Не будешь больше меня дурачить! — сказал Большой Клаус и пошел домой.

— Ну и злодей! — воскликнул Маленький Клаус. — Это он меня уколошить хотел! Хорошо, что бабушка уже умерла, а то бы ей все равно конец пришел!

Тут он одел бабушку в праздничное платье, потом попросил у соседа лошадь и запряг ее в тележку, а старушку усадил на заднее сиденье так, чтобы она не свалилась. Сел в тележку сам и покатил по лесу. Когда солнышко встало, Маленький Клаус подъехал к большому постоялому двору. Тут он остановился и пошел заказать себе чего-нибудь поесть.

Хозяин постоялого двора был человек богатый и в общем не плохой, но слишком уж горячий, точно перцем и табаком начиненный.

— Здравствуй! — сказал он Маленькому Клаусу. — Что это ты нынче расфрантился спозаранку?

— Да вот, пришлось бабушку в город везти, — ответил Маленький Клаус, — она там, в тележке, осталась; ни за что не хочет вылезать. Пожалуйста, отнесите ей туда стаканчик меду; только говорите погромче, глуховата она!

— Ладно! — согласился хозяин. Взял большой стакан меду и понес его мертвой бабушке; а та сидела в тележке прямая, как палка.

— Вот, прислал вам внучек стаканчик меду! — проговорил хозяин, подойдя к тележке, но старуха не ответила ему ни слова, даже не пошевелинулась.

— Слышите? — закричал хозяин во весь голос. — Ваш внук посылает вам стакан меду!

Еще раз прокричал он то же самое и еще раз — не шелохнулась старуха. Тогда он рассердился и запустил ей стаканом прямо в лицо, так что мед потек у нее по носу, а сама она опрокинулась навзничь. — Маленький Клаус ведь не привязал ее, а прислонил к спинке скамейки.

— Что ты наделал? — завопил Маленький Клаус и, выскочив из дому, схватил хозяина за шиворот. — Ты мою бабушку убил! Погляди, какая у нее дырка во лбу!

— Вот беда-то! — захохотал хозяин, всплеснув руками. — И все из-за моей горячности! Маленький Клаус, друг, я тебе целую мерку денег дам, а бабушку

твою похоронку, как свою собственную, только ты про все, что было,— молчок! Не то мне голову отрубят, а это не очень-то приятно!

И вот Маленький Клаус получил целую мерку денег, а хозяин похоронил его старую бабушку не хуже, чем свою собственную.

Маленький Клаус опять вернулся домой с целой кучей денег и сейчас же послал к Большому Клаусу мальчика за меркой.

«Как так?— удивился Большой Клаус.— Да неужто я его не убил? Надо посмотреть своими глазами».

И он понес мерку Маленькому Клаусу.

— Откуда это у тебя такая куча денег?— спросил он и даже глаза вытаращил, увидев, сколько у его соседа прибавилось денег.

— Убил-то ведь ты не меня, а мою бабушку,— ответил Маленький Клаус,— и я ее продал за мерку денег!

— С барышом продал!— сказал Большой Клаус; побежал домой, взял топор и убил свою старую бабушку, потом положил ее в тележку, отвез в город к аптекарю и предложил ему купить мертвое тело.

— Чье оно и где вы его взяли?— спросил аптекарь.

— Это моя бабушка!— ответил Большой Клаус.— Я убил ее, чтобы продать за мерку денег!

— Господи помилуй!— воскликнул аптекарь.— Да вы сами не знаете, что говорите! Берегитесь, за это с вас могут голову снять!

И аптекарь растолковал Большому Клаусу, каких дел он наделал, какой он дурной человек и как его за это накажут. Большой Клаус перепугался, опрометью выскочил из аптеки, сел в тележку, стеганул по лошадям и помчался домой. Аптекарь и все вокруг подумали, что он сумасшедший, и потому не стали его ловить.

— Ну и поплатишься ты мне за это, ну и заплатишься, Маленький Клаус!— вскричал Большой Клаус, выехав на дорогу.

И как только добрался он до дому, взял огромный мешок, пошел к Маленькому Клаусу и сказал:

— Ты опять меня одурачил! Сперва я убил своих лошадей, а теперь и бабушку! И все это по твоей милости! Но уж больше тебе меня не надуть!

И вот он схватил Маленького Клауса и засунул его в мешок, а мешок завязал, вскинул себе на спину и крикнул:

— Пойду утоплю тебя!

До реки было недалеко, и Большому Клаусу стало тяжело тащить Маленького. Дорога шла мимо церкви, из которой доносились звуки органа, да и молящиеся хорошо пели хором. Большой Клаус поставил мешок с Маленьким Клаусом у самых церковных дверей и подумал, что не худо бы зайти в церковь послушать псалом, а потом уж идти дальше. Маленький Клаус не мог ведь вылезти из мешка без чужой помощи, а весь народ был в церкви. И вот Большой Клаус вошел туда.

— Ох-ох!— вздыхал Маленький Клаус, ворочаясь в мешке; но как он ни старался развязать мешок — не мог. В это самое время проходил мимо старый, седой как лунь, пастух, который гнал свое стадо, с большим посохом в руках. Коровы и быки набежали на мешок с Маленьким Клаусом и повалили его.

— Ох-ох!— заохал Маленький Клаус.— Какой я молодой, а уже должен отправиться в царство небесное!

— А я, несчастный, совсем одряхлел, но все никак не могу туда попасть!— сказал пастух.

— Развяжи мешок!— закричал Маленький Клаус.— Полезай на мое место — живо туда попадешь!

— С большим удовольствием!— сказал пастух и развязал мешок, а Маленький Клаус мигом выскочил на волю.

— Теперь будешь пасти скотину!— сказал старик и влез в мешок.

Маленький Клаус завязал его и погнал стадо дальше.

Немного погодя из церкви вышел Большой Клаус и взвалил мешок себе на спину; тут ему сразу показалось, что мешок стал гораздо легче: ведь Маленький Клаус весил вдвое больше старика пастуха.

«Ишь как теперь легко стало! А все оттого, что я прослушал псалом!»— подумал Большой Клаус,

а когда дошел до широкой и глубокой реки, бросил в нее мешок с пастухом и, полагая, что там сидит Маленький Клаус, крикнул:

— Ну вот, вперед не будешь меня дурачить!

Затем он отправился домой, но у перепутья встретил Маленького Клауса с целым стадом!

— Вот тебе раз! — воскликнул Большой Клаус. — Да разве я тебя не утопил?

— Утопил, конечно! — ответил Маленький Клаус. — Прошло уже с полчаса с тех пор, как ты меня в реку бросил.

— Так откуда же ты взял такое громадное стадо? — спросил Большой Клаус.

— А это водяное стадо! — ответил Маленький Клаус. — Расскажу тебе целую историю. Но сначала поблагодарю тебя за то, что ты меня утопил, — как видишь, я теперь разбогател! Правда, страшновато мне было в мешке. Ветер так и засвистел в ушах, когда ты бросил меня в холодную воду. Я сразу пошел ко дну, но не ушибся: там на дне растет нежная, мягкая травка, — в нее-то я и упал. Мешок сейчас же развязался, и, откуда ни возьмись, появилась девушка, да такая красotka! В белом как снег платье и зеленом венке на мокрых волосах. Она взяла меня за руку и сказала: «А, это ты, Маленький Клаус? Слушай: прежде всего бери этот скот, а в миле отсюда, на дороге, пасется другое стадо, побольше, иди к нему, я дарю его тебе».

Тут я увидел, что для водяных жителей река все равно что дорога: они ездят и ходят по дну от самого озера и до верховьев реки. До чего хорошо! Какие цветы, какая свежая трава! А рыбки шмыгали мимо моих ушей — точь-в-точь как у нас здесь птички! Что за красавцы попадались мне навстречу и какие чудесные стада паслись у изгородей и канав!

— Почему же ты скоро вернулся? — спросил Большой Клаус. — Если там так хорошо, меня оттуда ничем не выманит бы!

— А я это неспроста сделал! — сказал Маленький Клаус. — Я тебе уже говорил, что водяная девушка велела мне отправиться за другим стадом, которое пасется при дороге, всего в одной миле от того места, где мы с нею встретились, — дорогой она называет реку, другой дороги у них нету; а река так петляет,

что мне пришлось бы сделать здоровый крюк, пойдя по дну. Вот я и решил выбраться на сушу да шагать напрямик к тому месту, где ждет меня мое водяное стадо; так я сокращу путь почти на полмили.

— Экий счастливец! — сказал Большой Клаус. — А как ты думаешь, я тоже получу стадо, если спущусь на дно?

— Конечно! — ответил Маленький Клаус. — Только я не могу тащить тебя в мешке до реки, больно уж ты тяжелый. Хочешь, дойди до нее сам и влезь в мешок, а я с превеликой охотой сброшу тебя в воду!

— Спасибо! — проговорил Большой Клаус. — Но берегись: если я там не получу стада, я тебя изобью, так и знай!

— Ну, ну, не кипятись! — сказал Маленький Клаус; и они пошли к реке.

Скоту очень хотелось пить, и, едва завидев воду, все стадо бросилось к ней.

— Погляди, как они торопятся! — сказал Маленький Клаус. — Это им не терпится поскорее попасть домой — на дно!

— А ты сперва помоги мне, а не то я тебя изобью! — сказал Большой Клаус и влез в мешок, который лежал на спине у одного быка. — Да положи мне в мешок камень, а то я, пожалуй, не пойду ко дну!

— Пойдешь! — возразил Маленький Клаус, но все-таки положил в мешок большой камень, потом крепко завязал его и столкнул в воду. Бултых! — и Большой Клаус пошел прямо ко дну.

— Ох, боюсь, не найдет он там ни коров, ни быков! — сказал Маленький Клаус и погнал свое стадо домой.

ГАНС-ЧУРБАН

Старая история, пересказанная вновь

В одной деревне была старая усадьба, а в усадьбе жил старый барин. У него было два умных сына — таких умных, что, будь они вдвое глупее, им и то бы ума хватило. Оба они собирались посвататься к доче-

ри короля, и в этом не было ничего особенного, — ведь глашатаи оповестили народ, что она выйдет замуж за того, кто окажется умнее всех.

Братья готовились к сватовству восемь дней, больше у них времени не осталось, — но хватило и этого, потому что они очень много знали и были дельные ребята. Один выучил наизусть весь латинский словарь и все городские газеты за три года и мог их все пересказать не только с начала до конца, но и наоборот; другой заучил весь свод законов и знал все, что полагается знать муниципальному советнику, так что он мог говорить о государственных делах; кроме того, он умел вышивать подтяжки — у него были ловкие пальцы и тонкий вкус. И каждый из них твердил: «На принцессе женюсь я!»

Отец подарил им по доброму коню: тому, кто знал на память словарь и газеты, — коня черного как уголь, а тому, что был умен, словно муниципальный советник, и умел вышивать, — коня молочно-белого. Братья смазали себе губы рыбьим жиром, чтобы рты у них легче открывались. Все слуги собрались во дворе и смотрели, как они садятся на коней. Пришел и третий брат, — братьев-то было трое, но младший в счет не шел, потому что он был не такой ученый, как старшие; его так и прозвали «Ганс-чурбан».

— Куда вы? Зачем так вырядились? — спросил он.

— Во дворец едем, королевскую дочку улещивать. А ты что, не слыхал разве? Об этом ведь по всей стране трезвонили.

И они рассказали ему про свое сватовство.

— Вот оно что! — сказал Ганс-чурбан. — Это и я бы поехал.

Братья только посмеялись над ним и ускакали.

— Отец, дай мне коня! — кричал Ганс-чурбан. — Очень уж мне хочется жениться! Пойдет она за меня — ладно; а не пойдет — я ее сам возьму.

— Не мели чепухи! — отозвался отец. — Не дам я тебе коня. Куда тебе с нею разговаривать? Вот братья твои — другое дело, они молодцы!

— Ну, раз ты не даешь коня, — промолвил Ганс-чурбан, — так я возьму козла; этот козел мой собственный, он меня и доведет!

И вот Ганс уселся верхом на козла, стукнул его пятками по бокам и помчался по большой дороге. Ну и летел же он!

— Вот и я еду! — сказал себе Ганс-чурбан и во все горло заорал песню.

А братья не спеша трусили впереди да помалкивали: им нужно было как следует обмозговать свои выдумки, все рассчитать до тонкости.

— Эгей! — крикнул им Ганс-чурбан. — Вот и я еду! Поглядите-ка, что я нашел на дороге! — И он показал братьям мертвую ворону, которую подобрал с земли.

— Эх, ты, чурбан! — отозвались они. — На что она тебе?

— Я ее королевне подарю.

— Попробуй подари! — Они рассмеялись и поехали.

— Эгей! Вот и я еду! — снова крикнул Ганс. — Смотрите-ка, что я еще нашел! На дороге такое не каждый день валяется.

Братья опять обернулись посмотреть.

— Вот чурбан! — сказали они. — Это старый деревянный башмак, да еще без верха. Может, и его отдашь королевне?

— А как же! — ответил Ганс-чурбан.

Братья рассмеялись и поехали дальше.

— Эгей! Вот и я! — кричал опять Ганс-чурбан. — Да вы смотрите только — чем дальше, тем больше! Эгей! Такого и не придумаешь!

— Ну, что ты еще нашел? — спросили братья.

— Э, нет! — ответил Ганс. — Этого я не скажу! А королевская дочка-то как обрадуется!

— Тьфу! — плюнули братья. — Да ведь это просто грязь. Ты ее, должно быть, в канаве подобрал?

— Так оно и есть! — подтвердил Ганс-чурбан. — Самая первосортная грязь, так и течет меж пальцев, не удержишь! — И он доверху наполнил себе карман грязью.

А братья пустились вскачь и приехали на час раньше Ганса.

Остановились они у городских ворот. Там женихов нумеровали по порядку. Всех их поставили друг другу в затылок, по шестеро в ряд, да так тесно, что они и руки поднять не могли. Это было придумано

ловко, а не то могла бы тут же потасовка начаться, — ведь каждому хотелось стоять впереди.

Все остальные жители страны толпились вокруг замка и заглядывали в окна, чтобы увидеть, как королева принимает женихов. Надо сказать, что, как только жених входил в зал, красноречие его пропадало.

— Не годится! — кричала королевская дочь. — Вон!

И вот вошел один из трех братьев — тот, что знал на память словарь. Но он все перезабыл начисто, пока дожидался. Пол под ним скрипел, потолок был зеркальный, так что он мог видеть себя вверх ногами. У каждого окна стояли три писца и муниципальный советник и записывали все слова, какие тут говорились, чтобы поместить их в газету, которая продавалась на углу за два скиллинга. В довершение всего в комнате горела печка, да так жарко, что стенки ее накалились докрасна.

— Ну и жара здесь! — проговорил наконец жених.

— Это потому, что отец сегодня цыплят жарит! — отозвалась королевская дочка.

— Э-э! — промямлил жених.

Не ожидал он, что получится у них такой разговор. Он и не сумел вымолвить ни слова, хоть ему и очень хотелось выдумать что-нибудь посмешнее.

— Э-э! — повторил он.

— Не годится! — заявила королева. — Вон!

И ему пришлось уйти. Тогда вошел второй брат.

— Ох, как тут жарко! — сказал он.

— Да мы цыплят жарим! — объяснила королевская дочь.

— Что? Э-э! Что? — переспросил он.

И все писцы записали: «Что? Э-э! Что?»

— Не годится! — сказала королева. — Вон!

И вот явился Ганс-чурбан — верхом на козле въехал в комнату.

— Ну и жарница! — проворчал он.

— Это я цыплят жарю! — сказала королевская дочь.

— Вот здорово! — проговорил Ганс-чурбан. — Значит, и мне можно поджарить мою ворону?



— Конечно! — ответила королева. — Но на чем ты ее зажаришь? Скородки нет. Котелка и того нет.

— А у меня есть, — сказал Ганс-чурбан. — Вот посудина, и даже с оловянными ручками. — И он вытащил старый деревянный башмак и положил на него ворону.

— На целый обед хватит! — сказала королева. — А подливку откуда возьмешь?

— Да она у меня в кармане! — ответил Ганс-чурбан. — Бери, не жалко. — И он вынул немного грязи из кармана.

— Вот это мне нравится! — воскликнула королевская дочь. — На все у тебя ответ найдется. Ты за словами в карман не лезешь, поэтому я выйду за тебя замуж. Но только знай, каждое слово, которое мы говорим или сказали раньше, запишут, и завтра оно будет напечатано в газете. Видишь, у каждого окна стоят по три писца, да еще старый муниципальный советник, а он опасней всех, потому что выжил из ума.

Это она сказала, чтобы поугаать Ганса, а писцы расохотались и обрызгали пол чернилами.

— Ах, вот вы где, господа, — сказал Ганс-чурбан. — Ну, советнику я отвалю порцию побольше.

Тут он вывернул карманы и вымазал грязью лицо советнику.

— Прекрасно! — вскричала королевская дочь. — До этого и я бы не додумалась. Но я еще научусь!

Так Ганс-чурбан стал королем — получил и жену, и корону и уселся на троне. Это нам известно из газеты, которую издает муниципальный советник, а на нее нельзя не положиться.

РОМАШКА

Вот послушайте-ка!

За городом, у дороги, стояла дача. Вы, верно, видели ее? Перед ней еще небольшой садик, обнесенный крашеною деревянной решеткой.

Неподалеку от дачи, у самой канавы, росла в мягкой зеленой траве ромашка. Солнечные лучи грели и ласкали ее наравне с роскошными цветами, кото-

рые цвели на клумбах перед дачей, и наша ромашка росла не по дням, а по часам. В одно прекрасное утро она распустилась совсем — желтое, круглое, как солнышко, сердечко ее было окружено сиянием ослепительно-белых мелких лучей-лепестков. Ромашку ничуть не заботило, что она такой бедненький, простенький цветочек, которого никто не видит и не замечает в густой траве; нет, она была довольна всем, жадно тянулась к солнцу, любовалась им и слушала, как поет где-то высоко-высоко в небе жаворонок.

Ромашка была так весела и счастлива, точно сегодня было воскресенье, а на самом-то деле был всего только понедельник; пока все дети смиренно сидели на школьных скамейках и учились у своих наставников, наша ромашка тоже смиренно сидела на своем стебельке и училась у ясного солнышка и у всей окружающей природы. Ромашка слушала пение жаворонка, и ей казалось, что в его громких, красивых песнях звучит как раз то, что таится у нее на сердце; поэтому ромашка смотрела на счастливую птичку с каким-то особым почтением, но ничуть не завидовала ей и не печалилась, что сама не может ни летать, ни петь. «Я ведь вижу и слышу все! — думала она. — Солнышко меня ласкает, ветерок целует! Как я счастлива!»

В садике цвело множество пышных, гордых цветов, и чем меньше они благоухали, тем больше важничали. Пионы так и раздували щеки — им все хотелось стать побольше роз; да разве в величине дело? Пестрее, наряднее тюльпанов никого не было, они отлично знали это и старались держаться возможно прямее, чтобы больше бросаться в глаза. Никто из гордых цветов не замечал маленькой ромашки, росшей где-то у канавы. Зато ромашка часто заглядывалась на них и думала: «Какие они нарядные, красивые! К ним непременно прилетит в гости прелестная певунья птичка! Слава богу, что я расту так близко — увижу все, налюбуюсь вдоволь!» Вдруг раздалось «квир-квир-вит!», и жаворонок спустился... не в сад к пионам и тюльпанам, а прямехонько в траву, к скромной ромашке! Ромашка совсем растерялась от радости и просто не знала, что ей думать, как быть!

Птичка прыгала вокруг ромашки и распевала: «Ах, какая славная мягкая травка! Какой милень-

кий цветочек в серебряном платьице, с золотым сердечком!»

Желтое сердечко ромашки и в самом деле сияло, как золотое, а ослепительно-белые лепестки отливали серебром.

Ромашка так была счастлива, так рада, что и сказать нельзя. Птичка поцеловала ее, спела ей песенку и опять взвилась в синее небо. Прошла добрая четверть часа, пока ромашка опомнилась от такого счастья. Радостно-застенчиво глянула она на пышные цветы — они ведь видели, какое счастье выпало ей на долю, кому же и оценить его, как не им! Но тюльпаны вытянулись, надулись и покраснели с досады, а пионы прямо готовы были лопнуть! Хорошо еще, что они не умели говорить — досталось бы от них ромашке! Бедняжка сразу поняла, что они не в духе, и очень огорчилась.

В это время в садике показалась девушка с острым блестящим ножом в руках. Она подошла прямо к тюльпанам и принялась срезать их один за другим. Ромашка так и ахнула. «Какой ужас! Теперь им конец!» Срезав цветы, девушка ушла, а ромашка порадовалась, что росла в густой траве, где ее никто не видел и не замечал. Солнце село, она свернула лепестки и заснула, но и во сне все видела милую птичку и красное солнышко.

Утром цветок опять расправил лепестки и протянул их, как дитя ручонки, к светлому солнышку. В ту же минуту послышался голос жаворонка; птичка пела, но как грустно! Бедняжка попала в западню и сидела теперь в клетке, висевшей у раскрытого окна. Жаворонок пел о просторе неба, о свежей зелени полей, о том, как хорошо и привольно было летать на свободе! Тяжело-тяжело было у бедной птички на сердце — она была в плену!

Ромашке всей душой хотелось помочь пленнице, но чем? И ромашка забыла и думать о том, как хорошо было вокруг, как славно грело солнышко, как блестели ее серебряные лепестки; ее мучила мысль, что она ничем не могла помочь бедной птичке.

Вдруг из садика вышли два мальчугана; у одного из них в руках был такой же большой и острый нож, как тот, которым девушка срезала тюльпаны. Маль-

чики подошли прямо к ромашке, которая никак не могла понять, что им тут было нужно.

— Вот здесь можно вырезать славный кусок дерна для нашего жаворонка! — сказал один из мальчуганов и, глубоко запустив нож в землю, начал вырезать четырехугольный кусок дерна; ромашка очутилась как раз в середине его.

— Давай вырвем цветок! — сказал другой мальчик, и ромашка затрепетала от страха: если ее сорвут, она умрет, а ей так хотелось жить! Теперь она могла ведь попасть к бедному пленнику!

— Нет, пусть лучше останется! — сказал первый из мальчиков. — Так красивее!

И ромашка попала в клетку к жаворонку.

Бедняжка громко жаловался на свою неволю, метался и бился о железные прутья клетки. А бедная ромашка не умела говорить и не могла утешить его ни словечком. А уж как ей хотелось! Так прошло все утро.

— Тут нет воды! — жаловался жаворонок. — Они забыли дать мне напиться, ушли и не оставили мне ни глоточка воды! У меня совсем пересохло в горлышке! Я весь горю, и меня знобит! Здесь такая духота! Ах, я умру, не видать мне больше ни красного солнышка, ни свежей зелени, ни всего мира!

Чтобы хоть немного освежиться, жаворонок глубоко вонзил клюв во влажный прохладный дерн, увидал ромашку, кивнул ей головой, поцеловал и сказал:

— И ты завянешь здесь, бедный цветок! Тебя да этот клочок зеленого дерна — вот что они дали мне взамен всего мира! Каждая травинка должна быть для меня теперь зеленым деревом, каждый твой лепесток — благоухающим цветком. Увы! Ты только напоминаешь мне, чего я лишился!

«Ах, чем бы мне утешить его!» — думала ромашка, но не могла шевельнуть ни листочком и только все сильнее и сильнее благоухала. Жаворонок заметил это и не тронул цветка, хотя повыщипал от жажды всю траву.

Вот и вечер пришел, а никто так и не принес бедной птичке воды. Тогда она распустила свои коротенькие крылышки, судорожно затрепетала ими и еще несколько раз жалобно пропищала:

— Пить! Пить!

Потом головка ее склонилась набок, и сердечко разорвалось от тоски и муки.

Ромашка также не могла больше свернуть своих лепестков и заснуть, как накануне: она была совсем больна и стояла, грустно повесив головку.

Только на другое утро пришли мальчишки и, увидев мертвого жаворонка, горько-горько заплакали, потом вырыли ему могилку и всю ее украсили цветами, а самого жаворонка положили в красивую красненькую коробочку — его хотели похоронить по-царски! Бедная птичка! Пока она жила и пела, они забывали о ней, дали ей умереть от жажды в клетке, а теперь устраивали ей пышные похороны и проливали над ее могилкой горькие слезы!

Дерн с ромашкой был выброшен на пыльную дорогу; никто и не подумал о ней, хотя она больше всех любила бедную птичку и всем сердцем желала ее утешить.

ПОДСНЕЖНИК

Завывал зимний ветер, а в домике было тепло и уютно. В этом домике укрывался цветок. Он укрывался в своей луковице под землей и снегом. Потом выпал дождь. Капли пробили снежное покрывало и застучали по цветочной луковице. Они говорили о светлом наземном мире, и вслед за ними сквозь снег пробился нежный и настойчивый солнечный луч и пригрел луковицу.

— Кто там? Войдите! — сказал цветок.

— Не могу! — сказал солнечный луч. — Мне никак не отворить дверь. Подожди до лета, тогда я наберу силу.

— А когда будет лето? — спросил цветок и повторял этот вопрос всякий раз, как новый солнечный луч пробивался под землю. Но до летней поры было еще далеко, всюду лежал снег, и каждую ночь вода подергивалась ледком.

— Как мне это надоело! — сказал цветок. — Все тело ноет! Я должен потянуться, выпрямиться и выйти на волю, я должен поклониться лету и по-

желать ему доброго утра. Ах, какое это будет счастье!

Цветок встал, потянулся и приналег на свою оболочку, размякшую от теплой земли, талой воды и солнечных лучей. Он рванулся вверх, неся на зеленом стебле бледно-зеленый бутон, бережно прикрытый узкими плотными листочками, и очутился в снегу. Снег был холодный, но весь просвечивал, и пробиваться сквозь него было куда легче, а солнечные лучи были теперь совсем близко, так близко, как никогда прежде. Они звенели и пели:

— Добро пожаловать! Добро пожаловать!

И цветок поднялся из снега навстречу светлому солнечному миру.

Лучи гладили и целовали его так нежно, что он совсем раскрылся. Он стоял, белый как снег, украшенный зелеными полосочками, смущенно и радостно склонив голову.

— Прекрасный цветок! — пели солнечные лучи. — Как ты нежен и свеж! Ты первый! Ты единственный! Любимый ты наш! Ты несешь в города и селенья весть о лете, о теплом лете. Весь снег растает, улетят холодные ветры! Придет наша пора! Все зазеленеет. И у тебя появятся друзья: сирень, раkitник, а потом розы, но ты у нас первый, такой нежный, такой прозрачный!

Ему было так радостно, словно пел весь воздух, словно лучи света пронизали все его листики и стебель, и цветок стоял нежный и хрупкий и вместе с тем сильный в своей юной красе. Он стоял в бело-зеленом наряде и славил лето. Но до лета было все еще далеко, тучи закрыли солнце, и подул резкий, холодный ветер.

— Рановато ты явился! — сказали Непогода и Ветер. — Мы еще покажем тебе нашу силушку! Ты еще нас узнаешь! Сидел бы лучше дома и не выскакивал на улицу щеголять нарядами. Не пришла еще твоя пора!

И снова наступили холода. Потянулись хмурые дни без единого солнечного луча. Погода стояла такая, что маленькому, слабому цветку в пору было промерзнуть насквозь. Но он и сам не знал, какой он сильный: ему прибавляла сил жизнерадостность и вера в то, что лето все равно придет. Он хранил ему

верность, а солнечные лучи подтверждали, что ждать стоит. И так стоял он, исполненный любви, веры и надежды, в белом наряде на белом снегу и склонял голову, когда густо падали снежные хлопья и дули ледяные ветры.

— Ты сломишься,— говорили они.— Замерзнешь, засохнешь! Что ты здесь искал? Зачем доверился солнечному лучу? Он обманул тебя. И поделом тебе, безумец. Эх, ты, вестник лета!

— Безумец!— повторил цветок, когда настало морозное утро.

— Вестник лета!— обрадовались дети, которые выбежали в сад.— Полюбуйтесь, какой он славный, какой красивый, самый первый, единственный!

И от этих слов цветку сделалось так хорошо, как от теплых солнечных лучей. На радостях цветок даже не заметил, что его сорвали. Он лежал в детской руке, и детские губы целовали его, он очутился в теплой комнате, на него смотрели добрые глаза, его поставили в воду, такую бодрящую, такую живительную, что цветку почудилось, будто вдруг настало лето.

У хозяйской дочери, которая недавно конфирмовалась, был любезный дружок-подмастерье, который тоже недавно конфирмовался.

— Закружу-ка я ему голову!— сказала она; затем, взяв нежный цветок, вложила его в надушенный листок бумаги, на котором были написаны стихи, стихи о цветочке. Они начинались словами: «Подснежник говорит: «Настало лето вновь!»— и кончались этими же словами, а внизу была еще такая приписка: «А я тебе скажу, что к нам пришла любовь!»

Хорошенькая барышня тоже обещала тепло и солнце. Об этом было написано в стихах, которые затем были посланы вместе с цветком по почте. Ему показалось, что он снова очутился в луковице, так сделалось вокруг темно. И подснежник отправился в путешествие: он ехал в почтовом мешке, со всех сторон на него жали и давили, и это не доставляло ему никакого удовольствия. Но всему когда-нибудь приходит конец. Закончилось и путешествие. Любезный друг распечатал и прочел письмо, да так обрадовался, что поцеловал цветочек; потом цветок вместе со стихами был положен в шкатулку, где ле-

жало много красивых писем, только все они были без цветов, он был первым и единственным, как его называли солнечные лучи, и было приятно думать об этом.

И уж думать об этом он мог предостаточно, он думал все лето и всю долгую зиму, а когда опять настало лето, цветок попался на глаза молодому человеку. На сей раз молодой человек несколько ему не обрадовался: он схватил письмо и так швырнул стихи, что цветок упал на пол. Правда, цветок высох и сплюснулся, но из этого вовсе не следовало, что его надо было бросать на пол. Тем не менее здесь было лучше, чем в огне, где пылали стихи и письма. Что же случилось? Да лишь то, что нередко случается.

Ранней весной подснежник оказался обманщиком, возвестив о лете, но это была невинная шутка. Девушка оказалась тоже обманщицей, возвестив о любви, и это была уже злая шутка. А когда и в самом деле пришло лето, она выбрала себе другого.

Утром солнечный луч осветил маленький сплюснутый подснежник, который, казалось, был нарисован на полу. Служанка, подметавшая пол, подняла его и положила в одну из книг, так как ей показалось, что он выпал оттуда, когда она обметала пыль. И цветок снова очутился среди стихов, среди стихов напечатанных, а они куда благороднее, чем рукописные, и уж, по крайней мере, стоят они дороже.

Годы шли. Книга стояла на полке; затем ее взяли, раскрыли и прочли. Это была хорошая книга: стихи и песни датского поэта Амброзиуса Стуба, они стояли того, чтобы с ними ознакомились. И человек, читавший книгу, перевернул страницу.

— Ах,— сказал он,— здесь подснежник, самый первый и безрассудный цветок! Мне кажется, его положили сюда неспроста! Бедный Амброзиус Стуб! Он сам был как слишком ранний подснежник, и поэтому на его долю выпали злые ветры, снег и холод. Он странствовал по родному острову Фюн от одного помещичьего дома к другому, словно подснежник в стакане воды, словно цветок в любовном письме, и никто не принимал всерьез самого безрассудного, наивного, чудаковатого, и притом самого первого, единственного, вечно юного датского поэта. Да, ма-

ленький подснежник, оставайся здесь как напоминание, тебя сюда вложили неспроста!

И подснежник снова очутился в книге. Ему было лестно сознавать, что лежит он в прекрасной книге песен неспроста и что юноша, воспевший его, был тоже безрассуден и тоже бросал вызов зиме. Цветок понял все это на свой лад, как и мы склонны все понимать на свой лад.

Вот и конец сказке о маленьком безрассудном подснежнике.

СЕРЕБРЯНАЯ МОНЕТКА

Жила-была монетка. Она только что вышла из чеканки, чистенькая, светленькая, покатилась и зазвенела: «Ура! Теперь пойду гулять по белу свету!» И пошла.

Ребенок крепко сжимал ее в своем тепленьком кулачке, скряга тискал холодными липкими пальцами, люди постарше вертели и поворачивали в руках много раз, а молодежь живо ставила ребром и катила дальше. Монетка была серебряная, меди в ней было очень мало, и вот она уже целый год гуляла по белу свету, то есть по той стране, где была отчеканена. Потом она отправилась путешествовать за границу и оказалась последнею родной монеткою в кошельке путешественника. Но он и не подозревал о ее существовании, пока она не попала ему под руку.

— Вот как! У меня еще осталась одна наша родная монетка! — сказал он. — Ну, пусть едет со мною путешествовать! — И монетка от радости подпрыгнула и зазвенела, когда он сунул ее обратно в кошелек. Тут ей пришлось лежать с иностранными товарками, которые все сменялись: одна уступала место другой, а наша монетка все оставалась в кошельке; это уж было некоторого рода отличием!

Прошло много недель. Монетка заехала далеко-далеко от родины, но куда — не знала. Она только слышала от соседок, что они француженки или итальянки, что они теперь в таком-то или таком-то городе, но сама не имела о том никакого представления; не много увидишь, сидя в мешке, как она! Но

вот однажды монетка заметила, что кошелек не закрыт; ей вздумалось хоть одним глазком поглядеть на мир, и она проскользнула в щелочку. Не следовало бы ей этого делать, да она была любопытна, ну и это не прошло ей даром! Она упала в карман брюк. Вечером кошелек из кармана вынули, а монетка осталась лежать там, где лежала. Брюки вынесли в коридор чистить, и тут монетка вывалилась из кармана на пол; никто не слышал, никто не видал этого.

Утром платье опять внесли в комнату; путешественник оделся и уехал, а монетка осталась. Вскоре ее нашли на полу, и ей предстояло опять поступить на службу; она очутилась вместе с тремя другими монетками.

«Вот славно-то! Опять пойду гулять по свету, увижу новых людей, новые обычаи!» — подумала монетка.

— Это что за монетка? — слышалось в ту же минуту. — Это не наша монета. Фальшивая! Никуда не годится!

Тут-то и началась для монетки история, о которой она сама потом рассказывала.

— «Фальшивая! Никуда не годится!» Меня так и пронизало насквозь! — рассказывала она. — Я же знала, что я чисто серебряная, хорошего звона и настоящей чеканки! Верно, люди ошиблись, — не могли они так отзываться обо мне! Однако они говорили именно про меня! Это меня называли фальшивою, это я никуда не годилась! «Ну, я сбуду ее с рук в сумерках!» — сказал мой хозяин и сбыл-таки. Но при дневном свете меня опять принялись бранить: «Фальшивая!», «Никуда не годится!», «Надо ее поскорее сбить с рук!»

И монетка дрожала от стыда и страха всякий раз, как ее подсовывали кому-нибудь вместо местной монеты.

— Ах, несчастная я монетка! Что толку в моем серебре, в моем достоинстве, чеканке, когда все это ни к чему! В глазах света останешься тем, за кого он тебя примет! Как же, должно быть, ужасно иметь нечистую совесть, пробиваться вперед нечистыми путями, если мне, ни в чем не повинной, так тяжело потому только, что я кажусь виновною!.. Переходя в новые руки, я всякий раз трепещу от того взгляда, ко-

торый упадет на меня сейчас: я ведь знаю, что меня тут же отшвырнут в сторону, бросят, точно я обманщица!

Раз я попала к одной бедной женщине; она получила меня в уплату за тяжелую поденную работу. Но ей-то уж никак не удавалось сбыть меня с рук, — никто не хотел брать меня; я была для бедняги сушим несчастьем.

«Право, поневоле придется обмануть кого-нибудь! — сказала женщина. — Где мне, при моей бедности, беречь фальшивые деньги! Отдам-ка ее богатому булочнику, он-то не разорится от этого! Но все-таки нехорошо это! Сама знаю, что нехорошо!»

«Ну вот, теперь я буду лежать на совести у бедной женщины! — вздохнула я. — Неужели же я в самом деле так изменилась от времени?»

И женщина отправилась к богатому булочнику, но он слишком хорошо знал все монеты, и мне не пришлось долго лежать там, куда меня положили, — он швырнул меня бедной женщине в лицо. Ей не дали за меня хлеба, и мне было так грустно сознавать, что я отчуждена на горе другим! Это я-то, я, когда-то такая смелая, уверенная в себе, в своей чеканке, в хорошем звоне! И я так пала духом, как только может пасть монетка, которую никто не хочет брать. Но женщина принесла меня обратно домой, добродушно-ласково поглядела на меня и сказала:

«Не хочу я никого обманывать! Я пробью в тебе дырку, пусть каждый знает, что ты фальшивая... А впрочем... Постой, мне пришло на ум — может быть, ты счастливая монетка? Право, так! Я пробью в тебе дырочку, продену шнурок и повешу на шейку соседкиной девочке — пусть носит на счастье!»

И она пробила во мне дырочку. Не особенно-то приятно быть пробитою, но ради доброй цели можно перенести многое. Через дырочку продержали шнурок, и я стала похожа на медаль. Меня повесили на шейку малютки; малютка улыбалась мне, целовала меня, и я всю ночь провела на тепленькой невинной детской груди.

Утром мать девочки взяла меня в руки, поглядела на меня и что-то задумала, — я сейчас же догадалась! Потом она взяла ножницы и перерезала шнурок.

«Счастливая монетка! — сказала она. — Посмотрим!» И она положила меня в кислоту, так что я вся позеленела, потом затерла дырку, немножко почистила меня и в сумерках пошла к продавцу лотерейных билетов купить на счастье билетик.

Ах, как мне было тяжело! Меня точно в тисках сжимали, ломали пополам! Я ведь знала, что меня обзовут фальшивою, осрамят перед всеми другими монетами, что лежат и гордятся своими надписями и чеканкою. Но нет! Я избежала позора! В лавке была такая толпа, продавец был так занят, что, не глядя, бросил меня в выручку, к другим монетам. Выиграл ли купленный за меня билет — не знаю, но знаю, что на другой же день меня признали фальшивою, отложили в сторону и опять отправили обманывать — все обманывать! А ведь это просто невыносимо при честном характере — его-то уж у меня не отнимут! Так переходила я из рук в руки, из дома в дом больше года, и всюду-то меня бранили, всюду-то на меня сердились. Никто не верил в меня, и я сама больше не верила ни в себя, ни в свет. Тяжелое выдалось для меня времечко!

Но вот однажды явился путешественник; ему, конечно, сейчас же подсунили меня, и он был так прост, что взял меня за здешнюю монету. Но когда он, в свою очередь, хотел расплатиться мною, я опять услышала крик: «Фальшивая! Не годится!»

«Мне дали ее за настоящую! — сказал путешественник и взгляделся в меня пристальнее. Вдруг на лице его появилась улыбка: а ведь глядя на меня, уже давно никто не улыбался. — Нет, что же это, — сказал он. — Ведь это наша родная монетка, хорошая, честная монетка с моей родины, а в ней пробили дырку и зовут ее фальшивою! Вот забавно! Надо будет сбегать тебя и взять с собою домой!»

То-то я обрадовалась! Меня опять называют хорошою, честною монеткою, хотят взять домой, где все и каждый узнают меня, будут знать, что я чисто серебряная, настоящей чеканки. Я бы засверкала от радости искрами, да это не в моей натуре: искрится сталь, а не серебро.

Меня завернули в тонкую белую бумажку, чтобы не смешать с другими монетками и не затерять; вынимали меня только в торжественных случаях, при

встречах с земляками, и тогда обо мне отзывались необыкновенно хорошо. Все говорили, что я очень интересна. Забавно, что можно быть интересною, не говоря ни слова!

И вот я попала домой! Миновали мои мытарства, потекла счастливая жизнь. Я ведь была чисто серебряная, настоящей чеканки, и мне совсем не вредило, что во мне была пробита дырка, как в фальшивой: что за беда, если на самом деле ты не фальшивая! Да, надо иметь терпение: пройдет время, и все встанет на свои места. Уж в это я твердо верю! — заключила свой рассказ монетка.

ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ

Как холодно было в этот вечер! Шел снег, и сумерки сгущались. А вечер был последний в году — канун Нового года. В эту холодную и темную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая. Правда, из дому она вышла обутая, но много ли было проку в огромных старых туфлях? Туфли эти прежде носила ее мать, — вот какие они были большие, — и девочка потеряла их сегодня, когда бросилась бежать через дорогу, испугавшись двух карет, которые мчались во весь опор. Одной туфли она так и не нашла, другую утащил какой-то мальчишка, заявив, что из нее выйдет отличная люлька для его будущих ребят.

Вот девочка и брела теперь босиком, и ножки ее покраснели и посинели от холода. В кармане ее старенького передника лежало несколько пачек серных спичек, а одну пачку она держала в руке. За весь этот день она не продала ни одной спички, и ей не подали ни гроша. Она брела голодная и продрогшая и так измучилась, бедняжка!

Снежинки садились на ее длинные белокурые локоны, красиво рассыпавшиеся по плечам, но она, право же, и не подозревала о том, что они красивы. Изю всех окон лился свет, на улице вкусно пахло жареным гусем, — ведь был канун Нового года. Вот о чем она думала.

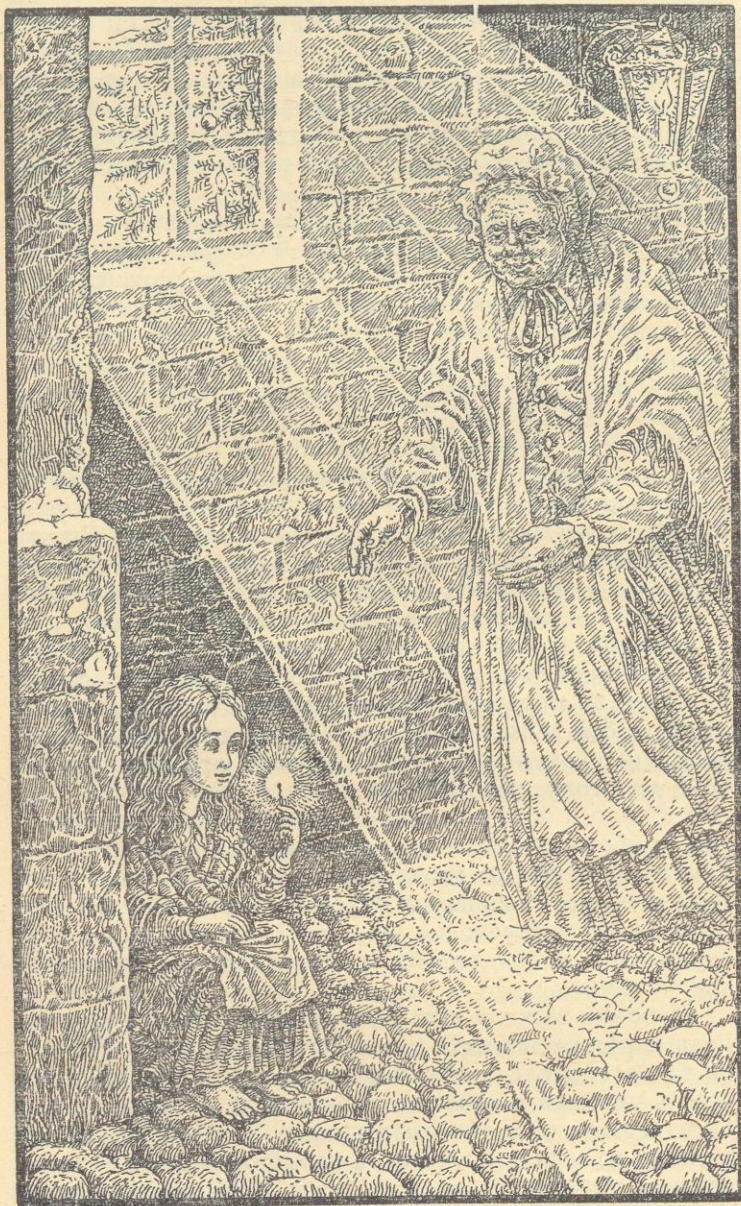
Наконец девочка нашла уголок за выступом дома. Тут она села и съезжилась, поджав под себя ножки. Но ей стало еще холоднее, а вернуться домой она не смела: ей ведь не удалось продать ни одной спички, она не выручила ни гроша, а она знала, что за это отец прибьет ее; к тому же, думала она, дома тоже холодно; они живут на чердаке, где гуляет ветер, хотя самые большие щели в стенах и заткнуты соломой и тряпками.

Ручонки ее совсем заоченели. Ах, как бы их согрел огонек маленькой спички! Если бы только она посмела вытащить спичку, чиркнуть ею о стену и согреть пальцы! Девочка робко вытянула одну спичку и... чирк! Как спичка вспыхнула, как ярко она загорелась! Девочка прикрыла ее рукой, и спичка стала гореть ровным светлым пламенем, точно крохотная свечка.

Удивительная свечка! Девочке почудилось, будто она сидит перед большой железной печью с блестящими медными шариками и заслонками. Как славно пылает в ней огонь, каким теплом от нее веет! Но что это? Девочка протянула было ноги к огню, чтобы согреть их, — и вдруг... пламя погасло, печка исчезла, а в руке у девочки осталась обгорелая спичка.

Она чиркнула еще одной спичкой, спичка загорелась, засветилась, и, когда ее отблеск упал на стену, стена стала прозрачной, как кисея. Девочка увидела перед собой комнату, а в ней стол, покрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором; на столе, распространяя чудесный аромат, стояло блюдо с жареным гусем, начиненным черносливом и яблоками. И всего чудеснее было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был, с вилкой и ножом в спине, вперевалку заковылял по полу. Он шел прямо к бедной девочке, но... спичка погасла, и перед бедняжкой снова встала непроницаемая, холодная, сырая стена.

Девочка зажгла еще одну спичку. Теперь она сидела перед роскошной рождественской елкой. Эта елка была гораздо выше и наряднее той, которую девочка увидела в сочельник, подойдя к дому одного богатого купца и заглянув в окно. Тысячи свечей горели на ее зеленых ветках, а разноцветные картинки, какими украшают витрины магазинов, смотрели на



девочку. Малютка протянула к ним руки, но... спичка погасла. Огоньки стали уходить все выше и выше и вскоре превратились в ясные звездочки. Одна из них покатила по небу, оставив за собой длинный огненный след.

«Кто-то умер», — подумала девочка, потому что ее недавно умершая старая бабушка, которая одна во всем мире любила ее, не раз говорила ей: «Когда падает звездочка, чья-душа отлетает к богу».

Девочка снова чиркнула о стену спичкой и, когда все вокруг осветилось, увидела в этом сиянии свою старенькую бабушку, такую тихую и просветленную, такую добрую и ласковую.

— Бабушка, — воскликнула девочка, — возьми, возьми меня к себе! Я знаю, что ты уйдешь, когда погаснет спичка, исчезнешь, как теплая печка, как вкусный жареный гусь и чудесная большая елка!

И она торопливо чиркнула всеми спичками, оставшимися в пачке, — вот как ей хотелось удержать бабушку. И спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днем. Бабушка при жизни никогда не была такой красивой, такой величавой. Она взяла девочку на руки, и, озаренные светом и радостью, обе они вознеслись высоко-высоко — туда, где нет ни голода, ни холода, ни страха...

Морозным утром за выступом дома нашли девочку: на щечках ее играл румянец, на губах — улыбка, но она была мертва; она замерзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило мертвое тельце девочки со спичками; она сожгла почти целую пачку.

— Девочка хотела погреться, — говорили люди.

И никто не знал, какие чудеса она видела, среди какой красоты они вместе с бабушкой встретили Новогоднее Счастье.

РЕБЯЧЬЯ БОЛТОВНЯ

У богатого купца был детский вечер; приглашены были все дети богатых и знатных родителей. Дела купца шли отлично; сам он был человек образованный, даже в свое время окончил гимназию. На этом

настоял его почтенный отец, который был сначала простым прасолом, но честным и трудолюбивым человеком и сумел составить себе капиталец, а сын еще приумножил его. Купец был человек умный и добрый, хоть люди говорили об этих качествах не так много, как о его богатстве.

Он вел знакомство и с аристократами крови, и с аристократами ума, как это говорится, а также с аристократами и крови и ума вместе, и, наконец, с теми, которые не могли похвалиться ни тем, ни другим аристократизмом.

Итак, у него в доме собралось большое общество, но исключительно детское, дети болтали без умолку; у них, как известно, что на уме, то и на языке. В числе детей была одна прелестная маленькая девочка, только ужасно спесивая. Спесь не вбили, а «вцеловали» в нее, и не родители, а слуги — родители были для этого слишком разумны. Отец малютки был камер-юнкером, и она знала, что это нечто «ужасно важное».

— Я камер-юнкерская дочка! — сказала она.

Она точно так же могла бы быть лавочничкой дочкой — и то и другое одинаково не во власти самого человека. И вот она рассказывала другим детям, что в ней течет «настоящая кровь», а в ком ее нет, из того ничего и не выйдет. Читай, старайся, учись сколько хочешь, но если в тебе нет настоящей крови, толку не выйдет.

— А уж из тех, чье имя кончается на «сен», — прибавила она, — никогда ничего не выйдет путного. Надо упереться руками в бока, да и держаться подалее от всех этих «сен, сен»!

И она уперлась прелестными ручонками в бока и выставила острые локотки, чтобы показать, как надо держаться. Славные у нее были ручонки, да и сама она была премиленькая!

Но дочка купца обиделась: фамилия ее отца была Мадсен, а она понимала, что эта фамилия тоже кончается на «сен», и вот она гордо закинула голову и сказала:

— Зато мой папа может купить леденцов на целых сто риксдалеров и разбросать их народу! А твой может?

— Ну, а мой папа, — сказала дочка писателя, — может и твоего папу, и твоего, и всех пап на свете пропечатать в газете! Все его боятся, говорит мама: ведь это он распоряжается газетой!

И девочка прегордо закинула голову — ни дать ни взять принцесса крови!

А за полуотворенною дверью стоял бедный мальчик и поглядывал на детей в щелочку; мальчуган не смел войти в комнату: куда было такому бедняку соваться к богатым и знатым детям! Он поворачивал на кухне для кухарки вертел, и теперь ему позволили поглядеть в щелку на разряженных, веселящихся детей, и это уж было для него огромным счастьем.

«Вот бы мне быть на их месте!» — думалось ему. Вдруг он услышал болтовню девочек, а слушая ее, можно было упасть духом. Ведь у родителей его не было в копилке ни гроша; у них не было средств даже выписать газету, а не то что самим издавать ее. Но хуже всего было то, что фамилия его отца, а значит, и его собственная, как раз кончалась на «сен»! Из него никогда не выйдет ничего путного! Вот горе-то! Но кровь в нем все-таки была самая настоящая, как ему казалось; иначе и быть не могло.

Так вот что произошло в тот вечер!

Прошло много лет, дети стали взрослыми людьми.

В том же городе стоял великолепный дом, полный сокровищ. Всем хотелось посетить его; для этого приезжали даже из других городов. Кто же из тех детей, о которых мы говорили, мог назвать этот дом своим? Ну, это легко угадать! Нет, не очень! Дом принадлежал тому бедному мальчугану, что стоял тогда за дверью. Из него все-таки вышло кое-что, хоть фамилия его и кончалась на «сен» — Торвальдсен.

А те три девочки? Дети кровной, денежной и умственной знати, из них что вышло? Да, все они друг друга стоили, все они были дети как дети! Из них вышли порядочные люди: задатки-то в них были хорошие. Мысли же и разговоры их в тот вечер были пустой ребячьей болтовней!

СКОРОХОДЫ

Был назначен приз, даже два, один большой, другой маленький, за быстроту бега в течение целого года.

— Я получил первый приз! — сказал заяц. — Если судьи — твои близкие друзья и родные, то решение их всегда справедливо!.. Но присудить второй приз улитке? Мне это даже обидно!

— Надо же принимать во внимание и усердие и добрую волю, как справедливо рассудили высокоуважаемые судьи, и я вполне разделяю их мнение! — заметил заборный столб, бывший свидетелем присуждения призов. — Улитке, правда, понадобилось полгода, чтобы переползти через порог, но все-таки она очень спешила и даже сломала себе второпах бедренную кость! Она душой и телом отдавалась своему делу, да еще таскала при этом на спине свой дом! Такое усердие достойно всяческого поощрения, вот она и получила второй приз.

— Могли бы, кажется, и на меня обратить внимание! — сказала ласточка. — Быстрее меня на лету, смею думать, никого нет! И где только я не побывала! Везде, везде!

— То-то вот и горе ваше, — сказал столб. — Уж больно много вы рыскаете! Вечно рветесь в чужие края, чуть здесь холодком пахнет. Вы не патриотка! Нечего на вас и внимание обращать.

— А если бы я проспала всю зиму в болоте, тогда на меня обратили бы внимание? — спросила ласточка.

— Принесите удостоверение от самой болотницы, что проспала на родине хоть полгода, и на вас сейчас же обратят внимание!

— Я-то заслуживала первого приза, а не второго! — заметила улитка. — Я ведь знаю, что заяц бегаёт, только когда думает, что за ним гонятся, — из трусости! А я смотрю на движение как на свою жизненную задачу и пострадала на службе! Да уж если кому следовало присудить первый приз, так это мне! Но я не люблю кричать о себе! Я это презираю!

И она плюнула.

— Я могу всех заверить, что каждый приз — по крайней мере, с моей стороны — присужден справед-

ливо! — заявила межевая вежа, одна из судей. — Я вообще держусь порядка, меры, расчета. Я уже восьмой раз имею честь участвовать в присуждении призов, но только на этот раз поставила на своем. Дело в том, что я всегда присуждаю призы по алфавиту: для первого приза беру букву с начала, для второго с конца. Потрудитесь теперь обратить внимание на мой счет: восьмая буква с начала «з», я и подала голос за зайца, а шестнадцатая, то есть дважды восьмая, с конца — «у», и вот я присудила второй приз улитке. В следующий раз первый приз назначу букве «и», а второй — букве «с». Главное — это порядок, всегда и во всем! Иначе не на что и опереться.

— Не будь я сам в числе судей, я бы подал голос за себя! — сказал осел. — Надо учитывать не одну быстроту, но и другие вещи, например груз. На этот раз я, впрочем, не хотел упираться на это обстоятельство, как и на ум зайца или на ловкость, с какою он путает свои следы, спасаясь от погони. Нет, но есть еще одно обстоятельство, на которое принято обращать внимание и которое никоим образом нельзя упускать из виду, — это красота. Я взглянул на прелестные, хорошо отросшие уши зайца — а на них, право, залюбуешься, — и мне показалось, что я вижу самого себя в детском возрасте! Я и подал голос за зайца!

— Дз-з! — зажужжала муха. — Я не собираюсь держать речь, а хочу только сказать несколько слов. Я-то уж попроворнее любого зайца, это мне ясно! Недавно я даже раздробила одному зайчишке заднюю ногу! Я сидела на паровозе, это мое излюбленное местечко, таким образом лучше всего следить за собственной быстротой. Заяц долго бежал впереди поезда: он и не подозревал моего присутствия! Наконец ему пришлось свернуть в сторону: тут-то паровоз и переехал ему заднюю ногу — я ведь сидела на нем. Заяц остался на месте, а я помчалась дальше. Кто же победил? Полагаю — я! Но я не нуждаюсь в призе!

«А по-моему, — подумала дикая роза, вслух она ничего не сказала: это было не в ее характере, хотя и лучше было бы, если бы она высказалась, — по-моему, и первого и второго приза заслуживал солнечный луч! Он в одно мгновение пробегает бесконечное пространство, отделяющее землю от солнца, и пробуждает от сна всю природу. Поцелуи его дарят кра-

соту — мы, розы, алеем и благоухаем от них! А высокие судьи, кажется, совсем и не заметили его! Будь я лучом, я бы отплатила им солнечным ударом... нет, это бы отняло у них последний ум, а они и без того им небогаты! Лучше промолчу! В лесу мир и тишина! Как хорошо цвести, благоухать, упиваться светом и росой и быть воспетой в сказаниях и песнях! Но солнечный луч переживет нас всех!»

— А какой первый приз?— спросил дождевой червяк; он все проспал и сейчас только явился на сходку.

— Свободный вход в огород с капустой!— ответил осел.— Я сам назначил призы! Первый приз должен был получить заяц,— я, как мыслящий и деятельный член комиссии, и обратил надлежащее внимание на потребности и нужды зайца. Теперь он обеспечен. А улитке мы предоставили право сидеть на придорожном камне и греться на солнышке да лизать мох. Кроме того, она избрана в главные члены нашей комиссии — как это принято называть у людей. Комиссии ведь вообще нуждаются в специалистах! И, скажу прямо, судя по такому прекрасному началу, от нашей комиссии можно ожидать многого!

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ

Жил-был принц, и захотелось ему жениться на принцессе, но только на самой настоящей принцессе. Он объездил весь свет, чтобы найти себе невесту, да так и не нашел. Принцесс было сколько угодно, но он никак не мог узнать, настоящие они или нет. Всем им чего-нибудь не хватало. И вот принц вернулся домой огорченный,— очень уж ему хотелось найти настоящую принцессу.

Однажды вечером разыгралась непогода: гремел гром, сверкала молния, дождь лил как из ведра.

Вдруг кто-то постучался в городские ворота, и старый король пошел отпирать.

За воротами стояла принцесса. Но, боже, в каком она была виде! Потoki дождевой воды стекали по ее волосам и платью на носки туфель и вытекали из-под



каблуков. И она еще уверяла, что она настоящая принцесса!

«Ну, это уж мы проверим», — подумала старая королева, но ничего не сказала и пошла в спальню. Там она сбросила с кровати одеяло и простыни и на голые доски положила горошину, потом прикрыла эту горошину двенадцатью тюфяками, а поверх тюфяков набросала еще двенадцать перинок из гагачьего пуха.

На эту кровать уложили принцессу, и там она пролежала всю ночь.

Утром ее спросили, как она почивала.

— Ах, очень плохо! — ответила принцесса. — Я почти всю ночь напролет глаз не смыкала. Один бог знает, что такое попало ко мне в постель. Я лежала на чем-то твердом, и теперь у меня все тело в синяках. Это просто ужасно!

Тут все поняли, что это настоящая принцесса, ведь она лежала на двенадцати тюфяках и двенадцати перинах, а все-таки чувствовала горошину. Столь чувствительной могла быть только настоящая принцесса.

Тогда принц женился на ней, — наконец-то он не сомневался, что нашел настоящую принцессу. А горошина попала в музей, где и лежит до сих пор, если только никто ее не украл.

Знай, это истинная история!

САДОВНИК И ГОСПОДА

Примерно в миле от столицы, посреди старинной усадьбы, стоял красивый барский дом с массивными стенами, башенками, фронтонами. В этом доме жили муж и жена — богатые и знатные дворяне. Они, правда, приезжали сюда только летом, но это было самое любимое их поместье. Дом был красив снаружи, удобен и уютен внутри. Высеченный из камня родовой герб хозяев украшал парадный подъезд. Прекрасные розы обвивали этот герб и поднимались вверх по стене, а перед домом расстилался густой ковер зелени. Рядом с белым и красным боярышником

здесь красовались редкостные цветы, которые цвели не только в оранжерее, но и под открытым небом.

Недаром у хозяев усадьбы служил хороший садовник. Цветник, фруктовый сад, огород — все это было делом его рук и радовало глаз. За огородом еще сохранялись остатки старого сада, заросшего кустами букса, которые были подстрижены в виде шаров и пирамид. А дальше высились два огромных старых дерева, почти совсем высохших. Издали казалось, что внезапный порыв урагана сверху донизу облепил их голые сучья густыми комьями навоза. На самом деле это был не навоз, а птичьи гнезда.

В этих гнездах с незапамятных времен жили крикливые стаи ворон и грачей, которые устроили тут настоящий птичий городок и безраздельно царили в усадьбе. Они ведь были первыми поселенцами в здешних краях, исконными владельцами поместья, его подлинными хозяевами. Двуногих обитателей усадьбы они просто презирали, хоть и мирились волей-неволей с существованием столь низменных созданий. А те иной раз палили в птиц из ружей, и тогда стаи взъерошенных перепуганных ворон и грачей взлетали с криком: «Карр! Карр!»

Садовник не раз говорил господам, что надо бы срубить эти деревья, — они портят вид сада; а как только их не станет, улетят и крикливые птицы. Но господа и слышать не хотели о том, чтобы лишиться деревьев и птичьего гомона. В старых деревьях и в карканье птиц они видели особую прелесть — печать старины, которую хотели сохранить во что бы то ни стало.

— Деревья перешли к птицам по наследству от предков, так пусть же птицы и владеют ими, добрейший Ларсен! — говорили хозяева.

(Ларсеном звали садовника, но для нашей истории это не имеет значения.)

— Разве вам мало места, добрейший Ларсен? В вашем распоряжении цветники и теплицы, фруктовый сад и огород.

Садовник действительно мог распоряжаться цветниками, теплицами, садом и огородом, и он ухаживал за ними, возделывал и пестовал их с усердием и любовью. Господа были этим очень довольны, но не скрывали от садовника, что в других домах их часто

угощают такими фруктами и показывают им такие цветы, до которых далеко их собственным цветам и фруктам. Эти слова огорчали садовника, потому что он всем сердцем желал, чтобы сад у его господ был лучший в мире, и ради этого трудился не покладая рук. Руки у него были умелые, а сердце доброе.

Однажды господа пригласили к себе садовника и сказали ему ласково и снисходительно, как и подобает господам, что вчера они были в гостях у своих знатных друзей и те угостили их яблоками и грушами, да такими сочными, такими ароматными, что сами они, хозяйева Ларсена, и все остальные гости пришли в восхищение. Господа не сомневаются, что те фрукты привезены из-за границы, но отчего же Ларсену не попытаться вырастить такие же в их усадьбе, если только нежные плоды могут приспособиться к местному климату? По слухам, яблоки и груши, которые они ели в гостях, были куплены в городе у самого крупного торговца фруктами; к нему-то господа и послали садовника, чтобы разузнать, из какой страны прибыли эти плоды, и выписать оттуда черенки.

Садовник хорошо знал этого торговца, так как по приказу господ продавал ему излишки фруктов из хозяйского сада.

И вот он поехал в город и спросил у торговца, откуда тот получил хваленые яблоки и груши.

— Из вашего собственного сада! — ответил торговец и показал Ларсену яблоки и груши, которые тот сразу узнал.

Ну и обрадовался садовник! Он поспешил к своим господам и сказал, что яблоки и груши, которые они ели в гостях, — из их собственного сада.

Господа ушам своим не верили.

— Быть не может, Ларсен! — говорили они. — Если вы хотите убедить нас, что это правда, принесите расписку торговца фруктами.

И Ларсен принес ее господам.

— Удивительно! — воскликнули они.

Теперь каждый день к господскому столу подавали большие вазы с чудесными яблоками и грушами из их собственного сада. Целыми корзинами рассылались эти фрукты друзьям по соседству, в другие города и даже за границу. Господам это было очень

приятно. Однако они никогда не упускали случая напомнить садовнику, что последние две осени погода особенно благоприятствовала фруктовым садам и у всех садоводов был хороший урожай.

Прошло немного времени. Однажды господа были приглашены на обед во дворец. На следующий день они вызвали к себе садовника и рассказали ему, что к королевскому столу подавали необыкновенно сочные и сладкие дыни из собственных королевских теплиц.

— Подите к придворному садовнику, любезный Ларсен, и попросите его дать вам семена этих необыкновенных дынь, хоть немножко.

— Но ведь королевский садовник сам получил от меня эти семена! — радостно воскликнул Ларсен.

— Если так, значит, он сумел вырастить из них превосходные дыни, — заявили господа, — дыни, поданные к столу, были одна другой лучше!

— Выходит, что гордиться надо мне, — сказал Ларсен. — В нынешнем году у королевского садовника дыни не удалась; и вот он увидел, какие чудесные дыни растут в саду вашей милости, отведал их и заказал несколько штук для королевского стола.

— Уж не воображаете ли вы, Ларсен, что за королевским столом подавались дыни из нашего сада?

— Ничуть в этом не сомневаюсь, — ответил Ларсен.

Он пошел к королевскому садовнику и получил у него свидетельство, в котором было сказано, что дыни, подававшиеся за обедом в королевском замке, были доставлены из сада, принадлежащего господам Ларсена.

Господа были поражены. Они рассказывали об этом случае всем и каждому и всякий раз показывали свидетельство королевского садовника. А семена дынь, как прежде черенки яблонь и груш, они стали рассылать во многие страны.

Тем временем из разных мест приходили вести, что посланные черенки привились, яблони и груши приносят отменные плоды, которые названы по имени родовой господской усадьбы. Название усадьбы писали теперь на английском, немецком и французском языках.

Можно ли было мечтать об этом раньше?

— Лишь бы только садовник не возомнил о себе невесту что,— встревожились господа.

Но Ларсен думал совсем о другом: он стремился к тому, чтобы сохранить за собой славу одного из лучших садовников в стране и каждый год создавать какой-нибудь новый отличный сорт плодов или овощей. И он создавал их, но в благодарность за его труды ему часто приходилось слышать, что первые его прославившиеся фрукты — яблоки и груши — были все-таки самыми лучшими, а все остальные уже не могли с ними сравниться. Дыни, правда, очень вкусны, но все же далеко не так, как яблоки и груши. Клубника тоже отличная, но не лучше той, которую подают у других господ. А когда однажды у садовника не уродилась редиска, то господа только и говорили, что о неудачной редиске, словно позабыв обо всех других овощах и фруктах своего сада.

Можно было подумать, что господа испытывают удовольствие, говоря: «В этом году у вас все уродилось плохо, добрейший Ларсен!» Они были просто счастливы, твердя: «Плохо все у вас уродилось нынче!»

Несколько раз в неделю садовник приносил в комнаты свежие букеты, подобранные с удивительно тонким вкусом; в этих букетах каждый цветок, сочетаясь с другими цветами, становился как будто еще прекраснее.

— У вас хороший вкус, Ларсен,— говорили господа.— Но не забудьте, что этим даром вы обязаны не самому себе, а господу богу.

Однажды садовник принес господам большую хрустальную вазу, в которой плавал лист кувшинки, а на этом листе, опустив в воду длинный плотный стебель, покоился ярко-голубой цветок величиной с подсолнечник.

— Индийский лотос!— воскликнули господа.

В жизни они не видывали подобного цветка. Они приказали днем выставлять его на солнце, а вечером освещать искусственным светом. И каждый, кто видел этот цветок, приходил в восторг, называя его чудом.

Так назвала его даже знатнейшая дама королевства — молодая принцесса. Она была умная и добрая девушка.

Господа сочли для себя честью преподнести принцессе голубой цветок, и она взяла его с собой во дворец. А они спустились в сад посмотреть, нет ли там другого такого же цветка, но не нашли того, что хотели. Тогда они позвали садовника и спросили, где он достал голубой лотос.

— Мы искали, но не нашли таких цветов ни в оранжерее, ни на клумбах в саду,— сказали они.

— Там их и нет,— улыбнулся садовник.— Этот скромный цветок растет на грядках в огороде. Но, правда, он необыкновенно красив! Он похож на голубой кактус, а на самом деле это всего лишь цветок артишока.

— Как же вы не сказали нам этого раньше?— возмутились господа.— Мы думали, что это редкий заморский цветок! Вы осрамили нас перед принцессой! Она пришла в восторг, как только взглянула на цветок, и сказала, что никогда не видела такого растения,— а ведь она прекрасно разбирается в ботанике. Но теперь понятно, почему она его не узнала: науке нечего делать в огороде. И как вам могло прийти в голову, милейший Ларсен, принести в комнаты подобный цветок? Теперь над нами будут потешаться!

И прекрасный голубой цветок, сорванный на грядке, был изгнан из господских покоев, где он оказался не к месту. А господа отправились к принцессе извиниться и объяснить, что цветок был обыкновенным огородным растением, которое садовник вздумал поставить в вазу, за что и получил строгий выговор.

— Это грешно и несправедливо!— укоризненно проговорила принцесса.— Он открыл для нас цветок, о котором мы ничего не знали, показал нам красоту там, где мы и не думали ее искать! Пока артишоки в цвету, я прикажу придворному садовнику каждый день ставить их в вазу в моей комнате.

Так она и сделала.

Тогда господа объявили садовнику, что он снова может поставить в вазу свежий цветок артишока.

— В сущности, цветок и в самом деле красив,— сказали они.— Да, красив, как это ни странно!— И они даже похвалили садовника.

— Он любит, когда его хвалят,— говорили господа.— Он у нас — балованное дитя!

Как-то раз осенью поднялась буря. К ночи она так разбушевалась, что вырвала с корнем несколько могучих деревьев на опушке леса. И к большому горю господ (они так и говорили, что это горе!), но и к великой радости садовника она повалила оба высоких дерева с птичьими гнездами. Слуги потом рассказывали, что к завыванию бури примешивались крики грачей и ворон, которые бились крыльями в оконные стекла.

— Ну, теперь вы, наверное, рады, Ларсен, — сказали господа. — Буря сломала деревья, и птицы улетели в лес. Ничто здесь больше не напоминает о старине; от нее не осталось и следа. Нас это глубоко огорчает!

Садовник ничего не ответил господам. Он молча лелеял мечту о том, как он возделает теперь прекрасный солнечный участок земли, к которому прежде не смели прикоснуться, и превратит его в украшение всего сада на радость своим господам.

Вырванные бурей деревья, падая, смяли и поломали старые буксовые кусты, и садовник посадил на их месте простые полевые и лесные растения родной земли.

Ни один садовник, кроме Ларсена, не решился бы посадить в господском саду подобные растения. А Ларсен каждому отвел подходящий для него участок — на солнце или в тени, — как кому было нужно. Землю он возделал с любовью, и земля щедро отблагодарила его.

Здесь поднялся уроженец шотландских пустошей — можжевельник, похожий цветом и очертаниями на итальянский кипарис. Расцвел блестящий колючий терновник, одетый зеленью и зимой и летом. А кругом пышно разросся папоротник разных видов, напоминавший то миниатюрные пальмы, то казавшийся предком нежного прекрасного растения, которое мы называем «венерины волосы». Здесь цвел и репейник, который люди обычно презирают, но напроголо, потому что его свежие цветы могут служить украшением любого букета. Репейник рос на сухой почве, а ниже, на более влажном месте, зеленел лопух, тоже презираемое всеми растение, хотя его крупные, мощные листья придают ему своеобразную красоту. Королевская свеча — полевое растение

с высоким стеблем и яркими цветами — тянулась ввысь, похожая на огромный многосвечный канделябр. Цвели здесь также ясенник, первоцвет, лесной ландыш, белокрыльник и нежная трехлистная кислица. Любо-дорого было смотреть на всю эту красоту!

А впереди всех, у самой провололочной ограды, расположился ряд карликовых грушевых деревьев, привезенных из Франции. Погода стояла солнечная, уход за ними был заботливый, и они вскоре стали приносить крупные, сочные плоды — такие же, как и у себя на родине.

На месте двух старых засохших деревьев садовник водрузил два длинных шеста: один из них был увенчан Даннеброгом — датским флагом, а другой шест летом и осенью был обвит душистыми побегами хмеля; зимой же к нему подвешивали кормушку, чтобы птицам небесным было чем поживиться на рождество.

— Наш Ларсен становится сентиментальным на старости лет, — пожимали плечами господа, — но он служит нам преданно и честно.

В новогоднем номере одного столичного иллюстрированного журнала появилась гравюра, изображавшая старое поместье. На ней виден был и Даннеброг и кормушка с рождественским угощением для птиц, а подпись гласила: «Какая это прекрасная мысль — возродить давний обычай, столь характерный для подобной старинной усадьбы!»

— Что бы наш Ларсен ни придумал, об этом сейчас же раззвонят по всему свету! — удивлялись господа. — Прямо счастливеец какой-то! Право, нам, чего доброго, придется еще гордиться тем, что он служит у нас.

Но они, разумеется, и не думали этим гордиться, ибо никогда не забывали, что они знатные господа, а значит — могут в любую минуту прогнать Ларсена, если им вздумается. Но они его не прогоняли, — это были добрые люди, а таких добрых людей на белом свете очень много, к счастью для разных там Ларсенов.

Вот и вся история о садовнике и господах. Поразмысли-ка о ней на досуге.

НАВОЗНЫЙ ЖУК

Лошадь императора удостоилась золотых подков, по одной на каждую ногу.

За что?

Она была чудо как красива: с тонкими ногами, умными глазами и шелковистой гривой, ниспадающей на ее шею длинною мантией. Она носила своего господина в пороховом дыму, под градом пуль, слышала их свист и жужжание и сама отбивалась от наступавших неприятелей. Защищаясь от них, она одним прыжком перескочила со своим всадником через упавшую лошадь врага и тем спасла золотую корону императора и саму жизнь его, что подороже золотой короны. Вот за что она и удостоилась золотых подков, по одной на каждую ногу.

А навозный жук тут как тут.

— Сперва великие мира сего, потом уж малые! — сказал он. — Хотя и не в величине, собственно, тут дело! — И он протянул свои тощие ножки.

— Что тебе? — спросил кузнец.

— Золотые подковы! — ответил жук.

— Ты, видно, не в своем уме! — сказал кузнец. — И ты золотых подков захотел?

— Да! — ответил жук. — Чем я хуже этой огромной скотины, за которою еще надо ухаживать? Чисть ее, корми да пои! Разве я не из императорской конюшни?

— Да вдомек ли тебе, за что лошади дают золотые подковы? — спросил кузнец.

— Вдомек? Мне вдомек, что меня хотят оскорбить! — сказал навозный жук. — Это прямая обида мне! Я не стерплю, уйду куда глаза глядят!

— Проваливай! — сказал кузнец.

— Невежа! — ответил навозный жук, выполз из конюшни, отлетел немножко и очутился в красивом цветнике, где благоухали розы и лаванда.

— Правда ведь, здесь чудо как хорошо? — спросила жука жесткокрылая божья коровка, красная и в черных крапинках. — Как тут сладко пахнет, как все красиво!

— Ну, я привык к лучшему! — ответил навозный жук. — По-вашему, тут прекрасно? Даже ни одной навозной кучи!..

И он отправился дальше, под сень большого левкоя. По стеблю ползла гусеница.

— Как хорош божий мир! — сказала она. — Солнышко греет! Как весело, приятно! А после того как я наконец засну, или умру, как это говорится, я пронусь уже бабочкой!

— Да, да, воображай! — сказал навозный жук. — Так вот мы и полетим бабочками! Я из императорской конюшни, но и там никто, даже любимая лошадь императора, которая донашивает теперь мои золотые подковы, не воображает себе ничего такого. Получить крылья, полететь?! Да, вот мы так сейчас улетим! — И он улетел. Не хотелось бы сердиться, да поневоле рассердился!

Он бухнулся на большую лужайку, полежал-полежал, да и заснул.

Батюшки мои, какой припустил дождь! Навозный жук проснулся от этого шума и хотел было поскорее уползти в землю, да не тут-то было. Он барахтался, барахтался, пробовал уплыть и на спине, и на брюшке — улететь нечего было и думать, но все напрасно. Нет, право, он не выберется отсюда живым! Он и остался лежать, где лежал.

Дождь приостановился немножко; жук смахнул воду с глаз и увидел невдалеке что-то белое: это был холст, что разложили белить. Жук добрался до него и заполз в складку мокрого холста. Конечно, это было не то, что зарыться в теплый навоз в конюшне, но лучшего ничего здесь не представлялось, и он остался тут на весь день и на всю ночь, — дождь все лил. Утром навозный жук выполз; ужасно он сердит был на климат.

На холсте сидели две лягушки, глаза их так и блестели от удовольствия.

— Славная погодка! — сказала одна. — Какая свежесть! Этот холст чудесно задерживает воду! У меня даже задние лапки зачесались: так бы вот и поплыла!

— Хотела бы я знать, — сказала другая, — нашла ли где-нибудь ласточка, что летает так далеко, лучший климат, чем у нас? Этакие дожди, сырость — чудо! Право, словно сидишь в сырой канаве! Кто не радуется такой погоде, тот не сын своего отечества!

— Вы, значит, не бывали в императорской конюшне?— спросил их навозный жук.— Там и сыро, и тепло, и пахнет чудесно! Вот к чему я привык! Там климат по мне; да его не возьмешь с собою в дорогу! Нет ли здесь, в саду, хоть парника, где бы знатные особы, вроде меня, могли найти уют и чувствовать себя как дома?

Но лягушки не поняли его или не хотели понять.

— Я никогда не спрашиваю два раза!— заявил навозный жук, повторив свой вопрос три раза и все-таки не добившись ответа.

Жук отправился дальше и наткнулся на черепок от горшка. Ему не следовало бы лежать тут, но раз он лежал, под ним можно было найти уют. Под ним жило несколько семейств ухверток. Им простора не требовалось — было бы общество. Ухвертки необыкновенно нежные матери, и у них поэтому каждый малютка был чудом ума и красоты.

— Наш сынок помолвлен!— сказала одна мамаша.— Милая невинность! Его заветнейшая мечта — заползти в ухо к священнику. Он совсем еще дитя; помолвка удержит его от сумасбродств. Ах, какая это радость для матери!

— А наш сын,— сказала другая,— едва вылутился, а уж сейчас за шалости! Такой живчик! Ну, да надо же молодежи перебеситься! Дети — большая радость для матери! Не правда ли, господин навозный жук?— Они узнали пришельца по фигуре.

— Вы обе правы!— сказал жук, и ухвертки пригласили его проползти к ним, если только он мог подлезть под черепок.

— Надо вам взглянуть и на моих малюток!— сказала третья, а потом и четвертая мамаша.— Ах, это милейшие малютки и такие забавные! Они всегда ведут себя хорошо, если только у них не болит животик, а от этого в их возрасте не уберешься!

И каждая мамаша рассказывала о своих детках; детки тоже вмешивались в разговор и пускали в ход свои клещи на хвостиках — дергали ими навозного жука за усы.

— Чего только не выдумают эти шалунишки!— сказали мамы, потев от умиления; но все уже надоело навозному жуку, и он спросил, далеко ли еще до парника.

— О, далеко, далеко! Он по ту сторону канавы!— сказали в один голос ухвертки.— Надеюсь, что ни один из моих детей не вздумает отправиться в такую даль, а то я умру!

— Ну, я попробую добраться туда!— сказал навозный жук и ушел не прощаясь — это самый высший тон.

У канавы он встретил своих сродников, таких же навозных жуков.

— А мы тут живем!— сказали они.— У нас уютно! Милости просим в наше злачное местечко! Вы, верно, утомились в пути?

— Да!— ответил жук.— Пока дождь лил, я все лежал на холсте, а такая чистота хоть кого уходит, не то что меня. Пришлось и на сквозняке постоять под глиняным черепком, ну и схватил ревматизм в надкрылье! Хорошо, наконец, очутился среди своих!

— Вы, может быть, из парника?— спросил старший из навозных жуков.

— Подымай выше!— сказал жук.— Я из императорской конюшни; там я родился с золотыми подковами на ногах. И путешествую я по секретному поручению. Но вы не спрашивайте меня, я все равно ничего не скажу.

И навозный жук уполз вместе с ними в жирную грязь. Там сидели три молодые барышни их же породы и хихикали, не зная, что сказать.

— Они еще не просватаны!— сказала мать, и те опять захихикали, на этот раз от смущения.

— Прекраснее барышень я не встречал даже в императорской конюшне!— сказал жук-путешественник.

— Ах, не испортийте мне моих дочек! И не заговаривайте с ними, если у вас нет серьезных намерений!.. Впрочем, они у вас, конечно, есть, и я даю вам свое благословение!

— Ура!— закричали остальные, и жук стал жеманничать. За помолвку последовала и свадьба — зачем откладывать?

Следующий день прошел хорошо, второй — так себе, а на третий уже приходилось подумать о пропитании жены, а может быть, и деток.

«Вот-то поддели меня!— сказал он себе.— Но и я ж их поддену!»

Так и сделал — ушел. День нет его, ночь нет его — жена осталась вдовою. Другие навозные жуки объявили, что приняли в семью настоящего бродягу. Еще бы! Жена его теперь осталась у них на шею!

— Так пусть она опять считается барышней!— сказала мамаша.— Пусть живет у меня по-прежнему. Плюнем на этого негодяя, что бросил ее!

А он переплыл канаву на капустном листе. Утром явились двое людей, увидели жука, взяли его и приняли за вертеть в руках. Оба были страсть какие ученые, особенно младший.

— «Аллах видит черного жука на черном камне черной скалы» — так ведь говорится в Коране?— спросил он и, назвав навозного жука по-латыни, сказал, к какому классу насекомых он принадлежит.

Старший ученый не советовал младшему брать жука с собою домой — не стоило, у них уже имелись такие же хорошие экземпляры. Жуку такая речь показалась невежливою, он взял да и вылетел из рук ученых. Теперь крылья у него высохли и он мог отлететь довольно далеко, долетел до самой теплицы и очень удобно проскользнул в нее, — одно окно стояло открытым. Забравшись туда, жук поспешил зарыться в свежий навоз.

— Ах, как славно!— сказал он.

Скоро он заснул и увидел во сне, что лошадь императора пала, а сам господин навозный жук получил ее золотые подковы, причем ему пообещали дать и еще две. То-то было приятно! Проснувшись, жук выполз и огляделся. Какая роскошь! Огромные пальмы веерами раскинули в вышине свои листья, сквозь которые просвечивало солнце; внизу же всюду зеленела травка, пестрели цветы: огненно-красные, янтарно-желтые и белые, как свежевывающий снег.

— Бесподобная растительность! То-то будет вкусно, когда все это сгниет!— сказал навозный жук.— Знатная кладовая! Здесь, верно, живет кто-нибудь из моих родственников. Надо отправиться на поиски, найти кого-нибудь, с кем можно свести знакомство. Я ведь горд и горжусь этим!— И жук пополз, думая о своем сне, о павшей лошади и о золотых подковах.

Вдруг его схватила чья-то рука, стиснула, принялась вертеть и поворачивать...

В теплицу пришел сынишка садовника с товарищем; они увидели навозного жука и вздумали позабавиться с ним. Жука завернули в виноградный листок и положили в теплый карман панталон. Он было принялся там вертеться, карабкаться, но мальчик притиснул его рукою и побежал вместе с товарищем в конец сада, к большому пруду. Там они посадили жука в старый сломанный деревянный башмак, укрепили в середине его щепочку вместо мачты, привязали к нему жука шерстинкой и спустили башмак на воду. Теперь жук попал в шкиперы и должен был отправиться в плавание.

Пруд был большой-пребольшой; навозному жуку казалось, что он плывет по океану, и это до того его поразило, что он упал навзничь и задрыгал ножками.

Башмак отнесло от берега течением, но как только он отплыл чуть подальше, один из мальчуганов засучивал штанишки, шлепал по воде и притягивал его обратно. Но вот башмак отплыл опять, и как раз в эту минуту мальчуганов так настойчиво позвали домой, что они впопыхах забыли и думать о башмаке. Башмак же уносило все дальше и дальше. Какой ужас! Улететь жук не мог — он был привязан к мачте.

В гости к нему прилетела муха.

— Какая славная погода!— сказала она.— У вас тут можно отдохнуть, погреться на солнышке! Вам тут очень хорошо.

— Болтаете, сами не знаете что! Не видите, что ли, я привязан?

— А я нет!— сказала муха и улетела.

— Вот когда я узнал свет!— сказал навозный жук.— Как он низок! Только я один порядочный! Сначала мне не дают золотых подков, потом мне приходится лежать на мокром холсте, стоять на сквозняке, и, наконец, мне навязывают жену! Едва я делаю смелый шаг в свет, осматриваюсь и приглядываюсь, является мальчишка и пускает меня, связанного, в бурное море! А лошадь императора щеголяет себе в золотых подковах! Вот что меня больше всего мучит. Но на этом свете справедливости не жди! История моя очень поучительна, а что толку,

если ее никто не знает! Да свет и недостоин знать ее, иначе он дал бы золотые подковы мне, когда лошадь императора протянула за ними ноги. Получи я золотые подковы, я бы стал украшением конюшни, а теперь я погиб для всех, свет лишился меня, и всему конец!

Но конец всему, видно, еще не наступил: на пруду появилась лодка, а в ней сидели несколько молодых девушек.

— Вот плывет деревянный башмак!— сказала одна.

— И бедный жук привязан крепко-накрепко!— сказала другая.

Они поравнялись с башмаком, поймали его, одна из девушек достала ножницы и осторожно обрехала шерстинку, не причинив жуку ни малейшего вреда. Выйдя же на берег, она посадила его на траву.

— Ползи, ползи, лети, лети, коли можешь!— сказала она ему.— Свобода — великое благо!

И навозный жук полетел прямо в открытое окно какого-то большого строения, а там устало опустился на тонкую, мягкую, длинную гриву любимой лошади императора, стоявшей в конюшне, родной конюшне жука. Жук крепко вцепился в гриву лошади, стараясь отдышаться и прийти в себя.

— Ну вот я и сижу на любимой лошади императора, как всадник! Что я говорю?! Теперь мне все ясно! Вот это мысль! И верная! «За что лошадь удостоилась золотых подков?»— спросил меня тогда кузнец. Теперь-то я понимаю! Она удостоилась их из-за меня!

И жук опять повеселел.

— Путешествие проясняет мысли!— сказал он. Солнышко светило прямо на него и светило так ярко!— Мир, в сущности, не так-то уж дурен!— продолжал рассуждать навозный жук.— Надо только уметь за себя постоять!

Да и как не быть свету хорошим, если любимая лошадь императора удостоилась золотых подков из-за того только, что на ней ездил верхом навозный жук?..

— Теперь я поползу к другим жукам и расскажу, что для меня сделали! Расскажу и обо всех прелестях

заграничного путешествия и скажу, что отныне буду сидеть дома, пока лошадь не износит своих золотых подков.

БЛОХА И ПРОФЕССОР

В одном большом городе (название его тут ни при чем) жил воздухоплаватель. Однажды с ним случилась неприятная история: шар его лопнул, сам он упал с большой высоты на землю и разбился насмерть. За две минуты перед тем он спустил своего сына вниз на парашюте, и это, разумеется, было для мальчика большим счастьем: он остался цел и невредим. От отца он приобрел большие познания по части воздухоплавания и мог бы в свою очередь сделаться воздухоплавателем; но у него не было ни шара, ни средств, чтобы построить себе новый.

Однако жить надо было. Поэтому он стал учиться разным фокусам, требующим ловкости рук, и между прочим выучился даже говорить животом — искусство, известное под названием чревовещание. Он был молод, красивой наружности, а когда он отпустил себе усики да нарядился в хорошее платье, то был ничем не хуже любого графского сына. Дамы находили его красавцем, а одна барышня до того увлеклась его красотой и фокусами, что последовала за ним в чужую страну. Там он называл себя профессором; другого титула, впрочем, он дать себе не мог, потому что так называли себя все его коллеги.

Мечтой его жизни было устроить себе шар и подняться на нем вместе с женой, но нужных для этого денег они все еще не могли скопить.

— Когда-нибудь они у нас будут!— говорил он.

— Не верится что-то!— возражала она.

— Дай срок, мы еще молоды, а ведь я уже профессор. Крошки — тот же хлеб.

Жена усердно помогала ему. Она сидела у дверей и продавала билеты на его представления, что зимою, конечно, не особенно было приятно. Она также принимала участие в фокусах мужа. Он сажал ее в шкаф с двойной задней стенкой и потом запирали его. Она в это время незаметно уходила за другую стенку, так что, когда он снова открывал шкаф, ее там не оказы-

валось. Это было поразительно, но волшебства, как видите, тут не было никакого.

Однако в один прекрасный вечер, когда он открыл заднюю половину шкафа, он не нашел там жены; ее не было ни в переднем, ни в заднем ящике, ее не было в целом доме. Это был ее собственный фокус. Так она никогда к нему и не возвратилась; ей надоел этот образ жизни, да и мужу также. Он утратил после этого свою прежнюю веселость, не мог по-прежнему улыбаться и острить, и потому публика вскоре перестала ходить на его представления. Выручка стала ничтожная, платье на нем пообносилось, а заменить его новым не было средств. Под конец все его имущество заключалось лишь в одной блохе, которая осталась у него в виде наследства от жены и которую он поэтому очень любил. Положение его было отчаянное, и он вздумал выдрессировать эту блоху. Он научил ее некоторым штукам: делать ружьем на караул и стрелять из пушки, конечно, самой крохотной.

Профессор гордился своей блохой, а блоха гордилась сама собой; ведь она была блоха не простая, а ученая; в ней текла человеческая кровь, и она побывала в самых больших городах, давала представления в присутствии принцев и принцесс и удостоилась их высочайшего одобрения. Обо всем этом даже было напечатано в газетах и на афишах. Блоха знала, что она знаменитость и что она могла бы прокормить не только профессора, но и целое семейство.

Да, горда была блоха и знаменита, а все-таки, когда ей и профессору приходилось ездить по железной дороге, они всегда брали билеты четвертого класса: ведь там едешь так же скоро, как и в первом классе. Между обоими состоялось безмолвное соглашение никогда не расставаться и никогда не вступать в брак. Профессор решил остаться навсегда вдовцом, а блоха — старой девицей, а это почти одно и то же.

— Там, где тебе повезло однажды, не следует пытаться счастья вторично! — говорил профессор. Он был большой знаток человеческой природы, а это тоже своего рода наука.

Наконец он объехал все страны, за исключением страны диких. Туда-то он и порешил теперь отправиться. Правда, профессор знал, что дикари едят христиан. «Но ведь я плохой христианин, — рассуж-

дал он, — а блоха не человек; отчего же не рискнуть и не поехать туда? Быть может, там удастся заработать хорошие деньги».

Они совершили путь частью на пароходе, частью на парусном судне. Дорогой блоха показывала свои штуки, и за это их везли бесплатно. Таким образом они добрались до страны диких.

Там царствовала маленькая принцесса. Ей всего было восемь лет, но она уже царствовала. Она свергла с престола отца и мать, потому что характер у нее был очень решительный, и к тому же она была необыкновенно очаровательна и своевольна.

Как только блоха сделала ей на караул и выстрелила из пушки, принцесса пришла в неописуемый восторг и воскликнула: «Она будет царствовать вместе со мной!» От избытка чувств она принялась прыгать и скакать, словно дикарка, — впрочем, она и без того была дикарка.

— Милое мое, разумное дитячко! — сказал ей отец. — Ведь блоха не человек, — как же можно делить с ней власть?

— Это мое дело! — возразила она. Это, конечно, было очень грубо со стороны маленькой принцессы, потому что она ведь говорила с отцом, но не следует забывать, что она была дикарка.

Она посадила блоху к себе на руку и сказала ей:

— Теперь ты человек и будешь царствовать со мной вместе. Только помни: ты должна делать все, что я хочу, иначе я тебя убью и съем твоего профессора.

Профессору отвели большой зал, стены которого были сложены из сахарного тростника. Ему представлялась, таким образом, возможность во всякое время лизать сладкий сахар, но он не был лакомкой. Для спанья ему повесили гамак, и когда он ложился, то мог вообразить себе, что находится на воздушном шаре, о котором не переставал мечтать.

Блоха осталась у принцессы и не сходила с ее маленькой ручки и тоненькой шейки. Принцесса вырвала у себя из головы волос, и профессор по ее приказанию должен был обвязать им одну лапку блохи, которая таким образом была привязана к большому коралловому сучку, висевшему у принцессы в ухе.

Хорошее, чудесное это было время для принцессы и для блохи — так, по крайней мере, полагала первая. Но профессор не чувствовал себя счастливым. Он слишком привык к бродячей жизни, любил переезжать из города в город и читать в газетах похвалы своей настойчивости и ловкости, благодаря которым ему удалось научить блоху человеческим штукам. А тут по целым дням он валялся в своем гамаке и только и делал, что ел. Кормили его, впрочем, отлично: свежими птичьими яйцами, слоновыми глазами и жареными ляжками жирафов. Людоеды ведь не питаются одним человеческим мясом — это у них считается лакомством. «Детское плечико под пикантным соусом — это самое деликатное блюдо!» — говорила принцесса-мать.

Профессор скучал и с удовольствием покинул бы страну диких; но не мог же он оставить у них свою блоху — ведь она была его славой и кормилицей. Однако как ее изловить и забрать опять в свои руки? Это было дело совсем не легкое.

Думал-гадал он, как бы ему добиться цели, и наконец радостно воскликнул:

— Нашел!

— Принц-отец! — сказал он, обращаясь к отцу принцессы. — Соболаговолите дать мне какую-нибудь работу! Не научить ли мне туземцев делать ружьем на караул! В самых могущественных странах света это считается высшим образованием.

— А чему ты можешь научить меня? — спросил отец принцессы.

— Я могу вас научить своему величайшему искусству, — отвечал профессор, — именно выстрелить из пушки так, чтобы вся земля задрожала и чтобы все самые вкусные птицы попадали на землю совсем зажаренные. То-то будет эффект, когда загремит пушка!

— Скорей давайте сюда пушку! — вскричал принц-отец.

Но во всей стране не было другой пушки, кроме той, которую привезла с собой блоха, а та была слишком мала.

— Я отолью вам другую пушку, побольше! — сказал профессор. — Вы только доставьте мне необходимые для этого материалы. Мне нужны кусок



тонкой шелковой ткани, нитки, иголки, бечевки и канаты, а также желудочные капли. Последние надувают шар, поднимают его на воздух и произведут выстрел из желудка пушки.

Он получил все, что требовал.

Собрались все жители страны, чтобы полюбоваться большой пушкой. Но профессор допустил их к себе не раньше, чем шар уже был совсем готов и оставалось только наполнить его и подняться на воздух.

Блоха сидела на руке принцессы и смотрела на то, что тут происходит. Шар наполнили. Он быстро вздулся и рвался вверх с такой силой, что его еле могли удерживать.

— Я должен поднять его выше на воздух, чтобы он немного поостыл, — сказал профессор и уселся в корзину, подвешенную под шаром. — Но только я один не в состоянии буду справиться с ним. Мне нужен опытный товарищ, который мог бы помогать мне. Кроме блохи, здесь нет никого, кто был бы знаком с этим делом.

— Я очень неохотно отпускаю ее! — сказала принцесса, но все-таки подала профессору блоху, которую тот посадил к себе на руку.

— Отпустите веревки! — закричал он. — Сейчас пушка поднимется и выпалит.

Шар взвился вверх, стал подниматься все выше и выше, поднялся выше облаков — и улетел далеко от страны диких.

А маленькая принцесса, ее отец, мать и весь народ стояли на площади и ждали возвращения блохи и профессора. Они и по сию пору ждут еще, а если ты не веришь, то поезжай в страну диких: там каждый ребенок знает про блоху и профессора. Они все еще верят, что оба вернутся к ним, как только пушка остынет. Но блоха и профессор и не думают возвращаться. Они теперь у себя, в своем отечестве, ездят по железным дорогам в первом классе, а не в четвертом, и зарабатывают большие деньги благодаря своему большому воздушному шару. Никто не спрашивает, как и откуда они добыли его. Они теперь разбогатели, и все уважают их — и блоху и профессора.

О ТОМ, КАК БУРЯ ПЕРЕВЕСИЛА ВЫВЕСКИ

В старину, когда дедушка был еще совсем маленьким мальчиком и разгуливал в красных штанишках, красной курточке с кушаком и шапочке с пером, — а надо вам сказать, что тогда детей именно так и одевали, когда хотели их нарядить, — так вот в те далекие, далекие времена все было совершенно иначе, чем теперь.

Ведь какие, бывало, торжества устраивались на улицах! Нам с вами таких уже не видать: их давным-давно упразднили, так как они, видите ли, вышли из моды. Но до чего же занятно теперь послушать дедушкины рассказы об этом — вы и представить себе не можете.

Что это было за великолепие, когда, скажем, сапожники меняли помещение цеха и переносили на новое место цеховую вывеску. Во главе процессии величественно колыхалось шелковое знамя с изображением большого сапога и двуглавого орла. Младшие подмастерья торжественно несли задравный кубок и большой ларец, а на руках у них развевались по ветру красные и белые ленты. Старшие подмастерья держали в руках обнаженные шпаги с насаженными на острия лимонами. Музыка гремела так, что небо сотрясилось, и самым замечательным инструментом в оркестре была «птица» — так называл дедушка длинный шест, увенчанный полумесяцем и обвешанный всевозможными колокольчиками и бубенчиками, — настоящая турецкая музыка! Шест поднимали и раскачивали из стороны в сторону, колокольчики звенели и бренчали, а в глазах просто рябило от золота, серебра и меди, сверкавших на солнце.

Впереди всех бежал арлекин¹ в костюме из разноцветных лоскутков: лицо у него было вымазано сажей, а колпак украшен бубенчиками — ни дать ни взять лошадь, запряженная в сани! Он размахивал палкой направо и налево, но это была палка-хлопушка: она только громко хлопала и пугала людей, а вреда от этого никому не было. Люди толпились

¹ Арлекин — шут.

и толкались, стараясь протиснуться, одни — вперед, другие — назад; мальчишки и девчонки спотыкались и летели прямо в канаву, а пожилые кумушки отчаянно работали локтями, сердито озирались по сторонам и бранились. Всюду слышались говор и смех. Люди стояли на лестницах, высовывались из окон, а иные даже забирались на крышу. На небе ярко светило солнышко. Правда, случалось, что на процессию попрыскает небольшой дождик, но ведь дождь крестьянину не помеха: пусть хоть весь город насквозь промокнет, зато урожай будет богаче!

До чего хорошо рассказывал наш дедушка, просто заслушаешься. Ведь еще маленьким мальчиком он сам все это видел своими глазами. Старший цеховой подмастерье всегда залезал на помост, построенный под самой вывеской, и говорил речь — да не как-нибудь, а в стихах, словно по вдохновению. Впрочем, тут и вправду не обходилось без вдохновения: ведь речь он сочинял вместе с двумя друзьями, и работу они начинали с того, что осушали целую миску пунша, — для пользы дела, конечно. Народ встречал эту речь криками «ура». Но еще громче кричали «ура» арлекину, когда он тоже вылезал на помост и передразнивал оратора. Все хохотали до упаду, а он попивал себе мед из водочных рюмок и бросал рюмки в толпу, и люди ловили их на лету. У дедушки была такая рюмочка: ее поймал какой-то штукатур и подарил ему на память. Да, вот это было веселье так веселье! А вывеска, вся в цветах и зелени, красовалась на новом месте.

«Такого праздника не забудешь, хоть до ста лет живи», — говорил дедушка. Да он и вправду ничего не забыл, хотя каких только не перевидал празднеств и торжеств на своем веку. Много кое-чего мог он порассказать, но забавнее всего рассказывал о том, как в одном большом городе перевесили вывески.

Дедушка был еще совсем маленьким, когда приехал с родителями в этот город, самый большой в стране. На улицах было полным-полно народу, и дедушка даже подумал, что здесь тоже будут торжественно переносить вывески, которых, к слову сказать, здесь оказалось великое множество, — сотни комнат можно было бы заполнить этими картинами, если бы вывески вешали не снаружи, а внутри дома.

На вывеске портного было изображено разное платье, и если бы он захотел, то мог бы перекроить даже самого неказистого человека в самого красивого. А на вывеске торговца табаком — хорошенькие мальчишки с сигарами в зубах, эдакие озорники! Были тут вывески с маслом и селедками, были вывески с пасторскими воротниками и гробами, а сколько всюду висело объявлений и афиш — видимо-невидимо! Ходи себе целый день взад и вперед по улицам да любуйся сколько душе угодно на эти картинки; заодно узнаешь, что за люди живут на улице, — ведь они сами вывесили свои вывески.

— К тому же, — говорил дедушка, — когда ты попал в большой город, и полезно и поучительно знать, что кроется за толстыми каменными стенами домов.

И надо же было, чтобы вся эта кутерьма с вывесками приключилась как раз в тот день, когда в город приехал дедушка. Он сам рассказывал об этом, и очень складно, хоть мама и уверяла, что он морочит мне голову. Нет, на этот раз дедушка говорил всерьез.

В первую же ночь, когда он приехал в город, здесь разыгралась страшная буря, до того страшная, что такой ни в газетах никогда не описывали, ни старожилы не помнили. Ветер срывал черепицу с крыш, трещали и валялись старые заборы, а одна тачка вдруг взяла да покатила по улице, чтобы убежать от бури. А буря бушевала все сильнее и сильнее, ветер дико завывал, ревел и стучал в ставни, стены и крыши. Вода в каналах вышла из берегов и теперь просто не знала, куда ей деваться. Буря неслась над городом, ломала и уносила трубы. А сколько старых высокомерных церковных шпилей согнулось в эту ночь — просто не сосчитать! И они так никогда и не выпрямились.

Перед домом почтенного брандмайора¹, который прибывал на пожар, когда от строения оставались только головешки, стояла караульная будка, — так вот, буря почему-то захотела лишить его этого скромного символа пожарной доблести и, опрокинув будку, с грохотом покатила ее по улице. Как ни

¹ Брандмайор — начальник пожарных частей города.

странно, будка остановилась перед домом бедного плотника — того самого, который во время последнего пожара вынес из огня трех человек, — да так и осталась там стоять, но, конечно, без всякого умысла.

Вывеску цирюльника — большой медный таз — ветер забросил на подоконник дома советника юстиции. Вот это было сделано уж явно не без умысла, поговаривали соседи, ибо все-таки, даже самые близкие приятельницы его жены, называли госпожу советницу «бритвой». Она была такая умная, такая умная, что знала о людях куда больше, чем они сами о себе знали.

А вывеска с нарисованной на ней вяленой треской перелетела на дверь редактора одной газеты. Подумать только, какая нелепость! Буря, как видно, забыла, что с журналистом шутки плохи: ведь в своей газете он сам себе голова, и никакой закон ему не писан.

Флюгерный петух перелетел на крышу соседнего дома, да там и остался, — тоже с каким-то злым умыслом, конечно, говорили соседи. Бочка бондаря очутилась под вывеской «Дамские моды». Меню, висевшее у входа в кухмистерскую, ветер перенес к подъезду театра, в который редко кто заходил. Ничего себе, забавная получилась афиша: «Суп из хрена и фаршированная капуста». И публика валом повалила в театр.

Лисья шкурка с вывески скорняка повисла на шнурке колокольчика у дверей одного молодого человека, который исправно ходил в церковь, вел себя тише воды, ниже травы, стремился к истине и всем служил «примером», по словам его тетки.

Доска с надписью «Высшее учебное заведение» оказалась на бильярдном клубе, а на самом учебном заведении появилась вывеска детского врача: «Здесь дети приучаются к бутылочке». И вовсе это было не остроумно, а просто невежливо! Но уж если буря захочет что-нибудь натворить, то натворит непременно, и ничего ты с ней не поделаешь.

Да, ну и выдалась же ночь! Наутро — только подумайте! — все вывески в городе поменялись местами, а кое-где получилось такое безобразие, что дедушка, уж как ни хотелось ему рассказать об этом,

только помалкивал да посмеивался про себя, — я это сразу заметил, — а значит, на этот раз у него уж что-нибудь да было на уме.

Каково же было жителям этого города, а особенно приезжим! Они совершенно сбились с толку и ходили как потерянные. Да иначе и быть не могло: ведь они привыкли искать дорогу по вывескам! Например, кто-нибудь хотел попасть на заседание деятелей, обсуждающих важнейшие государственные вопросы, а попал в школу к мальчишкам, которые изо всех сил старались перекричать друг друга, да и только что не ходили на головах.

А были и такие, что из-за вывески вместо церкви попадали — о ужас! — в театр.

Теперь подобных бурь больше не бывает: такую только дедушке довелось повидать и то, когда он был еще мальчишкой. Да и вряд ли такая буря повторится при нас, разве что при наших внуках. А мы дадим им благой совет: «Пока буря перевешивает вывески, сидите-ка лучше дома».

УЛИТКА И РОЗОВЫЙ КУСТ

Вокруг сада шла живая изгородь из орешника; за нею начинались поля и луга, где паслись коровы и овцы. Посреди сада цвел розовый куст; под ним сидела улитка. Она была богата внутренним содержанием — она содержала самое себя.

— Постоите, придет и мое время! — сказала она. — Я дам миру кое-что поважнее этих роз, орехов или молока, что дают коровы и овцы!

— Я многого ожидаю от вас! — сказал розовый куст. — Позвольте же узнать, когда это будет?

— Время терпит! Это вы вот все торопитесь! А торопливость ослабляет впечатление!

На другой год улитка лежала чуть ли не на том же месте, на солнышке, под розовым кустом, снова покрытом бутонами. Бутоны распускались, розы цвели, отцветали, а куст выпускал все новые и новые.

Улитка наполовину выползла из раковины, вытянула рожки и опять подобрала их.

— Все то же да то же! Ни шагу вперед! Розовый куст остается при своих розах, ни на волос не подвинулся вперед!

Лето прошло, настала осень, розовый куст цвел и благоухал, пока не выпал снег. Стало сыро, холодно, розовый куст пригнулся к земле, улитка уползла в землю.

Опять настала весна, снова зацвели розы, выползла и улитка.

— Теперь вы уж стары! — сказала она розовому кусту. — Пора бы вам и честь знать! Вы дали миру все, что могли дать; многое ли — это вопрос, которым мне некогда заниматься. А что вы ровно ничего не сделали для своего внутреннего развития — это ясно! Иначе из вас вышло бы кое-что другое. Что вы скажете в свое оправдание? Вы скоро ведь обратитесь в сухой хворост! Понимаете вы, что я говорю?

— Вы меня пугаете! — сказал розовый куст. — Я никогда об этом не думал!

— Да, да, вы, кажется, мало затрудняли себя думаньем! А вы пробовали когда-нибудь заняться этим вопросом, дать себе отчет: почему, собственно, вы цветете и как это происходит, почему так, а не иначе?

— Нет! — сказал розовый куст. — Я радовался жизни и цвел — не мог иначе! Солнце так грело, воздух так освежал меня, я пил живую росу и обильный дождь, я дышал, я жил! Силы поднимались в меня из земли, вливались из воздуха, я жил полною жизнью, счастье охватывало меня, и я цвел, — в этом была моя жизнь, мое счастье, я не мог иначе!

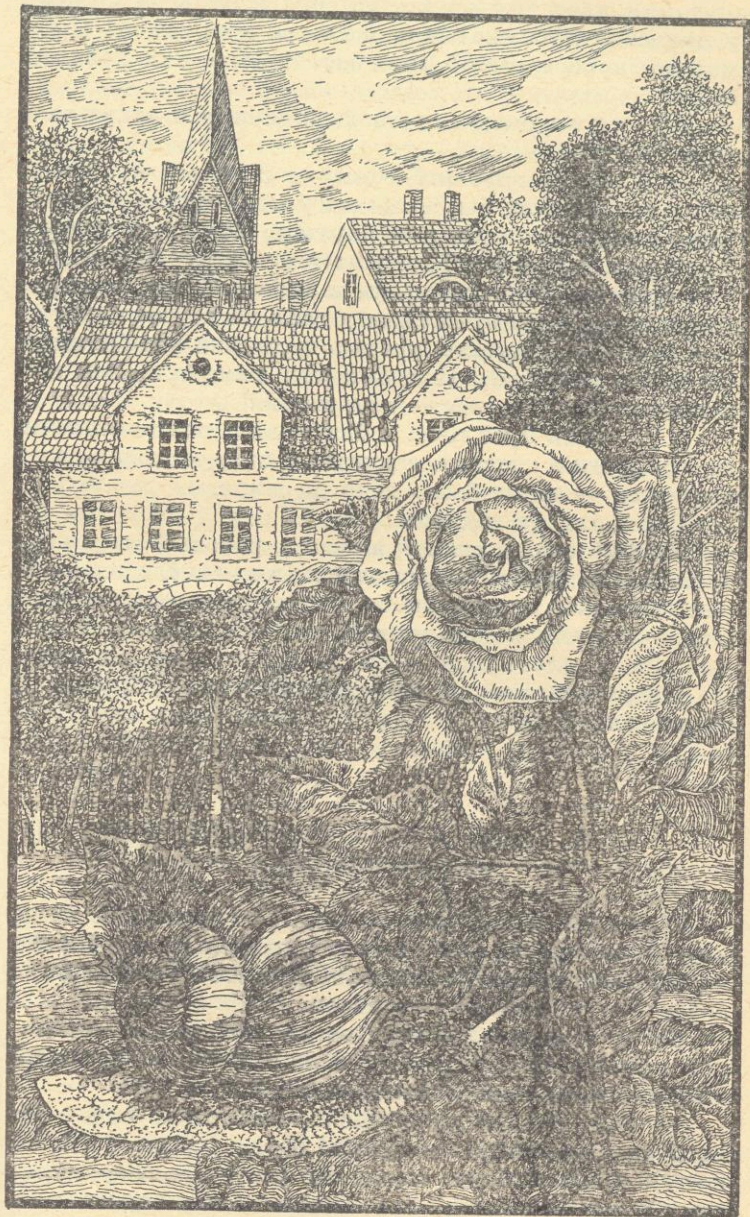
— Да, вы-таки жили не тужили, нечего сказать!

— Да! Мне было дано так много! — сказал розовый куст. — Но вам дано еще больше! Вы одна из глубокомыслящих высокоодаренных натур!.. Вы должны удивить мир!

— Была охота! — сказала улитка. — Я знать не знаю вашего мира! Какое мне до него дело? Мне довольно самой себя!

— Да, но мне кажется, что все мы обязаны делиться с миром лучшим, что есть в нас!.. Я мог дать миру только розы!.. Но вы? Вам дано так много! А что вы дали миру? Что вы дадите ему?

— Что я дала? Что дам?! Плюю я на него. Никуда он не годится! И дела мне нет до него! Снабжайте



его розами — вас только на это и хватит! Пусть себе орешник дает ему орехи, коровы и овцы — молоко, у них своя публика! Моя же — во мне самой! Я замкнусь в себе самой и — баста! Мне нет дела до мира!

И улитка заползла в свою раковину и закрылась там.

— Как это грустно! — сказал розовый куст. — А я так вот и хотел бы, да не могу замкнуться в самом себе; у меня все просится наружу, я должен цвести! Розы мои опадают и разносятся по ветру, но я видел, как одну из них положила в молитвенник мать семейства, другую приютила у себя на груди прелестная молодая девушка, третью целовали улыбающиеся губки ребенка!.. И я был так счастлив! Вот мои воспоминания; в них — моя жизнь!

И розовый куст цвел и благоухал, полный невинной радости и счастья, а улитка тупо дремала в своей раковине — ей не было дела до мира.

Года шли за годами.

Улитка стала землей в земле, розовый куст стал землей в земле, роза воспоминания истлела в молитвеннике... Но в саду цвели новые розовые кусты, под ними ползали новые улитки; они заползали в свои домики и плевались — им не было дела до мира!

Не рассказать ли эту историю сначала? Она не меняется!

ДВА ПЕТУХА — ДВОРОВЫЙ И ФЛЮГЕРНЫЙ

Жили-были два петуха: один на навозной куче, другой на крыше, и оба непомерно чванливые. Но кто из них был главный? Скажите нам свое мнение, а мы все равно останемся при своем.

Забор отделял птичник от другого двора, в котором лежала навозная куча, а на куче росла большая тыква, считавшая себя парниковой.

— Вот кем я уродилась! — говорила она. — Не всем суждено быть тыквами! Должны же быть на свете и другие живые существа! Вот, например, куры, утки и прочие птицы, что обитают в соседнем дво-

ре, — они только живые твари. Вон на заборе петух, — это настоящий, живой петух, не то что флюгерный. Тот хоть и высоко вознесся, но даже скрипеть не может, куда уж ему петь! Ни кур у него нет, ни цыплят, только о себе думает да зеленым потом покрывается! А дворовый петух — это петух! Посмотрите, как важно он шествует, — прямо танцует! А как поет, — музыка! Взглянешь на него и сразу поймешь, что такое настоящий трубач! Если бы только он сюда пришел, он бы склевал меня всю целиком вместе с листьями и выпил бы весь мой сок, — и я бы это за счастье почла, — закончила тыква.

Ночью разыгралась буря. И петух и куры с цыплятами — все попрятались кто куда.

Но вот раздался страшный грохот, и забор, разделявший дворы, повалило ветром, а с крыши скатилось несколько черепиц.

Но флюгерный петух удержался; он даже не повернулся, хоть и молод был — только что выкован. А все потому, что очень уж он был рассудительный и степенный. Таким он и родился — ничего общего у него не было с порхающими в небе птичками, воробьями и ласточками, их он просто презирал.

«Что за пискливая, вульгарная мелюзга!» — говорил он про них.

Голуби же были крупные птицы, а перья их блестели и переливались перламутром. Они походили на флюгерного петуха, но были слишком жирны и глупы.

— Им бы только наедаться, — говорил про них флюгерный петух. — Скука с ними!

Иногда появлялись перелетные птицы и рассказывали разные разности о чужих краях, о воздушных караванах и хищных птицах. Сначала их было интересно слушать, но спустя некоторое время флюгерный петух заметил, что они повторяются. Да, птицы ему наскучили!

Все наскучило — поговорить не с кем было, все наводило на него тоску и уныние!

— Наш мир никуда не годится, — скрипел флюгерный петух. — Все это чушь и вздор!

Флюгерный петух был что называется разочарован, и это, конечно, сразу же привлекло бы к нему внимание тыквы, если бы она об этом знала. Но она

восхищалась только дворовым петухом, а теперь они как раз жили как бы в одном общем дворе: забор снесло ветром во время грозы, которая давно прошла.

— Неужели этот скрип можно принять за пение петуха?— спросил живой петух своих кур и цыплят.— Что за грубые звуки! Изящества и в помине нет!

Куры влезли на навозную кучу, а петух с важным видом направился к тыкке.

— А ведь это парниковая тыква!— обратился он к ней.

И тыква была так поражена его образованностью, что и не заметила, как петух принялся ее клевать и съел всю дочиста.

Вот оно пришло, ее счастье!

ШТОПАЛЬНАЯ ИГЛА

Жила штопальная игла; она считала себя такой тонкой, что воображала, будто она швейная иголка.

— Вы только посмотрите, что вы взяли!— сказала она пальцам, когда они вынимали ее.— Не уроните меня! Упаду на пол — чего доброго, затеряюсь: я слишком тонка!

— Будто уж!— ответили пальцы и крепко обхватили ее за талию.

— Вот видите, я иду с целой свитой!— сказала штопальная игла и потянула за собой длинную нитку, только без узелка.

Пальцы ткнули иглу прямо в кухаркину туфлю, — кожа на туфле лопнула, и надо было зашить дыру.

— Фу, какая черная работа!— сказала штопальная игла.— Я не выдержу! Я ломаюсь!

И вправду сломалась.

— Ну вот, я же говорила, — сказала она.— Я слишком тонка!

«Теперь она никуда не годится», — подумали пальцы, но им все-таки пришлось держать ее: кухарка накапала на сломанный конец иглы сургуч и потом заколола ею косынку.

— Вот теперь я — брошка!— сказала штопальная игла.— Я знала, что буду в чести: если ты личность, из тебя всегда выйдет что-нибудь путное.

И она засмеялась про себя, — ведь никто не видел, чтобы штопальные иглы смеялись громко, — она сидела в косынке, словно в карете, и поглядывала по сторонам.

— Позвольте спросить, вы из золота?— обратилась она к соседке-булавке.— Вы очень милы, и у вас собственная головка... Только маленькая! Постарайтесь ее отрастить, — не всякому ведь достается сургучная головка!

При этом штопальная игла так гордо выпрямилась, что вылетела из платка прямо в раковину, куда кухарка как раз выливала помой.

— Отправляюсь в плаванье!— сказала штопальная игла.— Только бы мне не затеряться!

Но она затерялась.

— Я слишком тонка, я не создана для этого мира!— сказала она, лежа в уличной канаве.— Но я знаю себе цену, а это всегда приятно.

И штопальная игла вытянулась в струнку, не теряя хорошего расположения духа.

Над ней проплывала всякая всячина: щепки, соломинки, клочки газетной бумаги...

— Ишь, как плывут!— говорила штопальная игла.— Они и понятия не имеют о том, кто скрывается тут под ними. Это я тут скрываюсь! Я тут лежу! Вон плывет щепка: у нее только и мыслей, что о щепках. Ну, щепкой она век и останется! Вот соломинка несется... Вертится-то, вертится-то как! Не задирай так носа! Смотри, как бы не наткнуться на камень! А вот газетный обрывок плывет. Давно уж забыть успели, что на нем напечатано, а он, гляди, как развернулся!.. Я лежу тихо, смиренно. Я знаю себе цену, и этого у меня не отнимут!

Раз возле нее что-то заблестело, и штопальная игла вообразила, что это бриллиант. Это был бутылочный осколок, но он блестел, и штопальная игла заговорила с ним. Она назвала себя брошкой и спросила его:

— Вы, должно быть, бриллиант?

— Да, нечто в этом роде.

И оба думали друг про друга и про самих себя, что они настоящие драгоценности, и говорили между собой о невежественности и надменности света.

— Да, я жила в коробке у одной девицы, — рассказывала штопальная игла. — Девица эта была кухаркой. У нее на каждой руке было по пяти пальцев, и вы представить себе не можете, до чего доходило их чванство! А ведь занятие у них было только одно — вынимать меня и класть обратно в коробку!

— А они блестели? — спросил бутылочный осколок.

— Блестели? — отвечала штопальная игла. — Нет, блеску в них не было, зато сколько высокомерия?.. Их было пять братьев, все — урожденные «пальцы»; они всегда стояли в ряд, хоть и были различной величины. Крайний — Толстяк, — впрочем, отстоял от других, он был толстый коротышка, и спина у него гнулась только в одном месте, так что он мог кланяться только раз; зато он говорил, что если его отрубят, то человек не годится больше для военной службы. Второй — Лакомка — тыкал свой нос всюду: и в сладкое и в кислое, тыкал и в солнце и в луну; он же нажимал перо, когда надо было писать. Следующий — Долговязый — смотрел на всех свысока. Четвертый — Златоперст — носил вокруг пояса золотое кольцо, и, наконец, самый маленький — Пермузыкант — ничего не делал и очень этим гордился. Да, они только и знали, что хвастаться, и вот — я бросилась в раковину.

— А теперь мы лежим и блестим! — сказал бутылочный осколок.

В это время воды в канаве прибыло, так что она хлынула через край и унесла с собой осколок.

— Он продвинулся! — вздохнула штопальная игла. — А я осталась лежать! Я слишком тонка, слишком деликатна, но я горжусь этим, и это благородная гордость!

И она лежала, вытянувшись в струнку.

— Я просто уверена, что родилась от солнечного луча, — так я тонка! Право, кажется, будто солнце ищет меня под водой. Ах, я так тонка, что даже отец мой солнце не может меня найти! Не лопни тогда мое ушко, я бы услышала свои рыдания, потому что меня душат слезы! Впрочем, нет, плакать неприлично!

Однажды пришли уличные мальчишки и стали копать в канавке, выискивая старые гвозди, монетки и прочие сокровища. Перепачкались они страшно, но это-то и доставляло им удовольствие!

— Ай! — закричал вдруг один из них; он укололся о штопальную иглу. — Смотри, какая штука!

— Я не штука, а барышня! — заявила штопальная игла, но ее никто не расслышал. Сургуч с нее сошел, и она вся почернела, но в черном всегда выглядишь стройнее, и игла воображала, что стала еще тоньше прежнего.

— Вон плывет яичная скорлупа! — закричали мальчишки, взяли штопальную иглу и воткнули в скорлупу.

— Черное на белом фоне очень красиво! — сказала штопальная игла. — Теперь меня хорошо видно! Только бы не поддаться морской болезни, этого я не выдержу: я такая хрупкая!

Но она не поддалась морской болезни — выдержала.

— Когда у тебя стальной желудок, морская болезнь нипочем, и всегда надо помнить, что ты не то, что простые смертные! Теперь я совсем оправилась! Чем ты благороднее, тем больше можешь перенести!

— Крак! — сказала яичная скорлупа: ее переехала ломовая телега.

— Ух, как давит! — завопила штопальная игла. — Сейчас меня стошнит! Не выдержу! Сломаюсь!

Но она выдержала, хотя ее и переехала ломовая телега; она лежала на мостовой, вытянувшись во всю длину, ну и пусть себе лежит!

ГАДКИЙ УТЕНОК

Хорошо было за городом! Стояло лето, рожь уже пожелтела, овсы зеленели, сено было сметано в стога; по зеленому лугу расхаживал длинноногий аист и болтал по-египетски — он выучился этому языку от матери. За полями и лугами тянулись большие леса с глубокими озерами в самой чаще. Да, хорошо было за городом! На солнечном припеке раскинулась старая усадьба, окруженная глубокими канавами с во-

дой; от самой ограды вплоть до воды рос лопух, да такой большой, что маленькие ребятишки могли стоять под самыми крупными из его листьев во весь рост. В чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу, и вот там-то сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и ей порядком надоело это сидение, ее мало навещали: другим уткам больше нравилось плавать по канавкам, чем сидеть в лопухе да крикать с нею.

Наконец яичные скорлупки затрещали. «Пи! пи!» — послышалось из них: яичные желтки ожили и повысунули из скорлупок носики.

— Живо! Живо! — закрикала утка, и утята заторопились, кое-как выкарабкались и начали озираться кругом, разглядывая зеленые листья лопуха; мать не мешала им — зеленый свет полезен для глаз.

— Как мир велик! — сказали утята.

Еще бы! Тут было куда просторнее, чем в скорлупе.

— А вы думаете, что тут и весь мир? — сказала мать. — Нет! Он тянется далеко-далеко, туда, за сад, к полю священника, но там я отроду не бывала!.. Ну, все, что ли, вы тут? — И она встала. — Ах нет, не все! Самое большое яйцо целехонько. Да скоро ли этому будет конец! Право, мне уже надоело.

И она уселась опять.

— Ну, как дела? — заглянула к ней старая утка.

— Да вот, еще одно яйцо остается! — сказала молодая утка. — Сижую, сижую, а все толку нет! Но посмотри-ка на других! Просто прелесть! Ужасно похожи на отца! А он-то, негодный, и не навестил меня ни разу!

— Постой-ка, я взгляну на яйцо! — сказала старая утка. — Может статься, это индюшачье яйцо! Меня тоже надули раз! Ну и маялась же я, как вывела индюшат! Они ведь страсть как боятся воды; уж я и крикала, и звала, и толкала их в воду — не идут, да и все! Дай мне взглянуть на яйцо! Ну, так и есть! Индюшачье! Брось-ка его да ступай учи других плавать!

— Посижую уж еще! — сказала молодая утка. — Сидела столько, что можно посидеть и еще немножко.

— Как угодно! — сказала старая утка и ушла.

Наконец затрещала скорлупа и самого большого яйца. «Пи! пи-и!» — и оттуда вывалился огромный некрасивый птенец. Утка оглядела его.

— Ужасно велик! — сказала она. — И совсем не похож на остальных! Неужели это индюшонок? Ну, да в воде-то он у меня побывает, хоть бы мне пришлось столкнуть его туда силой!

На другой день погода стояла чудесная, зеленый лопух весь был залит солнцем. Утка со всею своею семьей отправилась к канаве. Бултых! — и утка очутилась в воде.

— За мной! Живо! — позвала она утят, и те один за другим тоже бултыхнулись в воду.

Сначала вода покрыла их с головками, но затем они вынырнули и поплыли так, что любо глядеть. Лапки у всех работали без устали, и некрасивый серый утенок не отставал от других.

— Какой же это индюшонок? — сказала утка. — Ишь, как славно гребет лапками, как прямо держится! Нет, это мой собственный сын! Да он вовсе и недурен, если посмотришь на него хорошенько! Ну, живо, живо, за мной! Я сейчас введу вас в общество — мы отправимся на птичий двор. Но держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь не наступил на вас, да берегитесь кошек!

Скоро добрались и до птичьего двора. Батюшки! Что тут был за шум и гам! Две семьи дрались из-за одной угриной головки, и в конце концов она досталась кошке.

— Вот как идут дела на белом свете! — сказала утка и облизнула язычком клюв, — ей тоже хотелось отведать угриной головки. — Ну, ну шевелите лапками! — сказала она утятам. — Крякните и поклонитесь вон той старой утке! Она здесь знатнее всех! Она испанской породы и потому такая жирная. Видите, у нее на лапке красный лоскуток? Как красиво! Это знак высшего отличия, какого только может удостоиться утка. Люди дают этим понять, что не желают потерять ее; по этому лоскутку ее узнают и люди и животные. Ну, живо! Да не держите лапки вместе! Благовоспитанный утенок должен держать лапки врозь и выворачивать их наружу, как папаша с мамашей! Вот так! Кланяйтесь теперь и крякайте!

Утята так и сделали; но другие утки оглядывали их и громко говорили:

— Ну вот, еще целая орава! Точно нас мало было! А этот-то какой безобразный! Его уж мы не потерпим!

И сейчас же одна утка подскочила и клюнула его в шею.

— Оставьте его! — сказала утка-мать. — Он ведь вам ничего не сделал!

— Это верно, он такой большой и странный! — отвечала забияка. — Ему надо задать хорошую трепку!

— Славные у тебя детки! — сказала старая утка с красным лоскутком на лапке. — Все очень милы, кроме вот этого... Этот не удался! Хорошо бы его переделать!

— Никак нельзя, ваша милость! — ответила утка-мать. — Он некрасив, но у него доброе сердце, и плавает он не хуже, смею даже сказать — лучше других. Я думаю, что он вырастет, похорошеет или станет со временем поменьше. Он залежался в яйце, оттого и не совсем удался. — И она провела носиком по перышкам большого утенка. — Кроме того, он селезень, а селезню красота не так ведь нужна. Я думаю, он возмужает и пробьет себе дорогу!

— Остальные утята очень-очень милы! — повторила старая утка. — Ну, будьте же как дома, а найдете угриную головку, можете принести ее мне.

Вот они и стали вести себя как дома. Только бедного утенка, который вылутился позже всех и был такой безобразный, клевали, толкали и осыпали насмешками решительно все — и утки и куры.

— Он больно велик! — говорили все, а индейский петух, который родился со шпорами на ногах и потому воображал себя императором, надулся, словно корабль на всех парусах, подлетел к утенку, поглядел на него и пресердито залопотал; гребешок у него так весь и налился кровью. Бедный утенок просто не знал, что ему делать, как быть. И надо же ему было уродиться таким безобразным, чтобы сделаться посмешищем для всего птичьего двора!

Так прошел первый день, затем стало еще хуже. Все гнали бедняжку, даже братья и сестры сердито говорили ему:

— Хоть бы кошка утащила тебя, несносного урода!

А мать прибавляла:

— Глаза бы мои на тебя не глядели!

Утки клевали его, куры щипали, а девушка, которая давала птицам корм, толкала ногою.

Не выдержал утенок, перебежал двор и — через изгородь! Маленькие птички испуганно вспорхнули из кустов.

«Они испугались меня, такой я безобразный!» — подумал утенок и пустился наутек, сам не зная куда. Бежал-бежал, пока не очутился в болоте, где жили дикие утки. Усталый и печальный, он просидел тут всю ночь.

Утром утки вылетели из гнезда и увидели нового товарища.

— Ты кто такой? — спросили они, а утенок вертелся, раскланиваясь на все стороны, как умел.

— Ты пребезобразный! — сказали дикие утки. — Но нам до этого нет дела, только не думай породниться с нами!

Бедняжка! Где уж ему было думать об этом! Лишь бы позволили ему посидеть в камышах да попить болотной водицы.

Два дня провел он в болоте, на третий день явились два диких гусака. Они недавно вылупились из яиц и потому выступали очень гордо.

— Слушай, дружище! — сказали они. — Ты такой урод, что, право, нравишься нам! Хочешь летать с нами и быть вольной птицей? Недалеко отсюда, в другом болоте, живут премиленькие дикие гусыни-барышни. Они умеют говорить: «Рап, рап!» Ты такой урод, что, чего доброго, будешь иметь у них успех!

«Пиф! паф!» — раздалось вдруг над болотом, и оба гусака упали в камыши мертвыми; вода окрасилась кровью. «Пиф! паф!» — раздалось опять, и из камышей поднялась целая стая диких гусей. Пошла пальба. Охотники оцепили болото со всех сторон; некоторые залезли на нависшие над болотом ветви. Голубой дым облаками окутывал деревья и стлался над водой. По болоту шлепали охотничьи собаки; камыш качался из стороны в сторону. Бедный утенок от страха хотел было спрятать голову под крыло, как глядь — перед ним охотничья собака с высунутым

языком и сверкающими злыми глазами. Она приблизилась к утенку свою пасть, оскалила зубы и — шлеп, шлеп — побежала дальше.

— Слава богу! — перевел дух утенок. — Слава богу! Я так безобразен, что даже собаке противно укушать меня!

И он притаился в камышах; над головою его то и дело пролетали дробинки, раздавались выстрелы.

Пальба стихла только к вечеру, но утенок долго еще боялся пошевелиться. Прошло несколько часов, пока он осмелился встать, оглядеться и пуститься бежать дальше по полям и лугам. Дул такой сильный ветер, что утенок еле-еле мог двигаться.

К ночи он добежал до бедной избушки. Избушка так обветшала, что готова была упасть, да не знала, на какой бок, потому и держалась. Ветер так и подхватывал утенка, — того и гляди, унесет! — приходилось упираться в землю хвостом!

Надвигался ураган; что было делать бедняжке? К счастью, он заметил, что дверь избушки соскочила с одной петли и висит совсем криво; можно было свободно проскользнуть через эту щель. Так он и сделал.

В избушке жила старушка с котом и курицей. Кота она звала сыночком; он умел выгибать спинку, мурлыкать и даже испускать искры, если его гладили против шерсти. У курицы были маленькие, коротенькие ножки, и ее прозвали Коротконожкой; она прилежно несла яйца, и старушка любила ее, как дочку.

Утром пришельца заметили; кот начал мурлыкать, а курица клохтать.

— Что там? — спросила старушка, осмотрелась кругом и заметила утенка, но по слепоте своей приняла его за жирную утку, которая отбилась от дому.

— Вот так находка! — сказала старушка. — Теперь у меня будут утиные яйца, если только это не селезень. Ну да увидим, испытаем!

И утенка приняли на испытание, но прошло недели три, а яиц все не было. Господином в доме был кот, а госпожою курица, и оба всегда говорили: «Мы и весь свет!» Они считали самих себя половиной всего света, притом — лучшею его половиной. Утенку же казалось, что можно на этот счет быть и другого мнения. Курица, однако, этого не потерпела.



— Умеешь ты нести яйца?— спросила она утенка.

— Нет!

— Так и держи язык на привязи!

А кот спросил:

— Умеешь ты выгибать спинку, мурлыкать и испускать искры?

— Нет!

— Так и не суйся со своим мнением, когда говорят умные люди!

И утенок сидел в углу нахохлившись. Вдруг вспомнились ему свежий воздух и солнышко, и ему страшно захотелось поплавать. Он не выдержал и сказал об этом курице.

— Да что с тобой?!— спросила она.— Бездельничает, вот тебе блажь в голову и лезет! Неси-ка яйца или мурлычь, дурь-то и пройдет!

— Ах, плавать по воде так приятно!— сказал утенок.— А что за наслаждение нырять в самую глубь с головой!

— Хорошо наслаждение!— сказала курица.— Ты совсем рехнулся? Спроси у кота, он умнее всех, кого я знаю, нравится ли ему плавать или нырять! О себе самой я уж не говорю! Спроси, наконец, у нашей старушки хозяйки, умнее ее нет никого на свете! По-твоему, и ей хочется плавать или нырять?

— Вы меня не понимаете!— сказал утенок.

— Если уж мы не понимаем, так кто тебя поймет! Что ж, ты хочешь быть умнее кота и хозяйки, не говоря уже обо мне? Не дури, а благодари-ка лучше создателя за все, что для тебя сделали! Тебя приютили, пригрели, тебя окружает такое общество, в котором ты можешь чему-нибудь научиться, но ты пустая голова, и говорить-то с тобой не стоит! Уж поверь мне! Я желаю тебе добра, потому и браню тебя — так всегда узнаются истинные друзья! Старайся же нести яйца или выучись мурлыкать да пускать искры!

— Я думаю, мне лучше уйти отсюда куда глаза глядят!— сказал утенок.

— Скатертью дорога!— отвечала курица.

И утенок ушел. Он плавал и нырял, но все животные по-прежнему презирали его за уродство.

Настала осень; листья на деревьях пожелтели и побурели; ветер подхватывал и кружил их; навер-

ху, в небе, стало так холодно, что тяжелые облака сеяли град и снег, а на изгороди сидел ворон и каркал от холода во все горло. Брр! Замерзнешь при одной мысли о таком холоде! Плохо приходилось бедному утенку.

Раз вечером, когда солнце так красиво садилось, из-за кустов поднялась целая стая чудных больших птиц; утенок сроду не видел таких красавцев: белые как снег, с длинными гибкими шеями! То были лебеди. Они испустили какой-то странный крик, взмахнули великолепными большими крыльями и полетели с холодных лугов в теплые края, за синее море. Они поднялись высоко-высоко, а бедного утенка охватило какое-то смутное волнение. Он завертелся в воде, как волчок, вытянул шею и тоже испустил такой громкий и странный крик, что и сам испугался. Чудные птицы не шли у него из головы, и когда они окончательно скрылись из виду, он нырнул на самое дно, вынырнул опять и был словно вне себя. Утенок не знал, как зовут этих птиц, куда они летели, но полюбил их, как не любил до сих пор никого. Он не завидовал их красоте; ему и в голову не могло прийти пожелать походить на них; он рад был бы и тому, чтоб хоть утки-то его от себя не отгалкивали. Бедный гадкий утенок!

А зима стояла холодная-прехолодная. Утенку приходилось плавать без отдыха, чтобы не дать воде замерзнуть совсем, но с каждой ночью свободное ото льда пространство становилось все меньше и меньше. Морозило так, что ледяная кора трещала. Утенок без усталости работал лапками, но под конец обессилел, приостановился и весь обмерз.

Рано утром мимо проходил крестьянин, увидал примерзшего утенка, разбил лед своим деревянным башмаком и принес птицу домой к жене. Утенка отогрели.

Но вот дети вздумали играть с ним, а он вообразил, что они хотят обидеть его, и шарахнулся со страха прямо в подойник с молоком — молоко все расплескалось. Женщина вскрикнула и всплеснула руками; утенок между тем влетел в кадку с маслом, а оттуда в бочонок с мукой. Батюшки, на что он был похож! Женщина вопила и гонялась за ним с угольными щипцами, дети бегали, сшибая друг друга

с ног, хохотали и визжали. Хорошо, что дверь стояла отворенной, утенок выбежал, кинулся в кусты, прямо на свежавывающий снег и долго-долго лежал там почти без чувств.

Было бы чересчур печально описывать все злоключения утенка за эту суровую зиму. Когда же солнышко опять пригрело землю своими теплыми лучами, он лежал в болоте, в камышах. Запели жаворонки, пришла весна.

Утенок взмахнул крыльями и полетел; теперь крылья его шумели и были куда крепче прежнего. Не успел он опомниться, как уже очутился в большом саду. Яблони стояли все в цвету; душистая сирень склонила свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом.

Ах, как тут было хорошо, как пахло весной! Вдруг из чащи тростника выплыли три чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал красивых птиц, и его охватила какая-то странная грусть.

«Полечу-ка я к этим царственным птицам, они, наверное, убьют меня за то, что я, такой безобразный, осмелился приблизиться к ним, но пусть! Лучше пусть они меня убьют, чем сносить щипки уток и кур, толчки птичницы да терпеть холод и голод зимою!»

И он слетел на воду и поплыл навстречу красавцам лебедям, которые, завидя его, тоже устремились к нему.

— Убейте меня! — сказал бедняжка и опустил голову, ожидая смерти, но что же увидел он в чистой, как зеркало, воде? Свое собственное отражение, но он был уже не безобразною темно-серою птицей, а — лебедем!

Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылутился из лебединого яйца!

Теперь он был рад, что перенес столько горя и бедствий, — он лучше мог оценить свое счастье и все окружающее его великолепие. Большие лебеди плавали вокруг него и ласкали его, гладили клювами.

В сад прибежали маленькие дети; они стали бросать лебедям хлебные крошки и зерна, а самый меньшой из них закричал:

— Новый, новый!

И все остальные подхватили:

— Да, новый, новый! — хлопали в ладоши и приплясывали от радости; потом побежали за отцом и матерью и опять бросали в воду крошки хлеба и пирожного. Все говорили, что новый красивее всех. Такой молоденький, прелестный!

И старые лебеди склонили перед ним головы.

А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он был чересчур счастлив, но несколько не возгордился — доброе сердце не знает гордости, — он помнил то время, когда все его презирали и гнали. А теперь все говорят, что он прекрасный между прекрасными птицами! Сирень склоняла к нему в воду свои душистые ветви, солнышко светило так славно... И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик:

— Мог ли я мечтать о таком счастье, когда был еще гадким утенком!

СВИНОПАС

Жил-был бедный принц. Королевство у него было маленькое-премаленькое, но жениться все-таки было можно, а жениться-то принцу хотелось. Разумеется, с его стороны было несколько смело спросить дочь императора: «Пойдешь за меня?» Впрочем, он носил славное имя и знал, что сотни принцесс с благодарностью ответили бы на его предложение согласием. Да вот, поди знай, что взбредет в голову императорской дочке!

Послушаем же, как было дело.

На могиле у отца принца вырос розовый куст несказанной красоты; цвел он только раз в пять лет, и распускалась на нем всего одна-единственная роза. Зато она разливала такой сладкий аромат, что, вливая его, можно было забыть все свои горести и заботы. Еще был у принца соловей, который пел так дивно, словно у него в горлышке были собраны все чудеснейшие мелодии, какие только есть на свете. И роза и соловей предназначены были в дар принцессе;

их положили в большие серебряные ларцы и отосла-ли к ней.

Император велел принести ларцы прямо в боль-шую залу, где принцесса играла со своими фрейли-нами в гости; других занятий у нее не было. Увидав большие ларцы с подарками, принцесса захопала от радости в ладоши.

— Ах, если бы тут была маленькая киска!— ска-зала она.

Но из ларца вынули прелестную розу.

— Ах, как это мило сделано!— сказали все фрейлины.

— Больше чем мило!— сказал император.— Это прямо-таки недурно!

Но принцесса потрогала розу и чуть не заплакала.

— Фи, папа!— сказала она.— Она не искусствен-ная, а настоящая!

— Фи!— повторили все придворные.— На-стоящая!

— Погодим сердиться! Посмотрим сначала, что в другом ларце!— возразил император.

И вот из ларца появился соловей и запел так чу-десно, что нельзя было сейчас же найти какого-ни-будь недостатка.

— Superbe! Charmant!¹— сказали фрейлины; все они болтали по-французски, одна хуже другой.

— Как эта птичка напоминает мне органчик по-койной императрицы!— сказал один старый при-дворный.— Да, тот же тон, та же манера!

— Да!— сказал император и заплакал, как ре-бенок.

— Надеюсь, птица не настоящая?— спросила принцесса.

— Настоящая!— ответили ей доставившие по-дарки послы.

— Так пусть она летит!— сказала принцесса и так и не позволила принцу явиться к ней самому.

Но принц не унывал: он вымазал себе все лицо черной и бурой краской, нахлобучил шапку и посту-чался во дворец.

— Здравствуйте, император!— сказал он.— Не найдется ли у вас для меня какого-нибудь местечка?

¹ Бесподобно! Прелестно! (фр.)

— Много вас тут ходит!— ответил император.— Впрочем, постой, мне нужен свинопас! У нас про-пасть свиней!

И вот принца утвердили придворным свинопасом и отвели ему жалкую, крошечную каморку рядом со свинными закутками. День-деньской просидел он за работой и к вечеру смастерил чудесный горшочек. Горшочек был весь увешан бубенчиками, и когда в нем что-нибудь варили, бубенчики называли старую песенку:

Ах, мой милый Августин,
Все прошло, прошло, прошло!

Занимательнее же всего было то, что, держа руку над подымавшимся из горшочка паром, можно было узнать, какое у кого в городе готовилось кушанье. Да уж, горшочек был не чета какой-нибудь розе!

Вот принцесса отправилась со своими фрейлина-ми на прогулку и вдруг услышала мелодичный звон бубенчиков. Она сразу же остановилась и вся проси-яла: она тоже умела наигрывать на фортепиано «Ах, мой милый Августин». Только эту мелодию она и на-игрывала, зато одним пальцем.

— Ах, ведь и я это играю!— сказала она.— Так свинопас-то у нас образованный! Слушайте, пусть кто-нибудь из вас пойдет и спросит у него, что стоит этот инструмент.

Одной из фрейлин пришлось надеть деревянные башмаки и пойти на задний двор.

— Что возьмешь за горшочек?— спросила она.

— Десять поцелуев принцессы!— отвечал сви-нопас.

— Как можно!— сказала фрейлина.

— А дешевле нельзя!— отвечал свинопас.

— Ну что он сказал?— спросила принцесса.

— Право и передать нельзя!— отвечала фрейли-на.— Это ужасно!

— Так шепни мне на ухо!

И фрейлина шепнула принцессе.

— Вот невежа!— сказала принцесса и пошла бы-ло, но... бубенчики зазвенели так мило:

Ах, мой милый Августин,
Все прошло, прошло, прошло!

— Послушай!— сказала принцесса фрейлине.— Пойди спроси, не возьмет ли он десять поцелуев моих фрейлин?

— Нет, спасибо!— ответил свинопас.— Десять поцелуев принцессы, или горшочек останется у меня.

— Как это скучно!— сказала принцесса.— Ну, придется вам стать вокруг, чтобы никто нас не увидал!

Фрейлины обступили ее и растопырили свои юбки; свинопас получил десять принцессиних поцелуев, а принцесса — горшочек.

Вот была радость! Целый вечер и весь следующий день горшочек не сходил с очага, а в городе не осталось ни одной кухни, от камергерской до сапожниковой, о которой бы они не знали, что в ней стряпалось. Фрейлины прыгали и хлопали в ладоши.

— Мы знаем, у кого сегодня сладкий суп и блинчики! Мы знаем, у кого каша и свиные котлеты! Как интересно!

— Еще бы!— подтвердила обер-гофмейстерина.

— Да, но держите язык за зубами, я ведь императорская дочка!

— Помилуйте!— сказали все.

А свинопас (то есть принц, но для них-то он был ведь свинопасом) даром времени не терял и смастерил трещотку; когда ее начинали вертеть, раздавались звуки всех вальсов и полек, какие только есть на белом свете.

— Но это superbe!— сказала принцесса, проходя мимо.— Вот так попури! Лучше этого я ничего не слышала. Послушайте, спросите, что он хочет за этот инструмент. Но целоваться я больше не стану!

— Он требует сто принцессиних поцелуев!— доложила фрейлина, побывав у свинопаса.

— Да что он, в уме?— сказала принцесса и пошла своею дорогой, но сделала два шага и остановилась.

— Надо поощрять искусство!— сказала она.— Я ведь императорская дочь! Скажите ему, что я дам ему по-вчерашнему десять поцелуев, а остальные пусть дополучит с моих фрейлин!

— Ну, нам это вовсе не по вкусу!— сказали фрейлины.

— Пустяки!— сказала принцесса.— Уж если я могу целовать его, то вы и подавно! Не забывайте, что я кормлю вас и плачу вам жалованье.

И фрейлине пришлось еще раз отправиться к свинопасу.

— Сто принцессиних поцелуев!— повторил он.— А нет — каждый останется при своем.

— Становитесь вокруг!— скомандовала принцесса, и фрейлины обступили ее, а свинопас принялся ее целовать.

— Что это за сборище у свинных закуток?— спросил, выйдя на балкон, император, протер глаза и надел очки.— Э, да это фрейлины опять что-то затеяли! Надо пойти посмотреть.

И он расправил задники своих домашних туфель. Туфлями служили ему стоптанные башмаки. Вы бы только поглядели, как он быстро зашлепал в них!

Придя на задний двор, он потихоньку подкрался к фрейлинам, а те все были ужасно заняты счетом поцелуев, — надо же было следить за тем, чтобы расплата была честной и свинопас не получил ни больше, ни меньше, чем ему следовало. Никто поэтому не заметил императора, а он привстал на цыпочки.

— Это еще что за штуки!— сказал он, увидав целующихся, и швырнул в них туфлей как раз в ту минуту, когда свинопас получал от принцессы восемьдесят шестой поцелуй.— Вон!— закричал рассерженный император и выгнал из своего государства и принцессу и свинопаса.

Принцесса стояла и плакала, свинопас бранился, а дождик так и лил на них.

— Ах, я несчастная!— плакала принцесса.— Что бы мне выйти за прекрасного принца! Ах, какая я несчастная!

А свинопас зашел за дерево, стер с лица черную и бурую краску, сбросил грязную одежду и явился перед ней во всем своем королевском величии и красе, и так он был хорош собой, что принцесса сделала реверанс.

— Теперь я только презираю тебя!— сказал он.— Ты не захотела выйти за честного принца! Ты не оценила соловья и розу, а свинопаса целовала за игрушки! Поделом же тебе!

И он ушел к себе в королевство, крепко захлопнув за собой дверь. А ей оставалось только стоять да петь:

Ах, мой милый Августин,
Все прошло, прошло, прошло!

СОЛОВЕЙ

В Китае, как ты знаешь, и сам император, и все его подданные — китайцы. Дело было давно, конечно, но потому-то и стоит послушать эту историю, пока она совсем не забудется! В целом мире не нашлось бы дворца лучше императорского; он весь был из драгоценного фарфора, зато такой хрупкий, что страшно было до него дотронуться. В саду росли чудеснейшие цветы; к самым лучшим из них были привязаны серебряные колокольчики — они все время звенели, чтобы никто не прошел мимо, не обратив внимания на цветы. Вот как тонко было придумано! Сад тянулся далеко-далеко, так далеко, что и сам садовник не знал, где он кончается. Из сада можно было попасть прямо в густой лес; в чаще его таились глубокие озера, и доходил он до самого синего моря. Корабли проплывали под нависшими над водой кронами деревьев, и в ветвях их жил соловей, который пел так чудесно, что им заслушивался, забывая о своем неводе, даже бедный, удрученный заботами рыбак. «Господи, как хорошо!» — вырывалось у рыбака, но потом бедняк опять принимался за свое дело и забывал о соловье, а на следующую ночь снова заслушивался его пением и повторял то же самое: «Господи, как хорошо!»

Со всех концов света стекались в столицу императора путешественники; все они дивились на великолепный дворец и на сад, но, услышав пение соловья, говорили: «Вот это лучше всего!»

Возвращаясь домой, путешественники рассказывали обо всем виденном; ученые описывали столицу, дворец и сад императора, но не только не забывали упомянуть о соловье, а даже считали его чудом из чудес; поэты слагали в честь крылатого певца, жив-

шего в лесу, на берегу синего моря, прекраснейшие стихи.

Книги расходились по всему свету, и вот некоторые из них дошли и до самого императора. Он восседал в своем золотом кресле, читал-читал и поминутно кивал головой — ему очень приятно было читать похвалы своей столице, дворцу и саду. «Но соловей лучше всего!» — стояло в книге.

— Что такое? — удивился император. — Соловей? А я ведь и не знаю его! В моем государстве и даже в моем собственном саду живет такая удивительная птица, а я ни разу и не слыхал о ней! Вычитать такое из книг!

И он вызвал к себе первого из своих приближенных; а тот напускал на себя такую важность, что, если кто-нибудь из людей ниже рангом осмеливался заговорить с ним или спросить его о чем-нибудь, отвечал только: «Пф!» — а это ведь ровно ничего не означает.

— Оказывается, у нас здесь есть замечательная птица по имени соловей. Ее считают главной достопримечательностью моего великого государства! — сказал император. — Почему же мне ни разу не доложили о ней?

— Я даже и не слыхал о ней! — отвечал первый приближенный. — Она никогда не была представлена ко двору!

— Я желаю, чтобы она была здесь и пела предомной сегодня же вечером! — сказал император. — Весь свет знает, что у меня есть, а сам я не знаю!

— И слыхом не слыхивал о такой птице! — повторил первый приближенный. — Но я разыщу ее! Легко сказать! А где ее разыщешь?

Первый приближенный императора бегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, но никто из встречаемых, к кому он ни обращался с расспросами, и не слыхал о соловье. Тогда первый приближенный побежал назад к императору и доложил, что соловья скорее всего выдумали книжные сочинители.

— Ваше величество не должны верить всему, что пишут в книгах: все это сказки, так сказать, черная магия!..

— Но ведь эта книга прислана мне самим могущественным императором Японии, и в ней не может

быть неправды! Я хочу слышать соловья! Он должен быть здесь сегодня же вечером! Я объявляю ему мое высочайшее благоволение! Если же его не будет здесь в назначенное время, я прикажу бить всех придворных после ужина палками по животу!

— Тзинг-пе!— сказал первый приближенный и опять забегал вверх и вниз по лестницам, по коридорам и залам; с ним бегала и добрая половина придворных,— никому не хотелось отвратить палок. У всех на языке был один вопрос: что это за соловей, которого знает весь свет, а при дворе ни одна душа не знает.

Наконец на кухне нашли одну бедную девочку, которая сказала:

— Господи, соловей! Я его хорошо знаю. Как он удивительно поет! Мне позволено относить по вечерам моей бедной больной матушке остатки обеда. Живет матушка у самого моря, и вот, когда на обратном пути я сажусь отдохнуть в лесу, я каждый раз слышу пение соловья! Слезы так и текут у меня из глаз, а на душе становится так радостно, словно матушка целует меня!..

— Судомочка!— сказал первый приближенный императора.— Я определю тебя на штатную должность при кухне и выхлопочу тебе позволение посмотреть, как кушает император, если ты сведешь нас к соловью! Он приглашен сегодня вечером ко двору!

И вот все отправились в лес, где обыкновенно распевал соловей; отправилась туда чуть не половина всех придворных. Шли, шли, вдруг где-то замычала корова.

— О!— сказали молодые придворные.— Вот он! Какая, однако, сила! И это у такого маленького созданища! Но мы как будто слышали его и раньше!

— Это мычит корова!— сказала девочка.— Нам еще далеко до места.

В пруду заквакали лягушки.

— Чудесно!— сказал придворный бонза.— Теперь я слышу! Точь-в-точь наши колокольчики в мельне!

— Нет, это лягушки!— сказала опять девочка.— Но теперь, я думаю, мы скоро услышим и его!

И вот запел соловей!

— Вот это соловей!— сказала девочка.— Слушайте, слушайте! А вот и он сам!— И она указала пальцем на маленькую серенькую птичку, сидевшую в ветвях.

— Неужели!— сказал первый приближенный императора.— Никак не воображал себе его таким! Самая простая наружность! Верно, он потерял все свои краски при виде стольких знатных особ!

— Соловушка!— громко закричала девочка.— Наш милостивый император желает послушать тебя!

— Очень рад!— ответил соловей и запел так, что просто чудо.

— Словно стеклянные колокольчики звенят!— сказал первый приближенный.— Смотрите, как трепещет это маленькое горлышко! Удивительно, что мы ни разу не слышали его раньше! Он будет иметь огромный успех при дворе!

— Спеть ли мне императору еще?— спросил соловей. Он думал, что тут был и сам император.

— Несравненный соловушка!— сказал первый приближенный императора.— На меня возложено приятное поручение пригласить вас на имеющий быть сегодня вечером придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы очаруете его величество дивным пением!

— Пение мое гораздо лучше слушать в зеленом лесу!— сказал соловей, но, узнав, что император желает, чтобы он явился во дворец, охотно согласился туда отправиться.

При дворе шли приготовления к празднику. Пол и стены дворца ведь были фарфоровые, и в них отражались тысячи золотых фонариков; в коридорах рядами были расставлены чудеснейшие цветы с колокольчиками, которые от всей этой беготни и сквозняка звенели так, что не слышно было человеческого голоса. Посреди огромной залы, где сидел император, возвышался золотой шест для соловья. Все придворные были в полном сборе; позволили стоять в дверях и девочке-судомойке,— теперь ведь она получила звание придворной поварихи. Все были разодеты в пух и прах и глаз не сводили с маленькой серенькой птички, которой император милостиво кивнул головой.

И соловей запел так дивно, что у императора выступили на глазах слезы и покатались по щекам. Тогда соловей залился еще громче, еще слаще; пение его так и хватало за сердце. Император был очень доволен и сказал, что жалует соловью свою золотую туфлю на шею. Но соловей поблагодарил и отказался, говоря, что вполне награжден и без того.

— Я видел на глазах императора слезы — какой еще награды желать мне! В слезах императора дивная сила! Видит бог — я награжден с избытком!

И опять зазвучал его чудный, сладкий голос.

— Очаровательное кокетство! — сказали придворные дамы, — они в этом знали толк, — и набрали в рот воды, чтобы она булькала у них в горле, когда они будут с кем-нибудь разговаривать, — они думали, что тоже будут заливаться, как соловей. Даже слуги и служанки объявили, что очень довольны, а это ведь много значит: известно, что труднее всего угодить этим особам. Да, соловей положительно имел успех.

Его оставили при дворе, отвели ему особую комнату, разрешили гулять в саду два раза в день и раз ночью в сопровождении двенадцати слуг; каждый держал его за привязанную к его лапке шелковую ленточку. Большое удовольствие было от такой прогулки!

Весь город заговорил об удивительной птице, и если встречались на улице двое знакомых, один сейчас же говорил: «соло», а другой подхватывал: «вей», после чего оба вздыхали, сразу поняв друг друга.

Одиннадцать сыновей мелочных лавочников получили имена в честь соловья, но ни у одного из них не было и признака голоса.

Раз императору доставили большой пакет с надписью: «Соловей».

— Ну, вот еще новая книга о нашей знаменитой птице, — сказал император.

Но то была не книга, а затейливая штучка: в ящичке лежал искусственный соловей, похожий на настоящего, но весь осыпанный бриллиантами, рубинами и сапфирами. Стоило завести птицу — и она начинала петь одну из мелодий настоящего соловья и поводить хвостиком, который отливал золотом и серебром. На шейке у птицы была ленточка с над-



писью: «Соловей императора японского жалок в сравнении с соловьем императора китайского».

— Какая прелесть! — сказали все придворные, и явившегося с птицей посланца императора японского сейчас же утвердили в звании «чрезвычайного императорского поставщика соловьев».

— Теперь пусть-ка споют вместе, вот будет дуэт!

Но дело не пошло на лад: настоящий соловей пел по-своему, а искусственный — как заведенная шарманка.

— Это не его вина! — сказал придворный капельмейстер. — Он безукоризненно держит такт и поет совсем по моей методе.

Искусственного соловья заставили петь одного. Он имел такой же успех, как настоящий, но был куда красивее, весь так и блестел драгоценностями!

Тридцать три раза пропел он одно и то же и не устал. Окружающие охотно послушали бы его еще раз, да император сказал, что пусть теперь споет живой соловей. Но куда же он девался?

Никто и не заметил, как он вылетел в открытое окно и унесся в свой зеленый лес.

— Что же это, однако, такое! — огорчился император, а придворные назвали соловья неблагодарной тварью.

— Лучшая-то птица у нас все-таки осталась! — сказали они, и искусственному соловью пришлось петь то же самое в тридцать четвертый раз.

Никто, однако, не успел еще выучить эту мелодию наизусть, такая она была трудная. Капельмейстер расхваливал искусственную птицу и уверял, что она превосходит настоящую не только оперением и бриллиантами, но и внутренними своими достоинствами.

— Что касается живого соловья, высокий повелитель мой, и вы, милостивые господа, то никогда ведь нельзя знать заранее, что именно он вздумает петь, у искусственного же все известно наперед! Можно даже отдать себе полный отчет в его искусстве, можно разобрать его и показать его внутреннее устройство — все это плод человеческого ума, расположение и действие валиков, и только!

— И я того же мнения! — сказал каждый из присутствовавших, и капельмейстер получил разреше-

ние показать птицу в следующее же воскресенье народу.

— Надо и народу послушать ее! — сказал император.

Народ послушал и был очень доволен, как будто вдосталь напился чаю, — это ведь совершенно по-китайски. От восторга все в один голос восклицали: «О!», поднимали вверх указательные пальцы и кивали головами. Но бедные рыбаки, слышавшие настоящего соловья, говорили:

— Недурно и даже похоже, но все-таки не то! Чего-то недостает в его пении, а чего — мы и сами не знаем!

Живого соловья объявили изгнанным из пределов государства.

Искусственная птица заняла место на шелковой подушке возле императорской постели. Кругом нее были разложены все пожалованные ей драгоценности. Величали же ее теперь «императорского ночного столика первым певцом с левой стороны», — император считал более важною именно ту сторону, на которой находится сердце, а сердце находится слева даже у императора. Капельмейстер написал об искусственном соловье двадцать пять томов, ученых-переученых и полных самых мудреных китайских слов.

Придворные, однако, говорили, что читали и понимали все, иначе ведь их прозвали бы дураками и отколотили палками по животу.

Так прошел целый год; император, весь двор и даже весь народ знали наизусть каждую нотку искусственного соловья, но именно поэтому пение его им так и нравилось: они сами могли теперь подпевать птице. Уличные мальчишки пели: «Ци-ци-ци! Клюк-клюк-клюк!» Сам император напевал то же самое. Ну что за прелесть!

Но раз вечером искусственная птица только распелась перед императором, лежавшим в постели, как вдруг внутри ее что-то зашипело, зажужжало, колеса зашвертелись, и музыка смолкла.

Император вскочил и послал за придворным медиком, но что же мог тот поделать! Призвали часовщика, и он после долгих разговоров и осмотров кое-как исправил птицу, но сказал, что с ней надо обхо-

даться крайне бережно: зубчики поистерлись, а поставить новые так, чтобы пение звучало по-прежнему, верно, будет нельзя. Вот так беда! Только раз в год позволили теперь заводить птицу. И это было очень грустно, но капельмейстер произнес краткую, зато полную мудреных слов речь, в которой доказывал, что птица ничуть не сделалась хуже. Ну, значит, так оно и было.

Прошло еще пять лет, и страну постигло большое горе: все так любили императора, а он, как говорили, был при смерти. Провозгласили уже нового императора, но народ толпился на улице и спрашивал первого приближенного императора о здоровье своего старого повелителя.

— Пф! — отвечал приближенный и покачивал головой.

Бледный, похолодевший лежал император на своем великолепном ложе; все придворные уже считали его умершим, и каждый спешил поклониться новому императору. Слуги бегали взад и вперед, перекладываясь новостями, а служанки проводили приятные часы в болтовне за чашкой чая. По всем залам и коридорам были разостланы ковры, чтобы не слышно было шума шагов, и во дворце стояла мертвая тишина. Но император еще не умер, хотя и лежал на своем великолепном ложе, под бархатным балдахинном с золотыми кистями, совсем недвижимый и мертвенно-бледный. Сквозь раскрытое окно глядел на императора и искусственного соловья ясный месяц.

Бедный император почти не мог вздохнуть, и ему казалось, что кто-то сидит у него на груди. Он приоткрыл глаза и увидел, что на груди у него сидела Смерть. Она надела на себя корону императора, забрала в одну руку его золотую саблю, а в другую — богато расшитое знамя. Из складок бархатного балдахина выглядывали какие-то странные лица: одни гадкие, другие милые. Это выползали злые и добрые дела императора, потому что Смерть сидела у него на груди.

— Помнишь это? — шептали они по очереди. — Помнишь это? — и рассказывали ему так много, что на лбу у него выступил холодный пот.

— Я не знал, — твердил император. — Музыка сюда, музыку! Большие китайские барабаны! Я не хочу слышать, что они говорят.

Но они все продолжали, а Смерть, как китаец, кивала на их речи головой.

— Музыку сюда, музыку! — кричал император. — Пой хоть ты, милая, славная, золотая птичка! Я одарил тебя золотом и драгоценностями, я повесил тебе на шею свою золотую туфлю, пой же, пой!

Но птица молчала — некому было завести ее, а иначе она петь не могла. Смерть продолжала смотреть на императора своими большими пустыми глазами. В комнате было тихо-тихо.

Вдруг за окном раздалось чудное пение. То прилетел, узнав о болезни императора, утешить и ободрить его живой соловей. Он пел, и призраки бледнели, кровь быстрее прилиwała к сердцу императора; сама Смерть заслушалась пением соловья и все повторяла: «Пой, пой еще, соловушка!»

— А ты отдашь мне за это драгоценную саблю? А богато расшитое знамя? А корону? — спрашивал соловей у Смерти.

И Смерть отдавала одну драгоценность за другою, а соловей все пел. Вот он запел наконец о тихом кладбище, где цветут белые розы, благоухает бузина и свежая трава орошается слезами живых, оплакивающих усопших... Смерть вдруг охватила такая тоска по своему саду, что она свилась в белый холодный туман и вылетела в окно.

— Спасибо, спасибо тебе, милая птичка! — сказал император. — Я помню тебя! Я изгнал тебя из моего государства, а ты отогнала от моей постели ужасные призраки, отогнала саму Смерть! Чем мне вознаградить тебя?

— Ты уже вознаградил меня раз и навсегда! — сказал соловей. — Я видел слезы на твоих глазах в первый раз, как пел перед тобою, — этого я не забуду никогда! Слезы — вот драгоценнейшая награда для сердца певца. Засни теперь и просыпайся здоровым и бодрым! Я буду баюкать тебя своею песней!

И он запел опять, а император заснул здоровым, благодатным сном.

Когда он проснулся, в окна уже светило солнце. Никто из его слуг не заглядывал к нему; все думали, что он умер, один соловей сидел у окна и пел.

— Ты должен остаться у меня навсегда! — сказал император. — Ты будешь петь, только когда сам захочешь, а искусственную птицу я разобью вдребезги!

— Не надо! — сказал соловей. — Она принесла столько пользы, сколько могла! Пусть она остается у тебя по-прежнему! Я же не могу жить во дворце. Позволь мне только прилетать к тебе, когда захочу. Тогда я каждый вечер буду садиться у твоего окна и петь тебе; моя песня и порадует тебя, и заставит задуматься! Я буду петь тебе о счастливых и несчастных, о добре и о зле, что таятся вокруг тебя. Маленькая певчая птичка летает повсюду, залетает и под крышу бедного рыбака и крестьянина, которые живут вдали от тебя. Я люблю тебя за твое сердце больше, чем за твою корону, и все же корона окружена каким-то особым священным обаянием! Я буду прилетать и петь тебе. Но обещай мне одно!..

— Хорошо! — сказал император и встал во всем своем царственном величии; он успел уже надеть на себя свое императорское одеяние и прижимал к сердцу тяжелую золотую саблю.

— Об одном прошу тебя — не говори никому, что у тебя есть маленькая птичка, которая рассказывает тебе обо всем. Так дело пойдет лучше!

И соловей улетел.

Слуги пошли поглядеть на мертвого императора и застыли на пороге, а император сказал им:

— Здравствуйте!

СВИНЬЯ-КОПИЛКА

Ну и много же игрушек было в детской... А высоко над ними, на шкафу, стояла копилка — глиняная свинья. В спине у нее, как и полагается, была прорезана щель для монет. Сначала эта щель была узенькая, но потом ее расширили перочинным ножиком, чтобы в нее пролезали и крупные монеты. Две такие монеты уже лежали на дне ее брюшка, а уж про мелочь и говорить нечего. Мелочью свинья, как гово-

рится, была битком набита, так что и брякнуть не могла. Чего же больше? Ни одна свинья с деньгами не могла бы пожелать лучшей участи.

Итак, свинья стояла на шкафу и смотрела на всех в детской сверху вниз. Она знала, что денег у нее по горло и она может скупить все игрушки, которые лежат и стоят внизу. А сознавать это довольно приятно — особенно свинье.

Игрушки знали, чего стбит свинья и что она о себе думает, хотя и не говорили об этом. Да и к чему? У них и без того было о чем поболтать.

И вот из полуоткрытого ящика комода выглянула большая кукла. Она была уже не слишком молода, и шея у нее была подклеена.

Кукла поглядела направо, налево и сказала:

— Давайте играть в людей. От скуки и это не худо! — Все засуетились. Даже картины — и те закачались на стенах и показали свою оборотную сторону, но никто не стал возражать против этого.

Пробило двенадцать часов. В окна заглядывал месяц и светил всюду, не требуя за освещение никакой платы. Одним словом, было самое подходящее время начинать игру.

Играть пригласили всех, даже детскую коляску, хотя она была очень большая и неуклюжая. Скорее мебель, чем игрушка.

— Что ж, каждому — свое, — говорила коляска. — Не всем же быть знатными господами. Надо кому-нибудь и дело делать.

Только одной свинье-копилке послали приглашительный билет. Ее нельзя было позвать запросто, — она стояла так высоко над всеми, что могла и не слышать.

Впрочем, и на письменное приглашение свинья не соизволила ответить, придет она или не придет. Да, в конце концов, так и не пришла.

В самом деле, зачем ей спускаться вниз? Пусть другие позаботятся, чтобы она все видела, не сходя со своего места.

Делать нечего, пришлось исполнить ее желание. Кукольный театр поставили прямо против шкафа, чтобы свинья все видела, не сходя с места.

Праздник решили начать с представления, потом предполагалось чаепитие и наконец веселая дружеская беседа.

Именно с этого и началось. Лошадь-качалка рассказала, как объезжают лошадей и что такое чистота конской породы, детская коляска поговорила о железных дорогах и о поездах, которые будто бы движутся паром. В самом деле, кто же мог об этом судить, если не она... Стенные часы рассуждали по поводу политики — тики-тики! Они были уверены, что идут в ногу со временем, но злые языки утверждали, что они порядком отстают. Бамбуковая тросточка хвалилась своим серебряным колпачком и железным башмачком. Еще бы, она могла считать себя щеголихой с головы до ног! По углам дивана молча лежали две пухленькие, расшитые шелками подушечки. Обе были премиленькие и преглупенькие.

Наконец началась кукольная комедия.

Все сели и приготовились хлопать в ладоши. Те же, у кого не было ладоней, могли щелкать и стучать чем попало.

Впрочем, один бойкий хлыстик наотрез отказался щелкать, когда на сцену выходят пожилые куклы, и сказал, что щелкает только молоденьким, еще не просватанным куколкам.

— Нет, уж если хлопать, так всем, — заявил пистон.

«А мне бы только свой угол! — думала плевательница. — Лишь бы где-нибудь постоять...»

Одним словом, каждый рассуждал по-своему.

Комедия, говоря по правде, была неважная, но актеры играли превосходно.

Они показывались зрителям только своей лучшей — раскрашенной — стороной. А нитки у них были такие длинные, что каждая кукла могла играть выдающуюся роль или, как говорится, выходить из ряда вон.

Зрители были очень растроганы.

Кукла с подклеенной шеей до того размякла, что просто потеряла голову.

Даже свинья-копилка была тронута до того, что ей захотелось сделать что-нибудь хорошее, доброе, — например, упомянуть в своем завещании лучшего из



актеров: пусть его похоронят рядом с нею, когда придет пора...

Короче говоря, все были очень довольны. На радостях даже отказались от чая — и хорошо сделали, потому что его не было. Вместо этого опять принялись болтать. Это называлось у них «играть в людей». Не то, чтоб они передразнивали людей или насмехались над ними. Нет, они просто играли, и каждый при этом думал о себе да еще о том, что скажет о нем свинья с деньгами.

А свинья, подумав о своем завещании и похоронах, уже не могла думать ни о чем другом. «Когда придет пора...» Ах, она приходит неожиданно-негаданно...

Хлоп! Неизвестно отчего, свинья вдруг свалилась со шкафа и разлетелась вдребезги. Монеты раскатились во все стороны. Мелочь при этом крутилась волчком, а большие тяжелые монеты неторопливо катились вдоль половиц. Дольше всех катилась одна — ей давно хотелось постранствовать по белу свету.

Так оно и случилось. Все монеты и монетки разбредлись в разные стороны. А глиняные черепки от свиньи-копилки вымели вместе с мусором.

Но уже на другой день на верхушке шкафа появилась новая глиняная свинья-копилка. В брюхе у нее еще не было ни одной монетки, и поэтому, сколько бы ее ни трясли, она не могла брякнуть, — совсем как та старая свинья, у которой брюхо было до отказа набито деньгами.

Но ведь это было только началом ее истории. А нашей сказке — конец.

ДЕВОЧКА, НАСТУПИВШАЯ НА ХЛЕБ

Вы, конечно, слышали о девочке, которая наступила на хлеб, чтобы не запачкать башмачков, слышали и о том, как плохо ей потом пришлось. Об этом и написано и напечатано.

Она была бедная, но гордая и спесивая девочка. В ней, как говорится, были дурные задатки. Крошкой она любила ловить мух и обрывать у них крылышки; ей нравилось, что мухи из летающих насекомых пре-

вращались в ползающих. Ловила она также майских и навозных жуков, насаживала их на булавки и подставляла им под ножки зеленый листик или клочок бумаги. Бедное насекомое ухватывалось ножками за бумагу, вертелось и изгибалось, стараясь освободиться от булавки, а Инге смеялась:

— Майский жук читает! Ишь как переворачивает листок!

С летами она становилась скорее хуже, чем лучше; к несчастью своему, она была прехорошенькая, и ей хоть и доставались щелчки, да все не такие, какие следовало.

— Крепкий нужен щелчок для этой головы! — говаривала ее родная мать. — Ребенком ты часто топтала мой передник, боюсь, что, выросши, ты растопчешь мне сердце!

Так оно и вышло.

Инге уехала и поступила в услужение к знатым господам, в помещичий дом. Господа обращались с нею как с своею родной дочерью, и в новых нарядах Инге, казалось, еще похорошела, зато и спесь ее все росла да росла. Целый год прожила она у хозяев, и вот они сказали ей:

— Ты бы навестила своих стариков, Инге!

Инге отправилась, но только для того, чтобы показаться родным в полном параде. Она уже дошла до околицы родной деревни, да вдруг увидала, что около пруда стоят и болтают девушки и парни, а неподалеку на камне отдыхает ее мать с охалкой хвоста, собранного в лесу. Инге — марш назад: ей стало стыдно, что у нее, такой нарядной барышни, такая оборванная мать, которая вдобавок сама таскает из лесу хворост. Инге даже не пожалела, что не повидалась с родителями, она только разозлилась.

Прошло еще полгода.

— Надо тебе навесить своих стариков, Инге! — опять сказала ей госпожа. — Вот тебе белый хлеб, снеси его им. То-то они обрадуются тебе!

Инге нарядилась в самое лучшее платье, надела новые башмачки, приподняла платице и осторожно пошла по дороге, стараясь не запачкать башмачков, — ну за это и упрекать ее нечего. Но вот тропинка свернула на болото; идти надо было по грязи. Не долго думая, Инге бросила в грязь свой хлеб, чтобы

наступить на него и перейти лужу, не замочив ног. Но едва она ступила на хлеб одною ногой, а другую приподняла, собираясь шагнуть на сухое место, хлеб начал погружаться с нею все глубже и глубже в землю,— только черные пузыри пошли по луже!

Вот какая история!

Куда же попала Инге? К болотнице в пивоварню. Болотница приходится теткой лесным девам; эти-то всем известны: про них и в книгах написано, и песни сложены, и на картинах их изображали не раз, о болотнице же известно очень мало; только когда летом над лугами подымается туман, люди говорят: «Болотница пиво варит!» Так вот, к ней-то в пивоварню и провалилась Инге, а тут долго не выдержишь! Помойка — светлый, роскошный покой в сравнении с пивоварней болотницы! От каждого чана разит так, что человека тошнит, а таких чанов тут видимо-невидимо, и стоят они плотно-плотно один возле другого; если же между некоторыми и отыщется где щелочка, то тут сейчас наткнешься на съезжившихся в комок мокрых жаб и жирных лягушек. Да, вот куда попала Инге! Очутившись среди этого холодного, липкого, отвратительного живого месива, Инге задрожала и почувствовала, что ее тело начинает коченеть. Хлеб крепко прильнул к ее ногам и тянул ее за собой, как янтарный шарик соломинку.

Болотница была дома; пивоварню посетили в этот день гости: черт и его прабабушка, ядовитая старушка. Она никогда не бывает праздною, даже в гости берет с собою какое-нибудь рукоделие: шьет из кожи башмаки, надев которые человек теряет покой, или вышивает сплетни, или, наконец, вяжет необдуманные слова, срывающиеся у людей с языка,— все во вред и на пагубу людям! Да, чертова прабабушка — мастерица шить, вышивать и вязать!

Она увидела Инге, поправила очки, посмотрела на нее еще и сказала:

— Да она с задатками! Я попрошу вас уступить ее мне на память о сегодняшнем посещении! Из нее выйдет отличный истукан для передней моего правнука!

Болотница уступила ей Инге, и девочка попала в ад,— люди с задатками могут попасть туда и не прямым путем, а окольным!

Передняя уходила в бесконечность; поглядеть вперед — голова закружится, оглянуться назад — тоже. И вся она запружена изнемогающими грешниками, ожидавшими, что вот-вот двери милосердия откроются. Долгонько приходилось им ждать! Большие, жирные, переваливающиеся с боку на бок пауки оплели их ноги тысячетелнею паутиной; она сжимала их, точно клещами, сковывала крепче медных цепей. Кроме того, души грешников терзались вечною мучительною тревогой. Скупой, например, терзался тем, что оставил ключ в замке своего денежного ящика, другие... да и конца не будет, если примемся перечислять терзания и муки всех грешников!

Инге пришлось узнать, как мучительно быть истуканом; ноги ее были словно привинчены к хлебу.

«Вот и будь опрятной! Мне не хотелось запачкать башмачков, и вот каково мне теперь! — говорила она самой себе. — Ишь, таращатся на меня!» Действительно, все грешники глядели на нее; дурные страсти так светились в их глазах, говоривших без слов; ужас брал при одном взгляде на них!

«Ну, на меня-то приятно и посмотреть! — думала Инге. — Я и сама хорошенькая и одета нарядно!» И она постаралась скосить глаза и поглядеть на себя, ведь шея у нее не ворочалась. Ах, как она выпачкалась в пивоварне болотницы! Об этом она и не подумала! Платье ее все сплошь было покрыто слизью, уж вцепился ей в волосы и хлопал ее по шее, а из каждой складки платья выглядывали жабы, лаявшие, точно жирные охрипшие моськи. Очень было неприятно! «Ну, да и другие-то здесь выглядят не лучше моего!» — утешала себя Инге.

Но хуже всего было чувство страшного голода. Неужели ей нельзя нагнуться и отломить кусочек хлеба, на котором она стоит? Нет, спина не сгибалась, руки и ноги не двигались, она вся будто окаменела и могла только поводить глазами во все стороны, даже выворачивать их из орбит и глядеть назад. Фу, как это выходило гадко! И вдобавок ко всему явились мухи и начали ползать по ее глазам взад и вперед; она моргала глазами, но мухи не улетали, — крылья у них были обципаны, и они могли только ползать. Вот была мука! А тут еще этот голод!

Под конец Инге стало казаться, что внутренности ее пожрали самих себя, и внутри у нее стало пусто, ужасно пусто!

— Ну, если это будет продолжаться долго, я не выдержу! — сказала Инге, но выдержать ей пришлось; перемены не наступало.

Вдруг на голову ей капнула горячая слеза, скатилась по лицу на грудь и потом на хлеб; за нею другая, третья, целый град слез. Кто же мог плакать об Инге?

А разве у нее не оставалось на земле матери? Горькие слезы матери, проливаемые ею из-за своего ребенка, всегда доходят до него, но не освобождают его, а только жгут, увеличивая его муки. Ужасный, нестерпимый голод был, однако, хуже всего! Топтать хлеб ногами и не быть в состоянии отломить от него хоть кусочек! Ей казалось, что все внутри ее пожрало само себя, и она стала тонкою, пустою тростинкой, вытягивавшею в себя каждый звук. Она явственно слышала все, что говорили о ней там, наверху, а говорили-то одно дурное. Даже мать ее, хоть и горько, искренно оплакивала ее, все-таки повторяла: «Спесь до добра не доводит. Спесь и сгубила тебя, Инге! Как ты огорчила меня!»

И мать Инге и все там, наверху, уже знали, что она наступила на хлеб и провалилась сквозь землю. Однако пастух видел все это с холма и рассказал другим.

— Как ты огорчила свою мать, Инге! — повторяла мать. — Да я другого и не ждала!

«Лучше бы мне не родиться на свет! — думала Инге. — Какой толк из того, что мать теперь хнычет обо мне!.. Воспитывали бы меня получше, построже! — думала Инге. — Выгоняли бы из меня пороки, если они во мне сидели!»

Слышала она и песню, которую сложили о ней люди, песню о спесивой девочке, наступившей на хлеб, чтобы не запачкать башмаков. Ее распевали по всей стране.

«Чего только мне не приходится выслушивать! Как я страдаю за мою провинность! — думала Инге. — Пусть бы и другие поплатились за свои! А скольким бы пришлось! У, как я терзаюсь!»

И душа Инге становилась еще грубее, еще жесточеннее.

— В таком обществе, как здесь, лучше не станешь! Да я и не хочу! Ишь, таращатся на меня! — говорила она и вконец озлобилась на всех людей. — Обрадовались, нашли теперь о чем галдеть! У, как я терзаюсь!

Слышала она также, как историю ее рассказывали детям...

— Она такая гадкая! Пусть теперь помучается хорошенько! — говорили дети.

Только одно дурное слышала о себе Инге из детских уст.

Но вот раз, терзаясь от голода и злобы, слышит она опять свое имя и свою историю. Ее рассказывали одной невинной маленькой девочке, и малютка вдруг залилась слезами о спесивой, суетной Инге.

— И неужели она никогда не вернется сюда, наверх? — спросила малютка.

— Никогда! — ответили ей.

— А если она попросит прощения, обещает никогда больше так не делать?

— Да она вовсе не хочет просить прощения!

— Ах, как бы мне хотелось, чтобы она попросила прощения! — сказала девочка и долго не могла утешиться. — Я бы отдала свой кукольный домик, только бы ей позволили вернуться на землю! Бедная, бедная Инге!

Слова эти дошли до сердца Инге, и ей стало как будто полегче: в первый раз нашлась живая душа, которая сказала: «Бедная Инге!»... Какое-то страшное чувство охватило душу Инге; она бы, кажется, заплакала сама, да не могла, и это было новым мучением.

На земле годы летели стрелою, под землею же все оставалось по-прежнему. Инге слышала свое имя все реже и реже, — на земле вспоминали о ней все меньше и меньше. Но однажды долетел до нее вздох: «Инге! Инге! Как ты огорчила меня! Я всегда это предвидела!» Это умирала мать Инге.

Слышала она иногда свое имя и из уст старых хозяев. Хозяйка, впрочем, выражалась всегда смиренно: «Может быть, мы еще свидимся с тобою, Инге! Никто не знает, куда попадет!»

Но Инге-то знала, что ее почтенной госпоже не попасть туда, куда пошла она.

Медленно, мучительно медленно ползло время.

И вот Инге опять услышала свое имя и увидела, как над нею блеснули две яркие звездочки: это закрылась на земле пара кротких очей. Прошло уже много лет с тех пор, как маленькая девочка неутешно плакала о «бедной Инге»; малютка успела вырасти, состариться... В последнюю минуту, когда в душе вспыхивают ярким светом воспоминания целой жизни, вспомнились умирающей и ее горькие слезы об Инге... И душа Инге как бы переродилась от этой неожиданной любви к ней ... Жалость к самой себе наполнила ее: ей казалось, что двери милосердия останутся для нее запертыми на веки вечные! И вот едва она с сокрушением осознала это, в подземную пропасть проник луч света, сильнее солнечного, который растопляет снеговика, слепленного во дворе мальчишками, и быстрее, чем тает на теплых губах ребенка снежинка, растаяла окаменелая оболочка Инге. Маленькая птичка молнией взвилась из глубины на волю, но, очутившись на белом свете, она съезжилась от страха и стыда, — она всех боялась и стыдилась и поспешно спряталась в темную трещину в какой-то полуразрушенной стене. Тут она и сидела, съезжившись, дрожа всем телом, не издавая ни звука, — у нее и не было голоса. Долго сидела она так, прежде чем осмелилась оглядеться и полюбоваться всем, что ее окружало. Да, было чем полюбоваться! Воздух был свеж и мягок, ярко сиял месяц, деревья и кусты благоухали; в уголке, где укрылась птичка, было так уютно, а платьице из перышек на ней было такое чистенькое, нарядное. Какая любовь, какая красота были разлиты в мире! И все мысли, что шевелились в груди птички, готовы были вылиться в песне, но птичка не могла петь, как ей хотелось этого; не могла она ни прокуковать, как кукушка, ни зацелкать, как соловей...

Настал Новый год! Крестьянин поставил у забора шест и привязал к верхушке его необмолоченный сноп овса — пусть и птички весело справят праздник рождества!

В рождественское утро встало солнце и осветило сноп; живо налетели на угощение щелбетуны птички.

Из расщелины в стене тоже раздалось: пи-пи! Мысль вылилась в звук, слабый писк был настоящим гимном радости; мысль готовилась воплотиться в добром деле, и птичка вылетела из своего убежища...

Зима стояла суровая, воды были скованы толстым льдом, для птиц и зверей лесных наступили трудные времена. Маленькая пташка летела над дорогой, отыскивая и находя в снежных бороздах, проведенных санями, зернышки, а возле стоянок для кормежки лошадей — крошки хлеба; но сама она съедала всего только одно зернышко, одну крошку, а затем сзывала кормиться других голодных воробышков. Летала она и в города, осматривалась кругом и, увидев накрошенные из окна милосердной рукой кусочки хлеба, тоже съедала лишь один, а все остальные отдавала другим.

За зиму птичка собрала и роздала так много хлебных крошек, что все они вместе весили столько же, сколько хлеб, на который наступила Инге, чтобы не запачкать башмаков. И когда была найдена и отдана последняя крошка, серые крылья птички превратились в белые и широко распустились.

— Вон летит морская ласточка! — сказали дети, увидев белую птичку. Птичка то ныряла в волны, то взвивалась навстречу солнечным лучам и вдруг исчезла в этом сиянии. Никто не видал, куда она делась.

— Она улетела на солнышко! — сказали дети.

ПРЫГУНЫ

Блоха, кузнечик и гусек-скакунок¹ вздумали раз посмотреть, кто из них выше прыгнет, и пригласили прийти полюбоваться на такое диво весь свет — всех, кто захочет. И вот три изрядных прыгуна сошлись вместе в одной комнате.

— Я выдам свою дочку за того, кто прыгнет выше всех! — сказал король. — Обидно было бы таким молдцам прыгать задаром!

¹ Гусек-скакунок — игрушка из грудной кости гуся.

Сначала вышла блоха. Она держалась в высшей степени мило и раскланялась на все стороны: в жилах ее текла голубая кровь, и она вообще привыкла иметь дело только с людьми, а ведь это что-нибудь да значит!

Потом вышел кузнечик. Он был, конечно, потяжелее весом, но тоже очень приличен на вид и одет в зеленый мундир — он и родился в мундире. Кузнечик говорил, что происходит из очень древнего рода, из Египта, а потому в большой чести в здешних местах; его взяли прямо с поля и посадили в трехэтажный карточный домик, который был сделан из одних фигурных карт, обращенных лицом вовнутрь. А окна и двери в нем были прорезаны в туловище червонной дамы.

— Я пою, — сказал кузнечик, — да так, что шестнадцать здешних сверчков, которые трещат с самого рождения и все-таки не удостоились карточного домика, послушали меня да и похудели с досады!

Таким образом, и блоха и кузнечик полагали, что достаточно зарекомендовали себя в качестве приличной партии для принцессы.

Гусек-скакунок не сказал ничего, но о нем шел слух, что зато он много думает. Придворный пес, как только обнюхал его, сказал, что он из очень хорошего семейства. А старый придворный советник, который получил три ордена за умение молчать, уверял, что гусек-скакунок наделен пророческим даром: по его спине можно узнать, мягкая или суровая будет зима, а этого нельзя узнать даже по спине самого составителя календарей.

— Я пока ничего не скажу! — сказал старый король. — Но у меня есть свои соображения!

Теперь оставалось прыгать.

Блоха прыгнула, да так высоко, что никто и не уследил, и потому все стали говорить, что она вовсе и не прыгала. Только это было нечестно.

Кузнечик прыгнул вдвое ниже и угодил королю прямо в лицо, и тот сказал, что это очень скверно.

Гусек-скакунок долго стоял и думал, и в конце концов все решили, что он вовсе не умеет прыгать.

— Только бы ему не сделалось дурно! — сказал придворный пес и снова принялся обнюхивать его.

Прыг! И гусек-скакунок маленьким прыжком наискосок очутился прямо на коленях у принцессы, которая сидела на низенькой золотой скамейке.

И тогда король сказал:

— Выше всего — допрыгнуть до моей дочери, вот в чем суть. Но чтобы додуматься до этого, нужна голова, и гусек-скакунок доказал, что она у него есть. И притом с мозгами!

И принцесса досталась гуську-скакунку.

— А все-таки я прыгнула выше всех! — сказала блоха. — Но все равно, пусть остается при своем дурацком гуське с палочкой и смолой! Я прыгнула выше всех, но на этом свете надо иметь фигуру, только тогда тебя заметят!

И блоха поступила добровольцем в чужеземное войско и, говорят, нашла там свою смерть.

Кузнечик возвратился в канаву и стал думать о том, как устроен свет. Он тоже сказал:

— Фигуру, фигуру надо иметь!

И он затянул песенку о своей печальной доле. Из его песни мы и взяли эту историю. Впрочем, она, наверно, выдумана, хоть и напечатана.

СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО

Самый большой лист в наших краях — это, конечно, лист лопуха: наденешь его на животик — вот тебе и передничек, а в дождь положишь на голову — заменит зонтик! Ну и большущий он, этот лопух! И никогда не растет в одиночку — где один, там и много, — такое изобилие! И вся эта роскошь — пища для улиток! А самих улиток, белых, больших, в старину ели важные господа; из улиток приготовлялось фрикасе, и, кушая его, господа приговаривали: «Ах, как вкусно!» Они и вправду воображали, что это ужасно вкусно. Так вот, эти большие белые улитки питались лопухом, поэтому лопух стали сеять.

Была одна старая барская усадьба, где давно уже не ели улиток — все они вымерли. А лопух не вымер, он все рос да рос, заглушая другие растения; все дорожки, все грядки заросли лопухом, так что сад превратился в настоящий «лопуховый лес». Если бы не торчали еще кое-где яблонька или сливовое деревце,

никто бы и не догадался, что прежде тут был сад, — все заполнил лопух.

И в этом лопуховом лесу жила последняя пара старых-престарых улиток. Они и сами не знали, сколько им лет, но отлично помнили, что прежде улиток было много, что сами они очень древней иностранной породы и что весь этот лес был насажен исключительно для них и их родни. Старые улитки ни разу не выходили из своего леса, но знали, что существует место, которое называют «барской усадьбой», а там улиток варят до тех пор, пока они не почернеют, а потом кладут их на серебряное блюдо. Но о дальнейшей судьбе вареных улиток они не знали. Не знали они также и даже не могли себе представить, что значит быть сваренными и лежать на серебряном блюде, — но думали, что это, конечно, замечательно, и главное — аристократично. Ни майский жук, ни жаба, ни дождевой червяк — вообще ни один из тех, кого они спрашивали, — ничего не могли сказать об этом: никому еще не приходилось быть сваренным и положенным на серебряное блюдо!

Старые улитки были самыми именитыми улитками на свете, и они отлично знали это; знали также, что лопуховый лес растет только для них, а усадьба существует для того, чтобы они могли свариться и возлечь на серебряное блюдо.

Жили улитки очень уединенно и счастливо. Детей у них не было, и они взяли на воспитание улитку из простых. Приемыш их ни за что не хотел расти, — он был ведь обыкновенной, простой породы, — но старикам, особенно улитке-матери, все казалось, что он заметно увеличивается, и она просила улитку-отца: если он этого не замечает, ощупать раковину малютки. Папаша щупал и соглашался с мамашей.

Как-то раз шел сильный дождь.

— Слышишь, как барабанит по лопуху! — проговорил улитка-отец. — Рум-дум-дум, рум-дум-дум!

— А капли-то какие крупные! — подхватила улитка-мать. — Ишь — текут вниз по стебельку. Увидишь, как здесь станет сыро. Хорошо, что и у нас и у сынка нашего такие прочные домики! Нет, что ни говори, а ведь нам дано больше, чем другим. Сейчас видно, что мы господа! У нас с самого рождения уже есть свои дома, для нас насажен лопуховый лес.

А хотелось бы знать, как далеко он тянется и что там за ним?

— Дальше ничего нет! — сказал улитка-отец. — Лучше, чем у нас, нигде не может быть; я по крайней мере ничего другого и не желаю.

— А мне, — возразила улитка-мать, — хотелось бы попасть в усадьбу, быть сваренной и лежать на серебряном блюде. Этого достаивались все наши предки; и поверь мне, в этом есть что-то возвышенное!

— Усадьба, пожалуй, давно разрушилась, — заметил улитка-отец, — или вся заросла лопухом, так что людям и не выбраться оттуда. Да и к чему торопиться? А ты вечно спешишь, и сынок наш туда же за тобой. Вот уже третий день, как он все ползет вверх по стебельку; просто голова кружится, как погляжу!

— Ну, не ворчи на него! — сказала улитка-мать. — Он ползет осторожно. Он будет утехой нашей старости, а нам, старикам, больше и жить не для чего. Только подумал ли ты, где нам найти ему жену? Как по-твоему, не найдется там дальше, в лопухе, улиток из нашего рода?

— Черные улитки без домов есть, конечно, — ответил улитка-отец, — но ведь это же простолюдины и воображают о себе невесть что! Можно, впрочем, поручить сватовство муравьям: они вечно шныряют повсюду, точно за делом, и уж, верно, знают, где надо искать жену для нашего сынка.

— Знаем, знаем одну красавицу! — заявили муравьи. — Только навряд ли что-нибудь выйдет из сватовства — она ведь королева.

— Это не беда! — сказали старики. — А дом у нее есть?

— Даже дворец! — ответили муравьи. — Изумительный муравейник с семьями ходами!

— Благодарим покорно, — сказала улитка-мать. — Сыну нашему незачем лезть в муравейник! Если у вас нет на примете никого получше, мы поручим сватовство комарам: они летают и в дождь и в солнце и знают лопуховый лес вдоль и поперек.

— Да, у нас есть невеста для вашего сына, — сказали комары. — Совсем недалеко, на кусте крыжов-

ника, сидит в своем домике маленькая улитка. Она девица на выданье и живет совсем одна, всего в ста человеческих шагах отсюда!

— Так пусть придет к нашему сыну, — сказали старики. — У него целый лопуховый лес, а у нее всего-навсего один кустик!

За улиткой послали. Невеста отправилась в путь и благополучно добралась до лопухов уже на восьмой день путешествия, чем и доказала чистоту своей породы.

Отпраздновали свадьбу. Шесть светляков изо всей мочи светили на пиру. Но вообще свадьба была очень скромная — старики не любили гульбы и шума. Зато улитка-мать произнесла превосходную речь. Отец не мог говорить речей, — он был слишком взволнован. И вот старики отдали молодым во владение весь лопуховый лес, сказав при этом, как говорили всю свою жизнь, что лучше этого леса нет ничего на свете, и если молодые будут честно и благородно жить и плодиться в нем, то когда-нибудь им или их детям доведется попасть в усадьбу: там их сварят дочерна и положат на серебряное блюдо!

Затем старики вползли в свои домики и больше уж не показывались, — они заснули. А молодые улитки стали жить да поживать в лесу и оставили после себя большое потомство. Попасть же в усадьбу и очутиться на серебряном блюде им так и не удалось, поэтому они решили, что усадьба совсем разрушилась, а все люди на свете вымерли. Никто им не противоречил, значит, так оно и было. И вот дождь барабанил по лопуху, чтобы позабавить улиток, солнце сияло, чтобы зеленел их лопух, и улитки были очень-очень счастливы! И вся их семья была счастлива. Так-то!

ЖЕНИХ И НЕВЕСТА

Волчок и мячик лежали в ящике вместе с другими игрушками, и волчок сказал мячику:

— Не пожениться ли нам, раз уж мы лежим в одном ящике?

Но мячик, сшитый из сафьяна и воображавший о себе не меньше, чем любая барышня, не захотел ответить на такой вопрос.

На другой день пришел мальчик, хозяин игрушек, и покрасил волчок красной и желтой краской, а в самую серединку вбил медный гвоздик. Вот было красиво, когда волчок завертелся!

— Посмотрите-ка на меня! — сказал он мячику. — Что вы скажете теперь? Не пожениться ли нам? Чем мы не пара? Вы прыгаете, а я танцую. Счастливее нас не было бы никого на свете.

— Вы думаете? — сказал мячик. — Вы, должно быть, не знаете, что мои родители были сафьяновыми туфлями и что внутри меня пробка!

— А я из красного дерева, — сказал волчок, — и меня выточил сам городской судья. У него есть токарный станок, и он с таким удовольствием обтачивал меня!

— Так ли? — усомнился мячик.

— Пусть не коснется меня запускной кнутик, если я лгу! — сказал волчок.

— Вы очень красноречивы, — сказал мячик, — но я все-таки не могу согласиться. Я уже почти невеста! Стоит мне взлететь на воздух, как из гнезда высывается стриж и спрашивает: «Ну как? Ну как?» Мысленно я всякий раз говорю «да», — значит, дело почти слажено. Но я обещаю вам, что никогда не забуду вас.

— Вот еще! Очень нужно! — сказал волчок; и они перестали разговаривать друг с другом.

На другой день мячиком стал играть мальчик. Волчок смотрел, как он, точно птица, взвивался в воздух все выше, выше... и, наконец, совсем исчезал из глаз, потом опять падал и, коснувшись земли, снова взлетал кверху, — потому ли, что его влекло туда, или потому, что внутри у него сидела пробка, неизвестно. В девятый раз мячик взлетел и — не вернулся! Мальчик искал, искал его — нет нигде, да и только!

«Я знаю, где мячик! — вздохнул волчок. — В стрижином гнезде, замужем за стрижом!»

И чем больше думал волчок о мячике, тем больше влюблялся. И именно потому любовь его так разгорелась, что мячик предпочел ему другого.

Волчок крутился и пел, но не переставал думать о мячике, который представлялся ему все прекраснее и прекраснее.

Так прошло много лет, и любовь эта стала старой любовью.

Да и сам волчок постарел... Раз его взяли и вызолотили. Никогда еще он не был таким красивым! Он весь стал золотой и кружился и жужжал так, что любо! Замечательно у него это вышло. Вдруг он прыгнул слишком высоко и пропал.

Искали, искали, даже в погреб слазили — нет, нет и нет!

Куда же он девался?

Он прыгнул в помойное ведро! Оно стояло как раз под водосточным желобом и было полно всякой дряни: обгрызенных кочерыжек, щепок, сора.

— Угодил, нечего сказать! — вздохнул волчок. — Тут с меня вся позолота сойдет. И что за компания, в которой я очутился? — и он покосился на длинную кочерыжку и еще на какую-то странную круглую вещь, вроде яблока. Но это было не яблоко, а старый мячик, который много лет пролежал в водосточном желобе, весь промок и, наконец, упал в ведро.

— Слава богу! Наконец-то хоть кто-нибудь из нашего круга, с кем можно поговорить! — сказал мячик, посмотрев на вызолоченный волчок. — Я ведь, в сущности, из сафьяна и сшит девичьими руками, а внутри меня пробка! Но кто скажет это, глядя на меня? Я чуть не вышел замуж за стрижа, да вот попал в водосточный желоб и пролежал там целых пять лет. А это не шутка! Особенно для девицы!

Волчок молчал, — он думал о своей прежней возлюбленной и все больше и больше убеждался, что это она.

Пришла служанка, чтобы опорожнить ведро.

— А, вот где наш волчок! — сказала она.

И волчок опять попал в комнаты и в честь, а о мячике и не вспоминали. Сам волчок никогда больше и не заикался о своей старой любви. Любовь пройдет, если твоя возлюбленная пролежит пять лет в водосточном желобе; и ее ни за что не узнаешь, если встретишься с ней в помойном ведре.

МОТЫЛЕК

Мотылек надумал жениться. Конечно, ему хотелось взять замуж хорошенький цветочек.

Он посмотрел кругом: цветочки сидели на своих стебельках тихо, скромно, как и подобает еще не просватанным барышням; но выбрать среди них невесту было очень трудно — так много их тут росло.

Мотыльку скоро надоело раздумывать, и он похнул к полевой ромашке. Французы зовут ее маргариткой и уверяют, что она умеет ворожить. По крайней мере, влюбленные всегда бегут к ней и обрывают у нее лепесток за лепестком, приговаривая: «Любит? Не любит? Любит всем сердцем? Очень? Чуть-чуть? Ни капли?» или что-нибудь в этом роде, — каждый ведь спрашивает по-своему. И мотылек тоже обратился к ромашке, но не стал обрывать ее лепестки, а перецеловал их, полагая, что всегда лучше действовать лаской.

— Почтенная маргаритка, милая полевая ромашка, мудрейший цветок! — сказал он. — Вы умеете ворожить. Так укажите мне мою суженую! И я почитаюсь. Сразу же.

Но ромашка молчала — она обиделась: ее, девушку, и вдруг назвали «почтенной»! Как вам это нравится?

Мотылек попросил ее еще раз, потом еще, но ответа так и не добился. Это ему надоело, и он полетел свататься.

Дело было ранней весной, всюду цвели подснежники и крокусы.

— Недурны! — сказал мотылек. — Миленькие подросточки! Только... зеленоваты больно!

Мотылек, как все юноши, искал девушек постарше. Потом он оглядел остальные цветы и нашел, что анемоны горьковаты, фиалки сентиментальны, тюльпаны слишком щеголеваты, нарциссы простоваты, липовые цветы малы, да и родни у них пропасть; цветы яблони, правда, похожи на розы, но очень уж они недолговечны — подует ветер, и нет их. Стоит ли тут жениться? Горошек понравился ему больше всех: бело-розовый, кровь с молоком, нежный, изящный и не только красивый, но и домовитый, не брезгует черной работой. Словом, невеста хоть куда! Мотылек

совсем было уж собрался к ней посвататься, да вдруг увидел поблизости стручок с увядшим цветком.

— Это... кто же? — спросил он.

— Сестрица моя! — ответил горошек.

— Значит, и вы такой же станете?

Мотылек испугался и поскорей улетел прочь.

Через изгородь перевешивалась целая толпа каприфоллий; но эти барышни с вытянутыми желтыми физиономиями были ему совсем не по вкусу. Однако что же ему было по вкусу? Подите-ка узнайте!

Весна прошла, прошло и лето; настала осень, а мотылек ни на шаг не подвинулся со сватовством. Расцвели новые цветы в роскошных нарядах, но что толку? С годами сердце все больше и больше начинает тосковать о весенней свежести, об оживляющем аромате юности, а не искать же их у осенних георгинов и мальв! И мотылек полетел к кудрявой мяте.

— Правда, цветы у нее неказистые, — говорил он, — но зато как она благоухает! Ее я и возьму в жены!

И он посватался к мяте.

Однако мята ни листочком не шелохнула, сказала только:

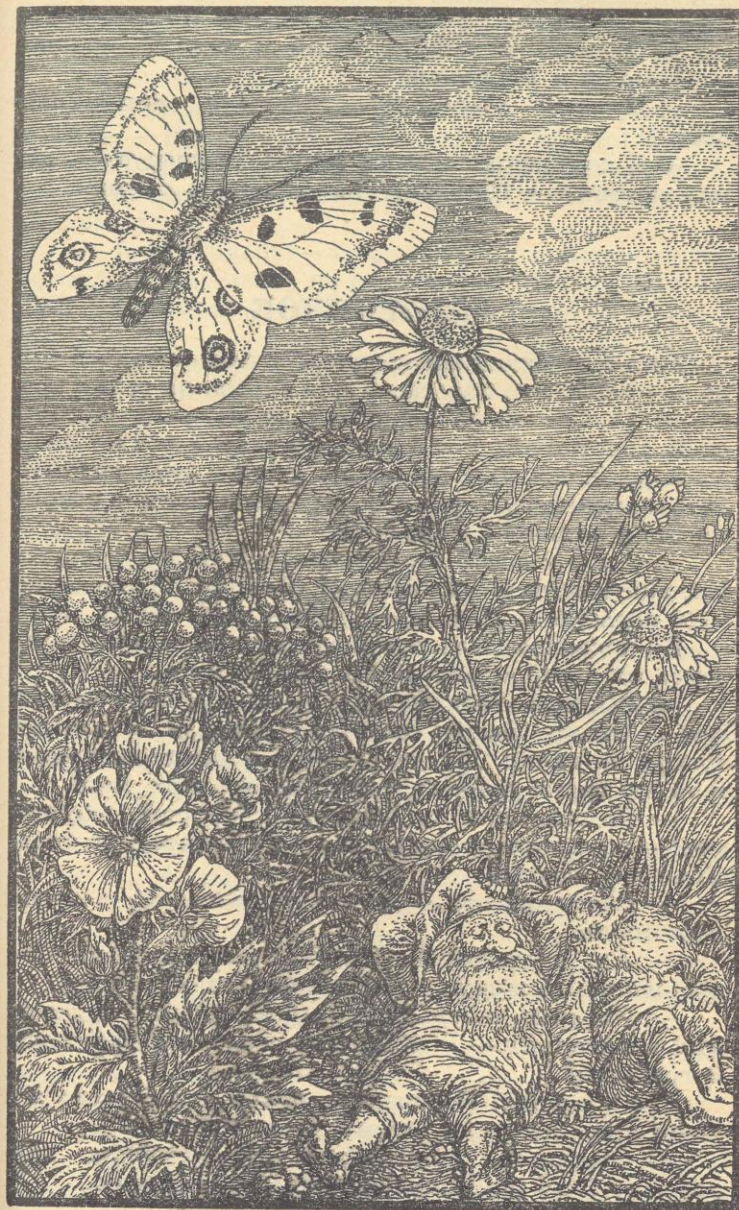
— Дружба, но не больше! Оба мы стары: друзьями еще можем быть, но пожениться?.. Нет, зачем нам быть посмешищем на старости лет?

Так мотылек и улетел ни с чем. Слишком уж он был разборчив, а это не годится, — вот и остался старым холостяком.

Скоро началась непогода с дождем и изморосью, поднялся холодный ветер, дрожь пробрала старые скрипучие ивы. Не сладко было порхать по такому холоду в летнем одеянии! Но мотылек и не порхал: ему как-то удалось залететь в комнату, а там топились печка и было тепло, как летом. Жить бы да поживать здесь мотыльку. Но что за жизнь взаперти?

— Мне нужны солнце, свобода и хоть маленький цветочек! — воскликнул мотылек; потом взлетел и сразу же ударился об оконное стекло.

Тут его увидели, нашли необычайно красивым и посадили на булавку в ящичек с прочими редкостями. А что еще можно было с ним сделать?



— Теперь и я сижу на стебельке, как цветочек! — сказал мотылек. — Не очень-то весело! Но зато похоже на женитьбу: сел на место и сидишь прочно.

Этим он и утешался.

— Плохое утешение! — говорили комнатные цветы.

«Ну, комнатным цветам верить не следует! — думал мотылек. — Слишком они близки к людям».

ВОРОТНИЧОК

Жил-был изящный кавалер; у него только и было за душой, что подставка для снятия сапог, гребенка да еще очень красивый, прямо-таки щегольский, воротничок. Вот о воротничке-то и пойдет речь.

Воротничок уже пожил на свете и стал подумывать о женитьбе. Случилось ему раз попасть в стирку вместе с чулочной подвязкой.

— Ах! — сказал воротничок. — Как вы грациозны, как нежны и милостивы! Никогда не видал ничего подобного! Позвольте узнать ваше имя?

Но подвязка была очень застенчива, вопрос показался ей нескромным, и она промолчала.

— Вы, вероятно, завязка? — продолжал воротничок. — Что-то вроде тесемки, которая стягивает платье на талии. Да, да, я вижу, — вы украшение и в то же время приносите пользу, прелесть моя!

— Пожалуйста, не заводите со мной разговоров! — возмутилась подвязка. — Я, кажется, не подавала вам повода!

— Ваша красота — достаточный повод! — сказал воротничок.

— Ах, сделайте одолжение, не приставайте! — вскричала подвязка. — Вы похожи на мужчину!

— Конечно, я ведь изящный кавалер! — подтвердил воротничок. — У меня есть сапожная подставка и гребенка!

Вот и соврал! Воротничок просто хвастался: эти вещи принадлежали не ему, а его владельцу.

— Отстаньте, пожалуйста, — проговорила подвязка. — Я не привыкла к такому обращению.

— Недотрога! — буркнул воротничок.

Тут его взяли, выстирали, накрахмалили, повесили на спинку стула, высушили на солнце, потом положили на гладильную доску.

Появился горячий утюг-плитка.

— Сударыня! — сказал воротничок утюжной плитке. — Прелестная вдовушка! Как жарко! Я горю! Со мной происходит какое-то превращение! Я сам не свой! Вы прожигаете меня насквозь! Ух!.. Вашу руку и сердце!

— Ах ты рвань! — проговорила утюжная плитка и гордо прокатилась по воротничку. Она воображала себя паровозом, который тащит за собой по рельсам вагоны.

Воротничок слегка обтрепался; и явились ножницы, чтобы подровнять ему края.

— О! — воскликнул воротничок. — Вы, должно быть, выдающаяся танцовщица, прима-балерина! Вы так чудесно двигаете ножками! В жизни не видывал ничего подобного! Кто из женщин может сравниться с вами?

— Знаем! — сказали ножницы.

— Вы достойны быть графиней, — продолжал воротничок. — Но, увы, я владею только хозяином-щеголем, сапожной подставкой и гребенкой... Ах, будь у меня графство...

— Да он, кажется, сватается?! — вскричали ножницы и в гневе так искромсали воротничок, что пришлось его бросить.

«Посвататься разве к гребенке?» — подумал воротничок и обратился к ней:

— Удивительно, как сохранились ваши зубки, фрёкен!.. А вы никогда не думали о замужестве?

— Как не думать! — ответила гребенка. — Я уже невеста сапожной подставки.

— Невеста?! — воскликнул воротничок.

Теперь ему не за кого было свататься, и он стал презирать всякое сватовство.

Время шло, и воротничок вместе с прочим тряпьем попал на бумажную фабрику.

Там собралось большое тряпичное общество.

Тонкие тряпки, как и подобает, держались подалее от грубых. Здесь у каждой нашлось о чем порассказать, а у воротничка, конечно, больше, чем у всех, — он был хвастун, каких мало.

— У меня была уйма невест! — тараторил он. — Так и бегали за мной! Да и как не бегать: ведь подкрахмаленный я выглядел настоящим франтом! У меня даже были собственные сапожная подставка и гребенка, хотя я никогда ими не пользовался... Посмотрели бы вы на меня, когда я, бывало, лежал на боку!.. Никогда не забыть мне моей первой невесты — завязки! Она была такая тонкая, нежная, мягкая! Из-за меня в лохань бросилась! Была еще одна, вдовушка, — вспылала ко мне такой любовью, что до белого каления дошла!.. Но я ее покинул, и она почернела с горя. Еще была прима-балерина, — это она ранила меня, видите? Бедовая была! Моя собственная гребенка тоже любила меня до того, что порастеряла все свои зубы. Словом, немало у меня было разных приключений... Но больше всего мне жаль подвязку, то бишь — завязку, ведь она бросилась в лохань из-за меня. Да, много у меня прегрешений на совести... Пора, пора мне превратиться в белую бумагу!

Желание его сбылось: все тряпье превратилось в белую бумагу, а воротничок — вот в этот самый лист, на котором напечатана его история. Так он был наказан за свое лживое хвастовство.

И нам тоже не мешает вести себя осторожнее: как знать, может, и нам придется когда-нибудь попасть в кучу тряпья и превратиться в белую бумагу, на которой напечатают нашу собственную историю, и тогда пойдешь разносить по белу свету всю подноготную о самом себе!

«ЕСТЬ ЖЕ РАЗНИЦА!»

Стоял май месяц; воздух был еще довольно холодный, но все в природе — и кусты, и деревья, и поля, и луга — говорило о наступлении весны. Луга пестрели цветами; распускались цветы и на живой изгороди, а возле как раз красовалась олицетворение самой весны — маленькая яблонька вся в цвету. Особенно хороша была на ней одна ветка, молоденькая, свеженькая, вся осыпанная нежными полураспустившимися розовыми бутонами. Она сама знала,

как она хороша; сознание красоты было у нее в соку. Ветка поэтому ничуть не удивилась, когда проезжавшая по дороге коляска остановилась прямо перед яблоней и молодая графиня сказала, что прелестнее этой веточки трудно и сыскать, что она живое воплощение юной красавицы весны. Веточку отломил, графиня взяла ее своими нежными пальчиками и бережно повезла домой, защищая от солнца шелковым зонтиком. Приехали в замок, веточку понесли по высокому, роскошно убранному покою. На открытых окнах развеялись белые занавеси, в блестящих, прозрачных вазах стояли букеты чудесных цветов. В одну из ваз, словно вылепленную из свежеснежного снега, поставили и ветку яблони, окружив ее свежими светло-зелеными буковыми ветвями. Прелестно, как красиво было!

Ветка возгордилась, и что же? Это было ведь в порядке вещей!

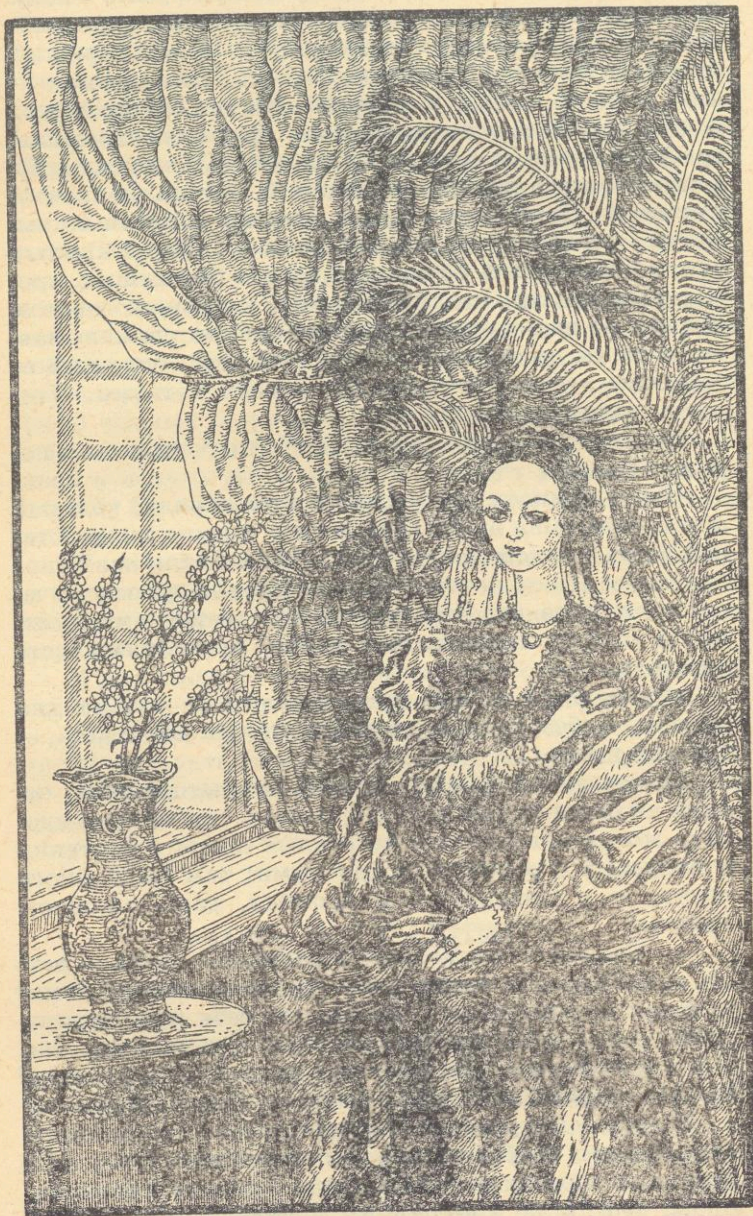
Через комнату проходило много народу; каждый посетитель смел высказывать свое мнение лишь в такой мере, в какой за ним самим признавали известное значение. И вот некоторые не говорили совсем ничего, некоторые же чересчур много; ветка смекнула, что и между людьми, как между растениями, есть разница.

«Одни служат для красоты, другие только для пользы, а без третьих и вовсе можно обойтись», — думала ветка.

Ее поставили как раз против открытого окна, откуда ей были видны весь сад и поле, так что она вдоволь могла наглядеться на разные цветы и растения и подумать о разнице между ними; там было много всяких — и роскошных и простых, даже слишком простых.

— Бедные отверженные растения! — сказала ветка. — Большая в самом деле разница между нами! Какими несчастными должны они себя чувствовать, если только они вообще способны чувствовать, как я и мне подобные! Да, большая между нами разница! Но так и должно быть, иначе все были бы равны!

И ветка смотрела на полевые цветы с каким-то состраданием; особенно жалким казался ей один сорт цветов, которыми кишмя кишели все поля и даже канавы. Никто не собирал их в букеты, — они были



слишком просты, обыкновенны; их можно было найти даже между камнями мостовой, они пробивались отовсюду, как самая последняя сорная трава. И имято у них было прегадкое: чертовы подойники¹.

— Бедное презренное растение! — сказала ветка. — Ты не виновато, что принадлежишь к такому сорту и что у тебя такое гадкое имя! Но и между растениями, как между людьми, должна быть разница.

— Разница! — отозвался солнечный луч и поцеловал цветущую ветку, но поцеловал и желтые чертовы подойники, росшие в поле; другие братья его — солнечные лучи тоже целовали бедные цветочки наравне с самыми пышными...

Солнечный луч, луч света, понимал дело лучше.

— Как же ты близорука, слепа! — сказал он веточке. — Какое это отверженное растение ты так жалеешь?

— Чертовы подойники! — сказала ветка. — Никогда из них не делают букетов, их топчут ногами — слишком уж их много! Семена же их летают над дорогой, как стриженная шерсть, и пристают к платью прохожих. Сорная трава, и больше ничего! Но кому-нибудь да надо быть и сорной травой! Ах, я так благодарна судьбе, что я не из их числа!

На поле высыпала целая толпа детей. Самого младшего принесли на руках и посадили на травку посреди желтых цветов. Малютка весело смеялся, шалил, колотил по траве ножками, кувыркался, рвал желтые цветы и даже целовал их в простоте невинной детской души. Дети постарше обрывали цветы прочь, а пустые внутри стебельки сгибали и вкладывали один их конец в другой, потом делали из таких отдельных колец длинные цепочки и цепи и украшали ими шею, плечи, талию, грудь и голову. То-то было великолепие! Самые же старшие из детей осторожно срывали отцветшие растения, увенчанные перистыми коронками, подносили эти воздушные шерстяные цветочки — своего рода чудо природы — ко рту и старались сдуть разом весь пушок. Кому это удастся, тот получит новое платье еще до Нового года, — так сказала бабушка.

¹ Чертовы подойники — датское название одуванчиков.

Презренный цветок оказывался в данном случае настоящим пророком.

— Видишь? — спросил солнечный луч. — Видишь его красоту, его великое значение?

— Да, для детей! — отвечала ветка.

Приплелась на поле и старушка бабушка и стала выкапывать тупым обломком ножа корни желтых цветов. Некоторые из корней она собиралась употребить на кофе, другие — продать в аптеку на лекарство.

— Красота все же куда выше! — сказала ветка. — Только избранные войдут в царство прекрасного! Есть же разница и между растениями, как между людьми!

Солнечный луч заговорил о бесконечной любви ко всякому земному созданию: все, что одарено жизнью, имеет свою часть во всем — и во времени и в вечности!

— Ну, это только вы так думаете! — сказала ветка.

В комнату вошли люди; между ними была и молодая графиня, поставившая ветку в прозрачную, красивую вазу, сквозь которую просвечивало солнце. Графиня несла в руках цветок, — что же еще? — обернутый крупными зелеными листьями; цветок лежал в них, как в футляре, защищенный от малейшего дуновения ветра. И несла его графиня так бережно, как не несла даже нежную ветку яблони. Осторожно отогнула она зеленые листья, и из-за них выглянула воздушная корона презренного желтого цветка. Его-то графиня так осторожно сорвала и так бережно несла, чтобы ветер не сдул ни единого из тончайших перышек его пушистого шарика. Она донесла его целым и невредимым и не могла налюбоваться красотой, прозрачностью, всем своеобразным построением этого чудо-цветка, вся прелесть которого — до первого дуновения ветра.

— Посмотрите же, что за чудо!.. — сказала графиня. — Я нарисую его вместе с веткой яблони. Все любят ее, но милостью творца и этот бедненький цветочек наделен не меньшею красотой. Как ни различны они, все же оба — дети одного царства прекрасного!

И солнечный луч поцеловал бедный цветочек, а потом поцеловал цветущую ветку, и лепестки ее как будто слегка покраснели.

ГРЕЧИХА

Часто, когда после грозы идешь полем, видишь, что гречиху опалило дочерна, будто по ней пробежал огонь; крестьяне в таких случаях говорят: «Это ее опалило молнией!» Но почему?

А вот что я слышал от воробья, которому рассказывала об этом старая ива, растущая возле гречишного поля, — дерево такое большое, почтенное и старое-престарое, все корявое, с трещиной посредине. Из трещины растут трава и ежевика; ветви дерева, словно длинные зеленые кудри, свешиваются до самой земли.

Поля вокруг ивы были засеяны рожью, ячменем и овсом — чудесным овсом, похожим, когда созреет, на веточки, усеянные маленькими желтенькими канарейками. Хлеба стояли прекрасные, и чем полнее были колосья, тем ниже склоняли они в смиренности свои головы к земле.

Тут же, возле старой ивы, было поле с гречихой; гречиха не склоняла головы, как другие хлеба, а держалась гордо и прямо.

— Я не беднее хлебных колосьев! — говорила она. — Да к тому же еще красивее. Мои цветы не уступят цветам яблони. Любо-дорого посмотреть! Знаешь ли ты, старая ива, кого-нибудь красивее меня?

Но ива только качала головой, как бы желая сказать: «Конечно, знаю!» А гречиха надменно говорила:

— Глупое дерево, у него от старости из желудка трава растет!

Вдруг поднялась страшная непогода; все полевые цветы свернули лепестки и склонили свои головки; одна гречиха красовалась по-прежнему.

— Склони голову! — говорили ей цветы.

— Незачем! — отвечала гречиха.

— Склони голову, как мы!— закричали ей колосья.— Сейчас промчится под облаками ангел бури! Крылья его доходят до самой земли! Он снесет тебе голову, прежде чем ты успеешь взмолиться о пощаде!

— Ну, а я все-таки не склоню головы!— сказала гречиха.

— Сверни лепестки и склони голову!— сказала ей и старая ива.— Не гляди на молнию, когда она раздирает облака! Сам человек не дерзает этого. Ведь мы, бедные полевые злаки, куда ниже, ничтожнее человека!

— Ниже?— сказала гречиха.— Так вот же я возьму и посмотрю на молнию!

И она в самом деле решила на это в своем горделивом упорстве. Тут такая сверкнула молния, как будто весь мир загорелся, когда же снова прояснилось, цветы и хлеба, освеженные и омытые дождем, радостно вдыхали в себя мягкий, чистый воздух. А гречиха была вся опалена молнией, она погибла и никуда больше не годилась.

Старая ива тихо шевелила ветвями на ветру; с зеленых листьев падали крупные дождевые капли; дерево будто плакало, и воробьи спросили его:

— О чем ты? Посмотри, как славно кругом, как светит солнышко, как бегут облака! А что за аромат несетя от цветов и кустов! О чем же ты плачешь, старая ива?

Тогда ива рассказала им о высокомерной гордости и о казни гречихи; гордость всегда ведь бывает наказана. От воробьев же услышал эту историю и я: они прощобетали мне ее как-то раз вечером, когда я просил их рассказать мне сказку.

СУДЬБА РЕПЕЙНИКА

Перед богатой усадьбой был разбит чудесный сад с редкостными деревьями и цветами. Гости, приезжавшие к господам, громко восторгались садом. А горожане и жители окрестных деревень специально являлись сюда по праздникам и воскресеньям и просили позволения осмотреть его. Приходили сю-

да с тою же целью и ученики разных школ со своими учителями.

За забором сада, отделявшим его от поля, рос репейник. Он был такой большой, густой и раскидистый, что по всей справедливости заслуживал название куста. Но никто не любовался им, кроме старого осла, возившего тележку молочницы. Он вытягивал свою длинную шею и говорил репейнику:

— Как ты хорош! Так бы и съел тебя!

Но веревка была коротка, никак не дотянуться до репейника осла.

Как-то раз в саду собралось большое общество: к хозяевам приехали знатные гости из столицы, молодые люди, прелестные девушки, и в их числе одна барышня издалека, из Шотландии, знатного рода и очень богатая.

«Завидная невеста!»— говорили холостые молодые люди и их маменьки.

Молодежь резвилась на лужайке, играла в крокет. Затем все отправились гулять по саду. Каждая барышня сорвала цветок и воткнула его в петлицу своему кавалеру. А юная шотландка долго озиралась кругом, выбирала, выбирала, но так ничего и не выбрала: ни один из садовых цветов не пришелся ей по вкусу. Но вот она глянула через забор, где рос репейник, увидела его иссиня-красные пышные цветы, улыбнулась и попросила сына хозяина дома сорвать ей цветок.

— Это цветок Шотландии!— сказала она.— Он украшает шотландский герб. Дайте его мне!

И он сорвал самый красивый, исколов себе при этом пальцы, словно колючим шиповником.

Барышня продела цветок молодому человеку в петлицу, и он был очень польщен, да и каждый из молодых людей охотно отдал бы свой роскошный садовый цветок, чтобы только получить из рук прекрасной шотландки репейник. Но уж если был польщен хозяйский сын, то что же почувствовал сам репейник? Его словно окропило росой, осветило солнцем...

«Однако я поважнее, чем думал!— сказал он про себя.— Место-то мое, пожалуй, в саду, а не за забором. Вот, право, как странно играет нами судьба! Но

теперь хоть одно из моих детищ перебралось за забор, да еще попало в петлицу!»

И с тех пор репейник рассказывал об этом событии каждому вновь распускавшемуся бутону. А затем не прошло и недели, как репейник услышал новость, и не от людей, не от щebetуний пташек, а от самого воздуха, который воспринимает и разносит повсюду малейший звук, раздающийся в самых глухих аллеях сада или во внутренних покоях дома, где окна и двери стоят настежь. Ветер сказал, что молодой человек, получивший из прекрасных рук шотландки цветок репейника, удостоился получить также руку и сердце красавицы. Славная вышла пара, вполне приличная партия.

— Это я их сосватал! — решил репейник, вспоминая свой цветок, попавший в петлицу. И каждый вновь распускавшийся цветок должен был выслушивать эту историю.

— Меня, конечно, пересадят в сад! — рассуждал репейник. — Может быть, даже посадят в горшок. Тесновато будет, ну да зато честь-то какая!

И репейник так увлекся этой мечтой, что уже с полной уверенностью говорил: «Я попаду в горшок!» — и обещал каждому своему цветку, который распускался вновь, что и он тоже попадет в горшок, а то и в петлицу — уж выше этого попасть было некуда! Но ни один из цветов не попал в горшок, не говоря уже о петлице. Они впивали в себя воздух и свет, солнечные лучи днем и капельки росы ночью, они цвели, принимали визиты женихов — пчел и ос, которые искали приданого — цветочного сока, получали его и покидали цветы.

— Разбойники этикие! — говорил про них репейник. — Так бы и проколол их насквозь, да не могу!

Цветы поникали головками, блекли и увядали, но на смену им распускались новые.

— Вы являетесь как раз вовремя! — говорил им репейник. — Я с минуты на минуту жду пересадки туда, за забор.

Невинные ромашки и мокричник слушали его с глубоким изумлением, искренне веря каждому его слову.

А старый осел, таскавший тележку молочницы, стоял на привязи у дороги и любовно косился на цве-

тущий репейник, но веревка была коротка, никак не добраться ослу до куста.

А репейник так много думал о своем родиче, репейнике шотландском, что под конец уверовал в свое шотландское происхождение и в то, что именно его родители и красовались в гербе страны. Великая была мысль, но отчего бы такому большому репейнику и не иметь великих мыслей?

— Иной раз происходишь из такого знатного рода, что не смеешь и догадываться об этом! — сказала крапива, росшая неподалеку. У нее тоже было смутное ощущение, что при надлежащем уходе и она могла бы превратиться во что-нибудь этакое благородное.

Прошло лето, прошла осень. Листья с деревьев облетели, цветы стали ярче, но почти без запаха. Ученик садовника распевал в саду по ту сторону забора:

Вверх на горку,
Вниз под горку
Пролетает жизнь!

Молоденькие елки в лесу уже начали томиться предрождественской тоской, хотя до рождества было еще далеко.

— А я так все здесь и стою! — сказал репейник. — Словно никому до меня и дела нет, а ведь я устроил свадьбу! Они обручились да и поженились вот уж неделю тому назад! Что ж, сам я шагу не сделаю — не могу!

Прошло еще несколько недель. На репейнике красовался всего лишь один цветок, последний, зато какой большой, какой пышный! Вырос он почти у самых корней, ветер обдавал его холодом, краски его поблекли, и чашечка, большая, словно у цветка артишока, напоминала теперь высеребранный подсолнечник.

В сад вышла молодая пара — муж и жена. Они шли вдоль садового забора, и молодая женщина заглянула через него.

— А вот он, большой репейник! Все еще стоит! — воскликнула она. — Но на нем нет больше цветов!

— А вон, видишь, призрак последнего! — сказал муж, указывая на высеребренную чашечку цветка.

— Все-таки он красив! — сказала она. — Надо велеть вырезать такой на рамке нашего портрета.

Пришлось молодому мужу опять лезть через забор за цветком репейника. Цветок уколол его пальцы — ведь молодой человек обозвал его призраком. И вот цветок попал в сад, в дом и даже в залу, где висел масляный портрет молодых супругов. В петлице у молодого был изображен цветок репейника. Поговорили и об этом цветке и о том, который только что принесли, чтобы вырезать на рамке.

Ветер подхватил этот разговор и разнес далеко-далеко по округе.

— Чего только не приходится переживать! — сказал репейник. — Мой первенец попал в петлицу, мой последыш попадет на рамку! Куда же попаду я?

А осел стоял у дороги и косился на него:

— Подойди ко мне, сладостный мой! Сам я не могу подойти к тебе — веревка коротка!

Но репейник не отвечал. Он все больше и больше погружался в думы. Так он продумал вплоть до рождения и наконец расцвел мыслью:

— Коли детки пристроены хорошо, родители могут постоять и за забором!

— Вот это благородная мысль! — сказал солнечный луч. — Но и вы займете почетное место!

— В горшке или на рамке? — спросил репейник.

— В сказке! — ответил луч.

Вот она, эта сказка!

НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ

Много лет назад жил-был на свете король: он так любил наряжаться, что тратил на новые платья все свои деньги, а парады, театры, загородные прогулки занимали его только потому, что он мог там показаться в новом наряде. На каждый час дня у него было особое платье, и как про других королей говорят: «Король в совете», так про него говорили: «Король в гардеробной».

В столице этого короля жилось очень весело; почти каждый день приезжали иностранные гости, и вот раз явилось двое обманщиков. Они выдали себя за ткачей и сказали, что могут соткать такую чудесную ткань, лучше которой ничего и представить себе

нельзя: кроме необыкновенно красивого рисунка и расцветки, она отличается еще удивительным свойством — становится невидимой для всякого человека, который сидит не на своем месте или непроходимо глуп.

«Да, вот это будет платье! — подумал король. — Тогда ведь я могу узнать, кто из моих сановников не на своем месте и кто умен, а кто глуп. Пусть поскорее соткут для меня такую ткань».

И он дал обманщикам большой задаток, чтобы они сейчас же принялись за дело.

Те поставили два ткацких станка и стали делать вид, будто усердно работают, а у самих на станках ровно ничего не было. Нимало не стесняясь, они требовали для работы тончайшего шелку и чистейшего золота, все это клали себе в карман и просиживали за пустыми станками с утра до поздней ночи.

«Хотелось бы мне посмотреть, как подвигается дело!» — думал король. Но тут он вспоминал о чудесном свойстве ткани, и ему становилось как-то не по себе. Конечно, ему нечего бояться за себя, но... все-таки лучше сначала пошел бы кто-нибудь другой! А между тем молва о диковинной ткани облетела весь город, и всякий горел желанием поскорее убедиться в глупости или непригодности своего ближнего.

«Пошлю-ка я к ним своего честного старого министра, — подумал король. — Уж он-то рассмотрит ткань: он умен и как никто другой подходит к своей должности».

И вот старик министр вошел в залу, где за пустыми станками сидели обманщики.

«Господи помилуй! — подумал министр, тараща глаза. — Да ведь я ничего не вижу!»

Только он не сказал этого вслух.

Обманщики почтительно попросили его подойти поближе и сказать, как нравятся ему узор и краски. При этом они указывали на пустые станки, а бедный министр как ни пялил глаза, все-таки ничего не видел. Да и видеть было нечего.

«Ах ты, господи! — думал он. — Неужели я глуп? Вот уж чего никогда не думал! Упаси господь, кто-нибудь узнает!.. А может, я не гожусь для своей дол-

жности?.. Нет, нет, никак нельзя признаваться, что я не вижу ткани!»

— Что ж вы ничего не скажете нам?— спросил один из ткачей.

— О, это премило!— ответил старик министр, глядя сквозь очки.— Какой узор, какие краски! Да, да, я доложу королю, что мне чрезвычайно понравилась ваша работа!

— Рады стараться!— сказали обманщики и принялись расписывать, какой тут необычный узор и сочетания красок. Министр слушал очень внимательно, чтобы потом повторить все это королю. Так он и сделал.

Теперь обманщики стали требовать еще больше денег, шелку и золота; но они только набивали себе карманы, а на работу не пошло ни одной нитки. Как и прежде, они сидели у пустых станков и делали вид, что ткут.

Потом король послал к ткачам другого достойного сановника. Он должен был посмотреть, как идет дело, и узнать, скоро ли работа будет закончена. С ним было то же самое, что и с первым. Уж он смотрел, смотрел во все глаза, а все равно ничего, кроме пустых станков, не высмотрел.

— Ну, как вам нравится?— спросили его обманщики, показывая ткань и восхваляя узоры, которых и в помине не было.

«Я не глуп,— думал сановник.— Значит, я не на своем месте? Вот тебе раз! Однако нельзя и виду показывать!»

И он стал расхваливать ткань, которой не видел, восхищаясь красивым рисунком и сочетанием красок.

— Премило, премило!— доложил он королю. Скоро весь город заговорил о восхитительной ткани.

Наконец и сам король пожелал полюбоваться диковинкой, пока она еще не снята со станка.

С целою свитой избранных придворных и сановников, в числе которых находились и первые два, уже видевшие ткань, явился король к хитрым обманщикам, ткавшим не покладая рук на пустых станках.

— *Magnifique!*¹ Не правда ли?— вскричали уже побывавшие здесь сановники.— Не угодно ли полюбоваться? Какой рисунок... а краски!

И они тыкали пальцами в пространство, воображая, что все остальные видят ткань.

«Что за ерунда!— подумал король.— Я ничего не вижу! Ведь это ужасно! Глуп я, что ли? Или не го- жусь в короли? Это было бы хуже всего!»

— О да, очень, очень мило!— сказал в конце концов король.— Вполне заслуживает моего одобрения!

И он с довольным видом кивал головой, рассматривая пустые станки,— он не хотел признаться, что ничего не видит. Свита короля глядела во все глаза, но видела не больше, чем он сам; и тем не менее все в один голос повторяли: «Очень, очень мило!»— и советовали королю сделать себе из этой ткани наряд для предстоящей торжественной процессии.

— *Magnifique!* Чудесно! *Excellent!*²— только и слышалось со всех сторон. Все были в таком восторге! Король наградил обманщиков рыцарским крестом в петлицу и пожаловал им звание придворных ткачей.

Всю ночь накануне торжества просидели обманщики за работой и сожгли больше шестнадцати свечей,— всем было ясно, что они очень старались кончить к сроку новое платье короля. Они притворялись, что снимают ткань со станков, кроят ее большими ножницами и потом шьют иголками без ниток.

Наконец они объявили:

— Готово!

Король в сопровождении свиты сам пришел к ним одеваться. Обманщики поднимали кверху руки, будто держали что-то, приговаривая:

— Вот панталоны, вот камзол, вот кафтан! Чудесный наряд! Легок, как паутина, и не почувствуешь его на теле! Но в этом-то вся и прелесть!

— Да, да!— говорили придворные, хотя они ничего не видели — но ведь и видеть-то было нечего.

— А теперь, ваше королевское величество, соблаговолите раздеться и стать вот тут, перед большим

¹ Чудесно! (фр.)

² Превосходно! (фр.)



зеркалом!— сказали королю обманщики.— Мы оденем вас!

Король разделся догола, и обманщики принялись наряжать его: они делали вид, будто надевают на него одну часть одежды за другой и наконец прикрепляют что-то на плечах и на талии,— это они надевали на него королевскую мантию! А король поворачивался перед зеркалом во все стороны.

— Боже, как идет! Как чудно сидит!— шептали в свите.— Какой узор, какие краски! Роскошное платье!

— Балдахин ждет!— доложил обер-церемоний-мейстер.

— Я готов!— сказал король.— Хорошо ли сидит платье?

И он еще раз повернулся перед зеркалом: надо ведь было показать, что он внимательно рассматривает свой наряд.

Камергеры, которые должны были нести шлейф королевской мантии, сделали вид, будто приподняли что-то с пола, и пошли за королем, вытягивая перед собой руки,— они не смели и виду подать, что ничего не видят.

И вот король шествовал по улицам под роскошным балдахином, а люди, толпившиеся, чтобы на него посмотреть, говорили:

— Ах, какое красивое это новое платье короля! Как чудно сидит! Какая роскошная мантия!

Ни единый человек не сказал, что ничего не видит, никто не хотел признаться, что он глуп или сидит не на своем месте. Ни одно платье короля не вызывало еще таких восторгов.

— Да ведь король-то голый!— закричал вдруг какой-то маленький мальчик.

— Послушайте-ка, что говорит невинный младенец!— сказал его отец, и все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка.

— Да ведь он совсем голый! Вот мальчик говорит, что он голый!— закричал наконец весь народ.

И королю стало жутко: ему казалось, что они правы, но надо же было довести церемонию до конца!

И он выступал под своим балдахином еще величавее, а камергеры шли за ним, поддерживая мантию, которой не было.

ЧТО МУЖ НИ СДЕЛАЕТ, ТО И ХОРОШО

А теперь я расскажу тебе сказку. Я слышала ее еще в детстве. И с тех пор как вспомню о ней, так и подумаю: она еще лучше стала. Ведь сказки — что люди: многие из них чем старше, тем лучше, и это очень утешительно.

Ты, конечно, бывал в деревне, и тебе, наверно, приходилось видеть настоящие крестьянские домики, крытые соломой. Крыша у такого домика поросла мхом, травой, а на коньке — гнездо аиста, — без аиста там не обойтись! Стены покосились, окна низенькие, причем открывается только одно; в кухне печка выпирает, как живот толстяка; через плетень свесился куст бузины, а в крохотной лужице, над которой раскинулась узловатая ракета, плавают утка с утятами. Есть при доме собака, — она сидит на цепи и лает на весь свет.

Точь-в-точь такой дом стоял когда-то в одной деревне, и жили в нем старые крестьяне — муж и жена. Как ни бедно они жили, кое-что у них было и лишнее. Так, они могли бы обойтись без своей лошади, потому что работы для нее не было, и она целый день паслась в придорожной канаве. Хозяин ездил на ней в город, иногда ее на несколько дней брали соседи, расплачиваясь за это мелкими услугами, — и все же лучше было бы ее продать или сменить на что-нибудь более нужное. Но на что обменять?

— Ну, отец, в купле-продаже ты смыслишь больше моего, — сказала однажды жена своему мужу, — а сейчас как раз ярмарка в городе. Сведи-ка туда нашу лошадь да продай ее или сменяй на что-нибудь путное! Ты ведь у меня всегда все делаешь так, как нужно. Ну, поезжай!

И тут она повязала мужу платок на шею, — это она делала лучше, чем он, — да не как-нибудь, а двойным узлом повязала; очень красиво получилось. Потом она ладонью смахнула пыль с мужниной шляпы и поцеловала старика прямо в теплые губы. А он сел на ту самую лошадь, которую надо было продать или выменять, и уехал. Ну, а в купле-продаже он знал толк!

Солнце пекло, и на небе не было ни облачка. Над дорогой стояли тучи пыли, потому что на ярмарку

спешили толпы людей: одни двигались на телегах, другие — верхом, третьи — на своих двоих. Жара стояла нестерпимая, а тени нигде не было. Вот старик увидел, что по дороге едет человек и гонит перед собой корову, да такую красивую, что краше и не бывает.

«Должно быть, у нее и молоко отличное, — подумал старик. — Есть расчет поменяться».

— Эй ты, с коровой! — закричал он. — Давай-ка потолкуем. Хоть лошадь и подороже коровы будет, да мне корова нужней. Давай меняться, а?

— Ну что ж, давай, — ответил хозяин коровы; и они обменялись.

Итак, крестьянин сделал свое дело и теперь мог спокойно вернуться домой, но он собирался еще побывать в городе и потому вместе с коровой пошел дальше, чтобы хоть издали поглядеть на ярмарку.

Крестьянин шел быстро, корова от него не отставала, и вскоре они нагнали человека, который вел овцу. Овца была очень упитанная и с густой шерстью.

«Вот бы мне такую! — подумал крестьянин. — Летом ей хватит корму и в нашей канаве, а на зиму ее можно будет брать в дом. Если хорошенько подумать, на что нам корова? Лучше держать овцу».

— Эй ты, хочешь сменять овцу на корову? — крикнул он.

Хозяин овцы согласился сразу, и крестьянин пошел дальше уже с овцой. Вдруг он увидел на перекрестке человека с большим гусем под мышкой.

— До чего у тебя гусь знатный, — сказал ему крестьянин. — И жира вдоволь и пера много! Вот бы его привязать возле нашей лужи, да и пустить по ней плавать. И старухе моей было бы для кого собирать очистки. Она как раз говорила на днях: «Эх, если бы только у нас был гусь!» Хочешь меняться? Даю тебе за гуся овцу, да еще спасибо скажу в придачу! Ну, теперь жена может его получить... да и получит...

Хозяин гуся сразу согласился, и они обменялись. Город был уже совсем близко, дорога кишела людьми и скотом, не протолчешься. Путники шагали кто по дороге, кто по дну придорожных канав, кто прямо по картофельному полю сборщика дорожных пошлин. Тут же в картошке бродила на привязи его

кураца, — а привязали ее для того, чтобы она не загерялась в толчее. Это была очень приятная на вид бесхвостая курица. Искоса поглядывая на прохожих, она хлоптала «клу-клу», но что она при этом думала, сказать трудно! Крестьянин, завидев ее, сразу решил: «В жизни я не видывал такой красавицы! Да она краше, чем наседка у нашего пастора. Вот бы мне такую! Курица всегда найдет что поклевать, — может сама себя прокормить. Неплохо бы выменять ее на гуся, думается мне».

— Давай поменяемся, — предложил крестьянин сборщику пошлин.

— Меняться? Ну что ж, я не прочь, — ответил тот.

И они поменялись: сборщик получил гуся, а крестьянин — курицу.

Дел он по пути переделал много, к тому же очень устал — было жарко, — и теперь ему ничего так не хотелось, как пропустить рюмочку и закусить чем придется. Поблизости как раз оказался кабачок. Старик завернул было туда, но в дверях столкнулся с работником, который нес на спине туго набитый мешок.

— Что несешь? — спросил крестьянин.

— Гнилые яблоки, — ответил тот. — Вот собрал мешок для свиней.

— Ох ты! Уйма какая! Вот бы старухе моей полюбоваться! В прошлом году сняли мы с нашей яблони, что возле сарая, всего одно яблоко; хотели его сберечь, положили на сундук, — а оно и сгнило. Но моя старуха все-таки говорила про него: «Какой ни есть, а достаток!» Вот бы ей теперь поглядеть, какой бывает достаток. Я бы ей с удовольствием показал!

— А что дашь за мешок? — спросил работник.

— Что дам? Да вот курицу!

Крестьянин отдал курицу работнику, взял яблоки и, войдя в кабачок, направился прямо к стойке. Мешок с яблоками он прислонил к печке, не заметив, что она топится. В кабачке было много народу — бабышники, торговцы скотом; сидели тут и два англичанина, да такие богатые, что все карманы у них были набиты золотом. Они стали биться от заклад, и ты сейчас про это услышишь.

Но что это вдруг затрещало возле печки?

Да это яблоки испеклись! Какие яблоки? И тут все узнали историю про лошадь, которую старик сначала обменял на корову и за которую в конце концов получил только гнилые яблоки.

— Ну и достанется тебе дома от жены! — сказал англичанин. — Да она с тебя голову снимет.

— Не снимет, а обнимет, — возразил крестьянин. — Моя старуха всегда говорит: «Что муж ни сделает, то и хорошо!»

— Давай поспорим, — предложил англичанин. — Ставлю бочку золота.

— Хватит и мерки, — сказал крестьянин. — Я со своей стороны могу поставить только мерку яблок да себя со старухой в придачу, этого хватит с лихвой.

— Согласны! — вскричали англичане.

Подали повозку кабатчика: на ней разместились все — англичане, старик, гнилые яблоки. Повозка тронулась в путь и наконец подъехала к дому крестьянина.

— Доброго здоровья, мать!

— И тебе того же, отец!

— Ну, лошадь я сменял.

— На этот счет ты у меня дока, — сказала старуха и бросилась обнимать мужа, не замечая ни мешка с яблоками, ни чужих людей.

— Лошадь я выменял на корову.

— Слава богу, — сказала жена. — Теперь у нас на столе заведется и молоко, и масло, и сыр. Вот выгодно обменял!

— Так-то так, да корову я обменял на овцу.

— И хорошо сделал, — одобрила старуха, — всегда-то ты знаешь, как лучше сделать. Для овцы у нас корму хватит. А мы будем пить овечьё молоко да овечьим сыром лакомиться; из ее шерсти свяжем чулки, а то и фуфайки! С коровы шерсти не соберешь: в линьку она и последнюю растрясет. Какой ты у меня умница!

— Так-то так, да овцу я отдал за гуся.

— Ах, отец, неужто у нас и вправду будет гусь ко дню святого Мортена? Уж ты всегда стараешься меня порадовать! Вот хорошо придумал! Гусь, хоть его паси, хоть не паси, все равно разжиреет к празднику.

— Так-то так, да гуся я сменял на курицу, — сказал старик.

— На курицу? Вот удача-то!— воскликнула старуха.— Курица нам нанесет яиц, цыплят выведет — глядишь, у нас полный курятник. Мне уж давно хотелось завести курочку.

— Так-то так, да курицу я отдал за мешок гнилых яблок.

— Дай-ка я тебя расцелую!— воскликнула жена.— Вот спасибо так спасибо! А теперь вот что я тебе расскажу: когда ты уехал, я надумала приготовить тебе обед повкуснее — яичницу с луком. Яйца у меня как раз есть, а луку нет. Пошла я тогда к учителю: я знаю, лук у них есть, но жена у него скупая-прескупая, хоть и притворяется доброй. Вот я и попросила у нее взаймы луковку. «Луковку?— переспрашивает она.— Да у нас в саду ничегошеньки не растет. Я вам и гнилого яблока дать не могу». А вот я теперь могу дать ей целый десяток гнилых яблок. Да что десяток! Хоть весь мешок одолжу. Ну и посмеемся мы над учительницей!— И жена поцеловала мужа прямо в губы.

— Вот это здорово!— вскричали англичане.— Как ей ни туго приходится, она всегда всем довольна. Для такой и денег не жалко.

Тут они расплатились с крестьянином: ведь жена с него головы не сняла, а, напротив, крепко его обняла. Целую кучу золота ему дали!

Да, если по мнению жены муж ее умней всех и что он ни сделает, то и хорошо, — это всегда ей на пользу.

Вот тебе и вся сказка. Я слышал ее еще в детстве. Теперь ты тоже услышал ее и узнал: что муж ни делает, то и хорошо.

РОЗА С МОГИЛЫ ГОМЕРА

Поэзия Востока воспевает любовь соловья к розе; в тихие звездные ночи серенада крылатого певца летит к благоухающему цветку.

Недалеко от Смирны, возле дороги, окаймленной высокими платанами, видел я цветущий розовый куст. Мимо него проходят навьюченные верблюды, гордо выпрямляя длинные шеи и неуклюже ступая по священной земле. В ветвях платанов гнездятся

дикие голуби, и крылья их блещут перламутром в солнечных лучах.

Одна роза на этом розовом кусте была особенно хороша; ей-то и пел соловей о страданиях любви. А роза молчала — ни капли росы не поблескивало на ее лепестках слезою сочувствия — и клонилась вместе с ветвями к лежащему под кустом большому камню.

— Тут покоится величайший из певцов земли!— говорила роза.— Лишь на его могиле буду я благоухать, лишь на нее буду ронять свои лепестки, когда их сорвет буря. Творец «Илиады» превратился в прах и смешался с землею, и из этой земли выросла я! Я, роза с могилы Гомера, слишком священна, чтобы цвести для какого-то ничтожного соловья!

Но соловей все пел и пел, пока не умер.

Погонщик гнал навьюченных верблюдов и черных рабов. Маленький сын его нашел мертвую птичку и зарыл крошечного певца в могилу великого Гомера, на которой качалась роза, колеблемая ветром.

Настал вечер; роза свернула свои лепестки и уснула. И ей приснился ясный солнечный день; на поклонение к могиле Гомера пришла толпа чужеземцев-франков. Среди них был певец из страны туманов и северного сияния. Он сорвал розу, вложил ее в книгу и увез с собой в другую часть света, на свою далекую родину. И роза увяла от тоски, зажата между страницами, а певец, вернувшись домой, открыл книгу и сказал:

— Это роза с могилы Гомера!

Вот какой сон снился розе. А проснувшись, она затрепетала на сильном ветру, и капля росы упала с ее лепестков на могилу Гомера. Но встало солнце, и роза расцвела пышнее прежнего,— день был жаркий, а она ведь не покидала своей теплой Азии.

Послышались шаги, явились чужеземцы-франки, которых роза видела во сне, а вместе с ними один поэт, уроженец севера. Он сорвал розу, запечатлел на ее свежих устах поцелуй и увез ее с собой в страну туманов и северного сияния.

Как мумия, покоится она теперь в его «Илиаде» и, словно сквозь сон, слышит, как он говорит, открывая книгу:

— Это роза с могилы Гомера!

СУП ИЗ КОЛБАСНОЙ ПАЛОЧКИ

I. Суп из колбасной палочки

— Ах, какой пир задали нам вчера во дворце, — сказала одна пожилая мышь другой мыши, которой не довелось побывать на придворном пиршестве. — Я сидела двадцать первой от нашего старого мышинного царя, а это не так уж плохо! И чего только там не подавали к столу! Заплесневелый хлеб, кожу от окорока, сальные свечи, колбасу, — а потом все началось сызнава. Еды было столько, что мы словно два обеда съели! А какое у всех было чудесное настроение, как непринужденно велась беседа, если бы ты только знала! Обстановка была самая домашняя. Мы сгрызли все подчистую, кроме колбасных палочек, — это на которых колбасу жарят; о них-то и зашла потом речь, и кто-то вдруг вспомнил про «суп из колбасной палочки». Оказалось, что слышать-то про этот суп слышали все, а вот попробовать его или тем более сварить самой — не приходилось никому. И тогда был предложен замечательный тост за мышь, которая сумеет сварить суп из колбасной палочки, а значит — сможет стать начальницей приюта для бедных! Ну скажи, разве не остроумно придумано? А старый мышинный царь поднялся со своего трона и заявил во всеуслышанье, что сделает царицей ту молоденькую мышь, которая сварит самый вкусный суп из колбасной палочки. Срок он назначил — год и один день.

— Ну что ж, срок достаточный! — сказала другая мышь. — Но как же его варить, этот самый суп, а?

Да, как его варить? Об этом спрашивали все мыши, и молодые и старые. Каждая была бы не прочь попасть в царицы, да только ни у кого не было охоты странствовать по белу свету, чтобы разузнать, как готовят этот суп. А без этого не обойтись — сидя дома, рецепта не выдумаешь! Но ведь не всякая мышь может оставить семью и родной уголок; да и житье на чужбине не слишком сладкое: там не отведаешь сырной корки, не понюхаешь кожи от окорока; иной раз придется и поголодать, а чего доброго, и в лапы кошке угодить.

Многие кандидатки в царицы были так встревожены всеми этими сосражениями, что предпочли остаться дома, и лишь четыре мыши, молодые и шустрые, но бедные, стали готовиться к отъезду. Каждая избрала себе одну из четырех стран света — авось хоть кому-нибудь повезет, — и каждая запаслась колбасной палочкой, чтобы не забыть по дороге о цели путешествия; к тому же палочка могла заменить дорожный посох.

В начале мая они тронулись в путь и в мае же следующего года вернулись обратно, но не все, а только три; о четвертой не было ни слуху ни духу, а назначенный срок уже близился.

— В любой бочке меда всегда найдется ложка дегтя, — сказал мышинный царь, но все-таки велел созвать мышей со всей округи.

Собраться им было приказано в царской кухне; здесь же, отдельно от прочих, стояли рядом три мыши-путешественницы, а на место пропавшей без вести придворные поставили колбасную палочку, обвитую черным креном.

Всем присутствующим велели молчать, пока не высказутся путешественницы и мышинный царь не объявит своего решения.

Ну, а теперь послушаем.

II. Что видела и чему научилась первая мышь во время своего путешествия

— Когда я отправилась странствовать по белу свету, — начала мышка, — я, как и многие мои сверстницы, воображала, что давно уже разжевала и проглотила всю земную премудрость. Но жизнь показала мне, что я жестоко заблуждалась, и понадобился целый год и один день, чтобы постичь истину. Я отправилась на север и сначала плыла морем на большом корабле. Мне говорили, что коки¹ должны быть изобретательны, однако нашему коку, по-видимому, не было в этом ровно никакой нужды: корабельные трюмы ломились от корейки, солонины

¹ Ко к — корабельный повар.

и прекрасной заплесневелой муки. Жилось мне восхитительно, ничего не скажешь. Но посудите сами, могла ли я там научиться варить суп из колбасной палочки? Много дней и ночей мы все плыли и плыли, нас качало и заливало волнами; но в конце концов корабль все-таки прибыл в далекий северный порт, и я выбралась на берег.

А как все это странно: уехать из родного уголка, сесть на корабль, который вскоре тоже становится для тебя родным уголком, и вдруг очутиться за сотни миль от родины, в совершенно незнакомой стране! Меня обступили дремучие леса, еловые и березовые, и как ужасно они пахли. Невыносимо! Дикие травы издавали такой пряный запах, что я все чихала и чихала и думала про колбасу. А огромные лесные озера! Подойдешь поближе к воде — она кажется прозрачной как хрусталь; а отойдешь подальше — и вот уже она темна как чернила. В озерах плавали белые лебеди; они держались на воде так неподвижно, что сначала я приняла их за пену, но потом, увидев, как они летают и ходят, сразу поняла, что это птицы: они ведь из гусяного племени — по походке видно, а от родни своей не отречешься! И я поспешила отыскать свою собственную родню — лесных и полевых мышей, хотя они, сказать правду, мало что смыслят по части угощения, а я только за этим и поехала-то в чужие края. Когда здесь слышали о том, что из колбасной палочки можно сварить суп, — а разговор об этом пошел по всему лесу, — всем это показалось невозможным, ну, а мне-то откуда было знать, что я в ту же ночь буду посвящена в тайну супа из колбасной палочки.

Лето было в самом разгаре, и мне объяснили, что именно поэтому леса так благоухают, травы так душисты, а озера, в которых плавают белые лебеди, так прозрачны и в то же время так темны. На опушке леса, между тремя-четырьмя домиками, был установлен шест высотой с корабельную мачту. Это был майский шест — его верхушку украшали венки и ленты. Девушки и парни без устали плясали вокруг него и пели под скрипку бродячего музыканта. Когда солнце закатилось, веселье продолжалось при свете месяца, но я не принимала в нем участия — какое дело мышке до лесного бала! — я сидела в мягком

мху и крепко держала свою колбасную палочку. Луна освещала лужайку, на которой росло дерево, а лужайка была покрыта мягким и нежным мхом — таким нежным, как, осмелюсь заметить, шкурка мышиного царя, только зеленого цвета, очень приятного для глаз. Вдруг откуда ни возьмись — появились прелестные маленькие существа, ростом мне по колечку. Они были совсем как люди, только гораздо красивее. Человечки называли себя эльфами и были одеты в нарядные платица из цветочных лепестков с отделкой из мушиных и комариных крылышек. Это выглядело очень мило. Я сразу же заметила, что они что-то ищут, но не могла понять, что именно.

Вот несколько эльфов подошло ко мне, и самый знатный сказал, указывая на мою колбасную палочку:

— Это как раз то, что нам нужно. Конец заострен превосходно!

И чем дольше он смотрел на мой дорожный посох, тем больше восторгался им.

— Я, пожалуй, могу одолжить его вам на время, но не навсегда, — сказала я.

— Ну, конечно, не навсегда, только на время, — закричали все, выхватили у меня колбасную палочку и пустились с ней, приплясывая, прямо к тому месту, где зеленел нежный мох; там ее и установили. Эльфам, видно, тоже хотелось иметь свой майский шест, а моя колбасная палочка так подошла им, как будто ее сделали по заказу. Они тут же принялись ее наряжать и убрали на славу. Вот это, скажу вам, было зрелище!

Крошечные паучки обвили шест золотыми нитями и украсили развевающимися флагами и прозрачными тканями. Ткань эта была такая тонкая и при лунном свете сияла такой ослепительной белизной, что у меня в глазах зарябило. Потом эльфы собрали с крыльев бабочек разноцветную пыльцу и посыпали ею белую ткань, и в тот же миг на ней засверкали тысячи цветов и алмазов. Теперь мою колбасную палочку и узнать было нельзя — другого такого майского шеста, наверное, в целом мире не было!

Тут, словно из-под земли, появилась несметная толпа эльфов. На них не было никакой одежды, но мне они казались еще более красивыми, чем самые

нарядные из одетых. Меня тоже пригласили взглянуть на все это великолепие, но только издали, потому что я слишком велика.

Потом заиграла музыка, и какая музыка! Словно тысячи хрустальных колокольчиков наполнили воздух своим мелодичным звоном. Сначала я подумала, не лебеди ли это поют. Но потом мне почудилось, будто кукует кукушка и чирикает дрозд, а под конец — будто запел весь лес! Звучали детские голоса, звон колоколов, пение птиц, чудеснейшие мелодии — и все эти дивные звуки неслись с майского шеста эльфов. А ведь этим волшебным инструментом была всего-навсего моя колбасная палочка. Я никак не думала, что из колбасной палочки можно извлечь такие звуки, но оказалось, что все зависит от того, к кому она попадет.

Я была глубоко взволнована и плакала от избытка чувств, как может плакать только маленькая мышка.

Ночь была очень короткая, — на севере в эту пору они и не бывают длиннее. На рассвете подул ветерок, зеркальная поверхность лесного озера подернулась рябью, прозрачные ткани и флаги разлетелись в разные стороны, а качающиеся гирлянды из паутины, висячие мосты и балюстрады — или как там они еще называются, — перекинутые с листка на листок, вдруг исчезли, словно их никогда и не было. Шесть эльфов принесли мне мою колбасную палочку и спросили, нет ли у меня какого-нибудь желания, которое они могли бы исполнить; и я тут же попросила их рассказать, как сварить суп из колбасной палочки.

— Да так, как мы это только что делали, — сказал с улыбкой самый знатный эльф. — Ты сама все видела, но вряд ли даже узнала свою колбасную палочку.

«Ах, вот о чем они говорят», — подумала я и рассказала им все начистоту — зачем я отправилась путешествовать и чего ждут от меня на родине.

— Ну скажите, — закончила я свой рассказ, — какой будет прок мышиному царю и всему нашему великому государству от того, что я видела все эти чудеса? Ведь не могу же я вытряхнуть их из колбасной палочки и сказать: «Вот палочка, а вот и суп!»



Таким блюдом насытишься разве что после хорошего обеда.

Тогда эльф провел своим крошечным пальчиком по лепесткам голубой фиалки, потом дотронулся до колбасной палочки и сказал:

— Смотри! Я прикасаюсь к ней; а когда ты вернешься во дворец мышино-го царя, прикоснись своим дорожным посохом к теплой царской груди — и тотчас на посохе расцветут фиалки, хотя бы на дворе была самая лютая стужа. Значит, ты вернешься домой не с пустыми руками. А вот тебе и еще кое-что.

Но прежде чем мышка показала это «кое-что», она дотронулась палочкой до теплой груди мышино-го царя — и действительно в тот же миг на палочке вырос прелестный букет фиалок. Они так благоухали, что мышиный царь приказал нескольким мышам, стоявшим поближе к очагу, сунуть хвосты в огонь, чтобы покурить в комнате паленой шерстью: ведь мыши не любят запаха фиалок, для их тонкого обоняния он невыносим.

— А что еще дал тебе эльф? — спросил мышиный царь.

— Ах, — ответила маленькая мышка, — просто он научил меня одному фокусу.

Тут она повернула колбасную палочку — и все цветы мгновенно исчезли.

Теперь мышка держала в лапке простую палочку и, поднимая ее над головой, как дирижер, говорила:

— Фиалки услаждают наше зрение, обоняние и осязание, — сказал мне эльф, — но ведь остаются еще вкус и слух.

Мышка начала дирижировать, и в тот же миг слышалась музыка, однако совсем не похожая на ту, которая звучала в лесу на празднике эльфов: эта музыка сразу напомнила всем о шуме в обыкновенной кухне. Вот это был концерт так концерт! Он начался внезапно — словно ветер вдруг завыл во всех дымоходах сразу; во всех котлах и горшках вдруг закипела вода и, шипя, полилась через край, а кочерга застучала по медному котлу. Потом столь же внезапно наступила тишина: слышалось лишь глухое бормотание чайника, такое странное, что нельзя было понять, закипает он или его только что поставили. В маленьком горшке клокотала вода, и в большом

тоже, — и они клокотали, не обращая ни малейшего внимания друг на друга, словно обезумели. А мышка размахивала своей палочкой все быстрее и быстрее. Вода в котлах клокотала, шипела и пенилась, ветер дико завывал, а труба гудела: у-у-у! Мышке стало так страшно, что она даже выронила палочку.

— Вот так суп! — воскликнул мышиный царь. — А что будет на второе?

— Это все, — ответила мышка и присела.

— Ну и хватит, — решил мышиный царь. — Послушаем теперь, что скажет вторая мышь.

III. Что рассказала вторая мышь

— Я родилась в дворцовой библиотеке, — начала вторая мышь. — Мне и всему нашему семейству за всю жизнь так ни разу и не удалось побывать в столовой, а уж про кладовку и говорить нечего. Кухню я впервые увидела лишь во время моего путешествия да вот еще сейчас вижу. По правде говоря, в библиотеке нам частенько приходилось голодать, но зато мы приобрели большие познания. И когда до нас дошли слухи о царской награде за суп из колбасной палочки, моя старая бабушка разыскала одну рукопись. Сама она эту рукопись, правда, прочитать не могла, но слышала, как ее читали другие, и запомнила такую фразу: «Если ты поэт, то сумеешь сварить суп даже из колбасной палочки». Бабушка спросила меня, есть ли у меня поэтический дар. Я за собой ничего такого не знала, но бабушка заявила, что я непременно должна стать поэтессой. Тогда я спросила, что для этого нужно, — ибо стать поэтессой мне было не легче, чем сварить суп из колбасной палочки. Бабушка прослушала на своем веку множество книг и сказала, что для этого нужны три вещи: разум, фантазия и чувство.

— Добудь все это, и ты станешь поэтессой, — закончила она, — а тогда наверняка сварить суп даже из колбасной палочки.

И вот я отправилась на запад и стала странствовать по свету, чтобы стать поэтессой.

Я знала, что во всяком деле разум — это самое важное, а фантазия и чувство имеют лишь второсте-

пенное значение, — так что прежде всего я решила обзавестись разумом. Но где его искать? «Иди к муравью и набирайся от него мудрости», — сказал великий царь иудейский, об этом я слышала еще и в библиотеке; и я ни разу не остановилась, пока наконец не добралась до большого муравейника. Там я притаилась и стала набираться мудрости.

Что за почтенный народ эти муравьи, и до чего же они мудрые! У них все рассчитано до мелочей. «Работать и класть яйца, — говорят муравьи, — означает жить в настоящем и заботиться о будущем», — и они так и поступают. Все муравьи делятся на благородных и рабочих. Положение каждого в обществе определяется его номером. У царицы муравьев — номер первый, и с ее мнением обязаны соглашаться все муравьи, ибо она уже давным-давно проглотила всю земную премудрость. Для меня было очень важно узнать об этом. Царица говорила так много и так умно, что ее речи даже показались мне заумными. Она утверждала, например, что во всем мире нет ничего выше их муравейника, а между тем тут же, рядом с ним, стояло дерево куда более высокое; этого, конечно, никто не мог отрицать, так что приходилось просто помалкивать. Как-то раз, вечером, один муравей вскарабкался по стволу очень высоко и заблудился на этом дереве; он, правда, не добрался до верхушки, но залез выше, чем когда-либо залезал любой другой муравей. А когда он вернулся домой и стал рассказывать, что на свете есть кое-что и повыше их муравейника, то остальные муравьи сочли его слова оскорбительными для всего муравьиного рода и приговорили наглеца к наморднику и долговременному одиночному заключению. Вскоре после этого на дерево залез другой муравей, совершил такое же путешествие и тоже рассказал о своем открытии, но более осторожно и в более неопределенных выражениях; и потому, что он был весьма уважаемый муравей, к тому же из благородных, ему поверили, а когда он умер, ему поставили памятник из яичной скорлупы — в знак уважения к науке.

Мне часто приходилось видеть, — продолжала мышка, — как муравьи переносят яйца на спине. Однажды муравей уронил яйцо, и как он ни пытался поднять его, у него ничего не получалось. Подоспели

два других муравья и, не щадя сил, принялись ему помогать.

Но они чуть не уронили своей собственной ноши, а когда одумались, бросили товарища в беде и убежали, потому что ведь всякому своя рубашка ближе к телу. Царица муравьев увидела в этом лишнее доказательство того, что муравьи обладают не только сердцем, но и разумом. «Оба эти качества ставят нас, муравьев, выше всех разумных существ, — сказала она. — Разум, впрочем, стоит на первом месте, и я наделена им больше всех!» С этими словами царица величественно поднялась на задние лапы, и я проглотила ее; она так отличается от остальных, что ошибиться было невозможно. «Иди к муравью и набирайся у него мудрости!» — я и вобрала в себя мудрость вместе с самой царицей.

Потом я подошла поближе к большому дереву, которое росло у муравейника. Это был высокий развесистый дуб, должно быть, очень старый. Я знала, что на нем живет женщина, которую зовут дриадой. Она рождается, живет и умирает вместе с деревом. Об этом я слышала еще в библиотеке, а теперь своими глазами увидела лесную деву. Заметив меня, дриада громко вскрикнула — как и все женщины, она очень боялась нас, мышей; но у нее были на это гораздо более веские причины, чем у других: ведь я могла перегрызть корни дерева, от которого зависела ее жизнь. Я заговорила с ней ласково и приветливо и успокоила ее, а она посадила меня на свою нежную ручку. Узнав, зачем я отправилась странствовать по свету, она предсказала мне, что, быть может, я в тот же вечер добуду одно из тех двух сокровищ, которые мне осталось найти. Дриада объяснила, что дух фантазии — ее добрый приятель, что он прекрасен, как бог любви, и подолгу отдыхает под сенью зеленых ветвей, а ветви тогда шумят над ними обоими громче обычного. Он называет ее своей любимой дриадой, говорила она; а ее дуб — своим любимым деревом. Этот узловатый, могучий, великолепный дуб пришелся ему по душе. Его корни уходят глубоко в землю, а ствол и верхушка тянутся высоко к небу, им ведомы и снежные холодные метели, и буйные ветры, и горячие лучи солнца.

— Да, — продолжала дриада, — там, на верхушке дуба, поют птицы и рассказывают о заморских странах. Только один сук на этом дубе засох, и на нем свил себе гнездо аист. Это очень красиво, и к тому же можно послушать рассказы аиста о стране пирамид. Духу фантазии все это очень нравится, а иногда я и сама рассказываю ему о жизни в лесу: о том времени, когда я была еще совсем маленькой, а деревце мое едва поднималось над землей, так что даже крапива заслоняла от него солнце, и обо всем, что было с тех пор и по сей день, когда дуб вырос и окреп. А теперь послушай меня: спрячься под ясенник и смотри в оба. Когда явится дух фантазии, я при первом же удобном случае вырву у него из крыла перышко. А ты подбери это перо — лучшего нет ни у одного поэта! И больше тебе ничего не нужно.

Явился дух фантазии, перо было вырвано, и я его получила, — продолжала мышка. — Мне пришлось опустить его в воду и держать там до тех пор, пока оно не размякло, а тогда я его сгрызла, хотя оно было не слишком удобоваримым. Да, нелегко в наши дни стать поэтом, сначала нужно много чего переварить. Теперь я приобрела не только разум, но и фантазию, а с ними мне уже ничего не стоило найти и чувство в нашей собственной библиотеке. Там я слышала, как один великий человек говорил, что существуют романы, единственное назначение которых — избавлять людей от лишних слез. Это своего рода губка, всасывающая чувства. Я вспомнила несколько подобных книг. Они всегда казались мне особенно аппетитными, потому что были так зачитаны и засалены, что, наверное, впитали в себя целое море чувств.

Вернувшись на родину, я отправилась домой в библиотеку и сразу же взялась за большой роман — вернее, за его мякоть или, так сказать, сущность; корку же, то есть переплет, я не тронула. Когда я переварила этот роман, а потом еще один, я вдруг почувствовала, что у меня внутри что-то зашевелилось. Тогда я отъела еще кусочек от третьего романа — и стала поэтессой. Я так и сказала всем. У меня начались головные боли, колики в животе — вообще, где у меня только не болело! Тогда я стала придумывать: что бы такое рассказать о колбасной палочке? И тотчас же в голове у меня завертелось ве-

ликое множество всяких палочек, — да, у муравьиной царицы, как видно, ум был необыкновенный! Сначала я вдруг ни с того ни с сего вспомнила про человека, который, взяв в рот волшебную палочку, станодился невидимкой; потом вспомнила про палочку-выручалочку; потом про то, что «счастье не палка, в руки не возьмешь»; потом — что «всякая палка о двух концах»; наконец про все, чего я боюсь, «как собака палки», и даже про «палочную дисциплину»! Итак, все мои мысли сосредоточились на всевозможнейших палках и палочках. Если ты поэт, то сумей воспеть и простую палку! А я теперь поэтесса, и не хуже других. Отныне я смогу каждый день угощать вас рассказом о какой-нибудь палочке — это и есть мой суп.

— Послушаем третью, — сказал мышинный царь.

— Пи-и, пи-и! — послышалось за дверью, и в кухню стрелой влетела маленькая мышка, четвертая по счету, — та самая, которую все считали погибшей. Впопыхах она опрокинула колбасную палочку, обвитую черным крепом. Она бежала день и ночь, ехала по железной дороге товарным поездом, на который едва успела вскочить, и все-таки чуть не опоздала. По дороге она потеряла свою колбасную палочку, но не язык, и вот теперь, вся взъерошенная, протиснулась вперед и сразу же начала говорить, словно только ее одну и ждали, только ее хотели послушать, словно на ней одной весь мир клином сошелся. Она трещала без умолку и появилась так неожиданно, что никто не успел ее остановить вовремя, и мышке удалось выговориться до конца. Что ж, послушаем и мы.

IV. Что рассказала четвертая мышь, которая говорила после второй

— Я сразу же направилась в огромный город. Как он называется, я, впрочем, не помню: у меня плохая память на имена. Прямо с вокзала я вместе с конфискованными товарами была доставлена в городскую ратушу, а оттуда побежала к тюремщику. Он много рассказывал об узниках, особенно об одном из них, угодившем в тюрьму за неосторожно сказан-

ные слова. Было состряпано громкое дело, но в общем-то оно и выеденного яйца не стоило. «Вся эта история — просто суп из колбасной палочки, — заявил тюремщик, — но за этот суп бедняге, чего доброго, придется поплатиться головой». Понятно, что я заинтересовалась узником и, улучив минутку, проскользнула к нему в камеру: ведь нет на свете такой запертой двери, под которой не нашлось бы щели для мышки. У заключенного были большие сверкающие глаза, бледное лицо и длинная борода. Лампа коптила, но стены уже привыкли к этому и чернее стать не могли. Узник царापал на стене картинки и стихи, белым по черному, но я их не разглядывала. Он, видимо, скучал, и я была для него желанной гостьей, поэтому он подманивал меня хлебными крошками, пошвыстывал и говорил мне ласковые слова. Должно быть, он очень мне обрадовался, а я почувствовала к нему расположение, и мы быстро подружились. Он делил со мной хлеб и воду, кормил меня сыром и колбасой — словом, жилось мне там великолепно, но всего приятней мне было, что он очень полюбил меня. Он позволял мне бегать по рукам, даже залезать в рукава и карабкаться по бороде; называл меня своим маленьким другом. И я его тоже очень полюбила, ведь истинная любовь должна быть взаимной. Я забыла, зачем отправилась странствовать по свету, забыла и свою колбасную палочку в какой-то щели, — наверное, она там лежит и по сю пору. Я решила не покидать моего нового друга: ведь уйди я от него, у бедняги не осталось бы никого на свете, а это-то он бы не перенес. Впрочем, я-то осталась, да он не остался. Когда мы виделись с ним в последний раз, он казался таким печальным, дал мне двойную порцию хлеба и сырных корок и послал мне на прощание воздушный поцелуй. Он ушел — и не вернулся. Ничего больше мне так и не удалось о нем узнать. Я вспомнила слова тюремщика: «Состряпали суп из колбасной палочки», — и отправилась к нему. Но это был злой и нехороший человек. Он сперва тоже поманил меня к себе, а потом посадил в клетку, которая вертелась, как колесо. Это просто ужас что такое! Бежишь и бежишь, а все ни с места, и все над тобой потешаются.

Но у тюремщика была прелестная маленькая внучка с золотистыми кудрями, сияющими глазками и вечно смеющимся ротиком.

— Бедная маленькая мышка, — сказала она однажды, заглянув в мою противную клетку, потом отодвинула железную задвижку — и я тут же выскочила на подоконник, а с него прыгнула в водосточный желоб. «Свободна, свободна, снова свободна!» — ликовала я и даже забыла от радости, зачем я сюда прибежала.

Однако становилось темно, надвигалась ночь. Я устроилась на ночлег в старой башне, где жили только сторож да сова. Сначала я немного опасалась их, особенно совы — она очень похожа на кошку, и, кроме того, у нее есть один большой порок: как и кошка, она ест мышей. Но ведь кто из нас не ошибается! На этот раз ошиблась и я. Сова оказалась весьма почтенной и образованной особой. Много повидала она на своем долгом веку, знала больше, чем сторож, и почти столько же, сколько я. Ее совыта принимали всякий пустяк слишком близко к сердцу. «Не варите супа из колбасной палочки, — поучала их в таких случаях старая сова, — не шумите по пустякам», — и больше не бранила их! Она была очень нежной матерью. И я сразу же почувствовала к ней такое доверие, что даже пискнула из своей щели. Это ей очень польстило, и она обещала мне свое покровительство. Ни одному животному она отныне не позволит съесть меня, сказала она, и уж лучше сделает это сама, поближе к зиме, когда больше нечего будет есть.

Сова была очень умна. Она, например, доказала мне, что сторож не мог бы трубить, если бы у него не было рога, который висит у него на поясе. А он еще важничает и воображает, что он ничуть не хуже совы! Да что с него взять! Суп из колбасной палочки!.. Тут-то я и попросила ее сказать, как его надо варить, этот самый суп. И сова объяснила: «Суп из колбасной палочки — это всего только поговорка; каждый понимает ее по-своему, и каждый думает, что он прав. А если толком во всем разобраться, то никакого супа-то и нет». — «Как нет?» — изумилась я. Вот так новость! Да, истина не всегда приятна, но она превышает всего. То же самое сказала и старая сова.

Подумала я, подумала и поняла, что если я привезу домой высшее, что только есть на свете, то есть истину, то это будет гораздо ценнее, чем какой-то там суп. И я поспешила домой, чтобы поскорее преподнести вам высшее и лучшее — истину. Мыши — народ образованный, а мышинный царь образованнее всех своих подданных. И он может сделать меня царицей во имя истины.

— Твоя истина — ложь! — вскричала мышь, которая еще не успела высказаться. — Я могу сварить этот суп, да и сварю!

V. Как варили суп...

— Я никуда не ездила, — сказала третья мышь. — Я осталась на родине, — это надежнее. Незачем шататься по белу свету, когда все можно достать у себя дома. И я осталась! Я не водилась со всякой нечистью, чтобы научиться варить суп, не глотала муравьев и не приставала к совам. Нет, до всего я дошла сама, своим умом. Поставьте, пожалуйста, котел на плиту. Вот так! Налейте воды, да поплнее. Хорошо! Теперь разведите огонь, да пожарче. Очень хорошо! Пусть вода кипит, пусть забурлит белым ключом! Бросьте в котел колбасную палочку... Не соблаговолите ли вы теперь, ваше величество, сунуть в кипяток свой царственный хвост и слегка помешивать им суп! Чем дольше вы будете мешать, тем наваристее будет бульон, — ведь это же очень просто. И не надо никаких приправ — только сидите себе да помешивайте хвостиком! Вот так!

— А нельзя ли поручить это кому-нибудь другому? — спросил мышинный царь.

— Нет, — ответила мышка, — никак нельзя. Ведь вся сила-то в царском хвосте!

И вот вода закипела, а мышинный царь приоткрылся возле котла и вытянул хвост, — так мыши обычно снимают сливки с молока. Но как только царский хвост обдало горячим паром, царь мигом соскочил на пол.

— Ну, быть тебе царицей, — сказал он. — А с супом давай обождем до нашей золотой свадьбы. Вот обрадуются бедняки в моем царстве! Но ничего, пусть

пока ждут да облизываются, хватит им времени на это.

Сыграли свадьбу, да только многие мыши по дороге домой ворчали:

— Ну разве это суп из колбасной палочки? Это скорее суп из мышинного хвоста!

Они находили, что кое-какие подробности из рассказанного тремя мышами были переданы в общем неплохо, но, пожалуй, все нужно было рассказать совсем иначе. Мы бы-де рассказали бы это так-то вот и этак.

Впрочем, это критика, а ведь критик всегда задним умом крепок.

Эта история обошла весь мир, и мнения о ней разделились; но сама она от этого ничуть не изменилась. Она верна во всех подробностях от начала и до конца, включая и колбасную палочку. Вот только благодарности за сказку лучше не жди, все равно не дожدهшься!

СТАРЫЙ ДОМ

На одной улице стоял старый-старый дом, выстроенный еще около трехсот лет тому назад — в этом можно было легко убедиться, потому что на его карнизе, в виньетке из тюльпанов и хмеля, был вырезан год его постройки, а под ним, старинными буквами и с соблюдением старинной орфографии, целое стихотворение. Со всех наличников глядели уморительные рожи, корчившие гримасы. Верхний этаж дома значительно выступал над нижним; под самую крышу шел водосточный желоб, оканчивавшийся драконовой головою. Дождевая вода должна была вытекать у дракона из пасти, но текла из живота — желоб был дырявый.

Все остальные дома на улице были такие новенькие, чистенькие, с большими окнами и прямыми, ровными стенами; по всему видно было, что они не желали иметь со старым домом ничего общего и даже думали: «Долго ли он будет торчать тут на позор всей улице? Из-за этого выступа нам не видно, что делается вокруг! А лестница-то, лестница-то! Широ-

кая, будто во дворце, и высокая, словно ведет на ко- локольню! Железные перила напоминают вход в мо- гильный склеп, а на дверях блестят большие медные бляхи! Просто неприлично!»

Против старого дома, на другой стороне улицы, стояли такие же новенькие, чистенькие домики и ду- мали то же, что их собратья; но в одном из них сидел у окна маленький краснощекий мальчик с ясными, сияющими глазами; ему старый дом и при солнечном и при лунном свете нравился куда больше всех остальных домов. Глядя на стену старого дома с по- трескавшейся и местами пообвалившейся штукатур- кою, он рисовал себе самые причудливые картины прошлого, воображал всю улицу застроенной такими же домами, с широкими лестницами, выступами и остроконечными крышами, видел перед собою сол- дат с алебардами и водосточные желоба в виде дра- кона и змиев... Да, можно таки было заглядеться на старый дом! Жил в нем один старичок, носивший ко- роткие панталоны до колен, кафтан с большими ме- таллическими пуговицами и парик, про который сра- зу можно было сказать: вот это настоящий парик! По утрам к старику приходил старый слуга, который прибирал все в доме и исполнял поручения хозяина; остальное время дня старик оставался в доме один- одинешенек. Иногда он подходил к окну взглянуть на улицу и на соседние дома; мальчик, сидевший у окна, кивал старику головой и получал в ответ та- кой же дружеский кивок. Так они познакомились и подружились, хоть и ни разу не говорили друг с другом,— это ничуть не помешало!

Раз мальчик услышал, как мать сказала отцу:

— Старику живется вообще недурно, но он так одинок, бедный!

В следующее же воскресенье мальчик завернул что-то в бумажку, вышел за ворота и остановил про- ходившего мимо слугу старика.

— Послушай! Снеси-ка это от меня старому гос- подину! У меня два оловянных солдатика, вот ему один! Пусть он останется у него, ведь старый госпо- дин так одинок, бедный!

Слуга, видимо, обрадовался, кивнул головой и от- нес солдатика в старый дом. Потом тот же слуга явился к мальчику спросить, не пожелает ли он сам

навестить старого господина. Родители позволили, и мальчик отправился в гости.

Медные бляхи на перилах лестницы блестели яр- че обыкновенного, точно их вычистили в ожидании гостя, а резвые трубачи — на дверях были ведь вы- резаны трубачи, выглядывавшие из тюльпанов,— казалось, трубили изо всех сил, и щеки их раздува- лись сильнее, чем всегда. Они трубили: «Тра-та-та- та! Мальчик идет! Тра-та-та-та!» Двери отворились, и мальчик вошел в коридор. Все стены были увешаны старыми портретами рыцарей в латах и дам в шел- ковых платьях, рыцарские доспехи бряцали, а платья шуршали... Потом мальчик попал на лест- ницу, которая сначала шла высоко вверх, а потом опять вниз, и очутился на довольно-таки ветхой тер- расе с большими дырами и широкими щелями в полу, из которых выглядывали зеленая трава и листья. Вся терраса, весь двор и даже вся стена до- ма были увиты зеленью, так что терраса выглядела настоящим садом, а на самом-то деле это была только терраса! Тут стояли старинные цветочные горшки в виде голов с ослиными ушами; цветы росли в них как хотели. В одном горшке так и лезла через край гвоздика: зеленые ростки ее разбегались во все сто- роны, и гвоздика как будто говорила: «Ветерок ласкает меня, солнышко целует и обещает подарить мне в воскресенье еще один цветочек! Еще один цве- точек в воскресенье!»

С террасы мальчика провели в комнату, обитую свиною кожей с золотым тиснением.

Да, позолота-то сотрется,
Свиная ж кожа остается!—

говорили стены.

В той же комнате стояли разукрашенные резьбою кресла с высокими спинками.

— Садись! Садись!— приглашали они, а потом жалобно скрипели.— Ох, какая ломота в костях! И мы схватили ревматизм, как старый шкаф. Ревма- тизм в спине! Ох!

Затем мальчик вошел в ту самую комнату, кото- рая нависала, словно балкон, над нижним этажом. Тут сидел сам старичок хозяин.

— Спасибо за оловянного солдатика, дружок! — сказал он мальчику. — И спасибо, что сам зашел ко мне!

«Так, так» или, скорее, «кхак, кхак!» — закричала и заскрипела мебель. Стульев, столов и кресел было так много, что они мешали друг другу смотреть на мальчика.

На стене висел портрет прелестной молодой дамы с живым веселым лицом, но причесанной и одетой по старинной моде: волосы ее были напудрены, а платье стояло колом. Она не сказала ни «так», ни «кхак», но ласково смотрела на мальчика, и он сейчас же спросил старика:

— Где вы ее достали?

— В лавке старьевщика! — отвечал тот. — Там много таких портретов, но никому до них нет дела: никто не знает, с кого они писаны, — все эти лица давным-давно умерли и похоронены. Вот и этой дамы нет на свете лет пятьдесят, но я знавал ее в старину.

Под картиной висел за стеклом букетик засушенных цветов; им, верно, тоже было лет под пятьдесят, — такие они были старые! Маятник больших старинных часов качался взад и вперед, стрелка двигалась, и все в комнате старело с каждой минутой, само того не замечая.

— У нас дома говорят, что ты ужасно одинок! — сказал мальчик.

— О! Меня постоянно навещают воспоминания... Они приводят с собой столько знакомых лиц и образов!.. А теперь вот и ты навестил меня! Нет, мне хорошо!

И старичок снял с полки книгу с картинками. Тут были целые процессии, диковинные кареты, которых теперь уж не увидишь, солдаты, похожие на трефовых валетов, городские ремесленники с развевающимися знаменами. У портных на знаменах красовались ножницы, поддерживаемые двумя львами, у сапожников же не сапоги, а орел о двух головах — сапожники ведь делают всё парные вещи. Да, вот это была книжка так книжка!

Старичок хозяин пошел в другую комнату за вареньем, яблоками и орехами. Нет, в старом доме, право, было прелесть как хорошо!

— А мне просто невмочь оставаться здесь! — сказал оловянный солдатик, стоявший на сундуке. — Тут так пусто и печально. Нет, кто привык к семейной жизни, тому здесь не житье. Сил моих больше нет! День тянется здесь без конца, а вечер и того дольше! Тут не услышишь ни приятных бесед, какие вели, бывало, между собою твои родители, ни веселой возни ребятишек, как у вас! Старый хозяин так одинок! Ты думаешь, его кто-нибудь целует? Глядит на него кто-нибудь ласково? Бывает у него елка? Получает он подарки? Нет, никогда! Вот он разве гроб получит!.. Нет, право, я не выдержу такого житья!

— Ну, ну, полно! — сказал мальчик. — По-моему, здесь чудесно; сюда ведь заглядывают воспоминания и приводят с собою столько знакомых лиц!

— Что-то не видел я их, да и мне-то они незнакомые! — отвечал оловянный солдатик. — Нет, мне просто не под силу оставаться здесь!

— А надо! — сказал мальчик.

В эту минуту в комнату вошел с веселою улыбкой на лице старичок и чего-то он только не принес! И варенья, и яблок, и орехов! Мальчик перестал и думать об оловянном солдатике.

Веселый и довольный вернулся он домой. Дни шли за днями; мальчик по-прежнему посылал в старый дом поклоны, а оттуда получал тоже поклоны в ответ, и вот мальчик опять отправился туда в гости.

Резные трубачи опять затрубили: «Тра-та-та-та! Мальчик пришел! Тра-та-та-та!» Рыцари и дамы на портретах бряцали доспехами и шуршали шелковыми платьями, свиная кожа говорила, а старые кресла скрипели и кричали от ревматизма в спине: «Ох!» Словом, все было как и в первый раз, — в старом доме часы и дни шли один за другим, без всякой перемены.

— Нет, я не выдержу! — сказал оловянный солдатик. — Я уже плакал оловом! Тут слишком печально! Пусть лучше пошлют меня на войну, отрубят там руку или ногу! Все-таки перемена будет! Сил моих больше нет!.. Теперь и я знаю, что это за воспоминания, которые приводят с собою знакомых лиц! Меня они тоже посетили, и, поверь, им не обрадуешься! Особенно если они станут посещать тебя часто. Под конец я готов был спрыгнуть с сундука!.. Я видел те-

бя и всех твоих!.. Вы все стояли передо мною, как живые! Это было утром в воскресенье... Все вы, ребяташки, стояли в столовой, такие серьезные, набожно сложив руки, и пели утренний псалом... Папа и мама стояли тут же. Вдруг дверь отворилась, и вошла незваная двухгодовалая сестренка ваша Мари. А ей стоит только услышать музыку или пение — все равно какое, сейчас начинает плясать. Вот она и принялась приплясывать, но никак не могла попасть в такт — вы пели так протяжно... Она поднимала то одну ножку, то другую и вытягивала шейку, но дело не ладилось. Никто из вас даже не улыбнулся, хоть и трудно было удержаться. Я таки не удержался, засмеялся про себя, да и слетел со стола! На лбу у меня вскочила большая шишка — она и теперь еще не прошла, и поделом мне было!.. Много и еще чего вспоминается мне... Все, что я видел, слышал и пережил в вашей семье, так и всплывает у меня перед глазами! Вот каковы они, эти воспоминания, и вот что они приводят с собой!.. Скажи, вы и теперь еще поете по утрам? Расскажи мне что-нибудь про малютку Мари! А товарищ мой, оловянный солдатик, как поживает? Вот счастливец!.. Нет, нет, я просто не выдержу!..

— Ты подарен! — сказал мальчик. — И должен оставаться тут! Разве ты не понимаешь этого?

Старичок хозяин явился с ящиком, в котором было много разных диковинок: какие-то шкатулочки, флакончики и колоды старинных карт — таких больших, расписанных золотом, теперь уж не увидишь! Старичок отпер для гостя и большие ящики старинного бюро и даже клавикорды, на крышке которых был нарисован ландшафт. Инструмент издавал под рукой хозяина тихие дребезжащие звуки, а сам старичок напевал при этом какую-то заунывную песенку.

— Эту песню певала когда-то она! — сказал он, кивая на портрет, купленный у старьевщика, и глаза его заблестели.

— Я хочу на войну! Хочу на войну! — завопил вдруг оловянный солдатик и бросился с сундука.

Куда же он девался! Искал его и сам старичок хозяин, искал и мальчик — нет нигде, да и только.

— Ну, я найду его после! — сказал старичок, но так и не нашел. Пол весь был в щелях, солдатик упал в одну из них и лежал там, как в открытой могиле.

Вечером мальчик вернулся домой. Время шло; наступила зима; окна замерзли, и мальчику приходилось дышать на них, чтобы оттаяло хоть маленькое отверстие, в которое бы можно было взглянуть на улицу. Снег запорошил все завитушки и надписи на карнизе старого дома и завалил лестницу, — дом стоял словно нежилой. Да так оно и было: старичок, хозяин его, умер.

Вечером к старому дому подъехала колесница, на нее поставили гроб и повезли старичка за город, в фамильный склеп. Никто не шел за гробом — все друзья старика давно-давно умерли. Мальчик послал вслед гробу воздушный поцелуй.

Несколько дней спустя в старом доме назначен был аукцион. Мальчик видел из окошка, как уносили старинные портреты рыцарей и дам, цветочные горшки с длинными ушами, старые стулья и шкафы. Одно пошло сюда, другое туда; портрет дамы, купленный в лавке старьевщика, вернулся туда же, да так там и остался: никто ведь не знал этой дамы, никому и не нужен был ее портрет.

Весною стали ломать старый дом — эта жалкая развалюха уже мозолила всем глаза, и с улицы можно было заглянуть в самые комнаты с обоями из свиной кожи, висевшими клочьями; зелень на террасе разрослась еще пышнее и густо обвивала упавшие балки. Потом расчистили и место.

— Вот и отлично! — сказали соседние дома.

Вместо старого дома на улице появился новый, с большими окнами и белыми ровными стенами. Перед ним, то есть, собственно, на том самом месте, где стоял прежде старый дом, разбили садик, и виноградные лозы потянулись оттуда к стене соседнего дома. Садик был обнесен высокой железной решеткой, и вела в него железная калитка. Все это выглядело так нарядно, что прохожие останавливались и глядели сквозь решетку. Виноградные лозы были усеяны десятками воробьев, которые чирикали наперебой, но не о старом доме, — они ведь не могли его помнить;

с тех пор прошло столько лет, что мальчик успел стать мужчиною. Из него вышел дельный человек — на радость родителям. Он только что женился и переехал со своею молодою женой как раз в этот новый дом с садом.

Оба они были в саду; муж смотрел, как жена сажала на клумбу какой-то приглянувшийся ей полевой цветок. Вдруг молодая женщина вскрикнула:

— Ай! Что это?

Она укололась — из мягкой, рыхлой земли торчало что-то острое. Это был — да, подумайте! — оловянный солдатик, тот самый, что пропал у старика, валялся в мусоре и, наконец, много-много лет пролежал в земле.

Молодая женщина обтерла солдатика сначала зеленым листком, а затем своим тонким носовым платком. Как чудесно пахло от него духами! Оловянный солдатик словно очнулся от обморока.

— Дай-ка мне посмотреть! — сказал молодой человек, засмеялся и покачал головой. — Ну, это, конечно, не он самый, но он напоминает мне одну историю из моего детства!

И он рассказал своей жене о старом доме, о хозяйине его и об оловянном солдатике, которого он послал бедному одинокому старичку. Словом, он рассказал все, как было в действительности, и молодая женщина даже прослезилась, слушая его.

— А может быть, это и есть тот самый оловянный солдатик! — сказала она. — Я спрячу его на память. Но ты непременно покажи мне могилу старика.

— Я и сам не знаю, где она! — отвечал он. — Да и никто не знает! Все его друзья умерли раньше него, никому не было и дела до его могилы, я же в те времена был еще совсем маленьким мальчуганом.

— Как ужасно быть таким одиноким! — сказала она.

— Ужасно быть одиноким! — сказал оловянный солдатик. — Но какое счастье сознавать, что тебя не забыли!

— Счастье! — повторил чей-то голос совсем рядом, но никто не расслышал его, кроме оловянного солдатика.

Оказалось, что это говорил лоскуток свиной кожи, которою когда-то были обиты комнаты старого дома.

Позолота с него вся сошла, и он был похож скорее на грязный комок земли, но у него был свой взгляд на вещи, и он высказал его:

Да, позолота-то сотрется,
Свиная ж кожа остается!

Оловянный солдатик, однако, с этим не согласился.

ПЯТЕРО ИЗ ОДНОГО СТРУЧКА

В стручке сидело пятеро горошинок; они были зеленые, и стручок зеленый, — вот они и решили, что весь мир тоже зеленый, и решили правильно! Стручок рос, росли и горошинки; все они сидели в один ряд — такая уж у них была квартира! Снаружи стручок освещало и согревало солнце, а дождик обмывал его; внутри стручка было тепло и уютно, днем светло, а ночью темно, как это и полагается. Горошинки все росли да росли и все больше и больше размышляли, сидя в стручке: чем-нибудь ведь надо было заняться!

«Неужели я всегда так и буду сидеть здесь? — думала каждая. — От долгого сидения ведь и затвердеть можно! Я чувствую, что там, за стеной, что-то есть!»

Прошло несколько недель, горошинки пожелтели; пожелтел и стручок.

— Весь мир желтеет! — говорили горошинки; и были правы.

Но вдруг они услышали треск: кто-то сорвал стручок и сунул его в карман своей куртки, уже набитый стручками.

— Ну, сейчас нас выпустят на волю! — вскричали горошинки и стали ждать.

— Хотела бы я знать, кому из нас пятерых повезет больше всего? — проговорила самая маленькая горошинка. — Ну, да скоро это выяснится.

— Будь что будет! — сказала самая крупная.

Крак! — стручок лопнул, и все пять горошинок выкатились на яркий солнечный свет. Маленький мальчик держал их на раскрытой ладони и говорил, что они годятся для его ружья. Он тотчас же зарядил ружье горошинкой и выстрелил.

— Я лечу в широкий мир! Поймай-ка теперь меня, если сможешь! — пискнула горошинка и скрылась с глаз.

— А я, — сказала вторая, — полечу прямо на солнце; солнце — это как раз такой стручок, какой мне нужен! — и тут же исчезла.

Две другие горошинки проговорили:

— Где бы мы ни очутились, будем там спать; куда-нибудь да попадем!

И хотя они скатились на землю, но ружья все-таки не миновали.

— Ну, мы улетаем дальше всех! — крикнули они.

— Будь что будет! — сказала последняя горошинка, улетаая.

Ружье выстрелило, горошинка взлетела вверх, потом упала на старый дощатый подоконник под чердачным окошком и угодила прямо в щель, где в мягкой земле рос мох. Горошинка укрылась во мху, да так и лежала там — спрятавшись, но не забытая судьбой.

— Будь что будет! — повторила она.

В маленькой чердачной комнатке жила бедная женщина, которая днем уходила топить печи в чужих домах, пилить дрова и вообще делать всякую черную работу. Женщина была и сильная и прилежная, а все-таки жила в бедности. Дома, в тесной каморке, лежала ее единственная дочка-подросток, тоненькая и тщедушная, которая болела вот уже целый год; она и жить была не в силах и умереть не могла.

— Отправится вслед за сестренкой! — говорила ее мать. — Родились у меня две дочки; нелегко, конечно, было прокормить обеих, — вот господь и поделил их: одну взял к себе... Лишь бы мне эту не потерять, что со мной осталась. Но бог, пожалуй, не захочет, чтобы она жила в разлуке с сестричкой, и возьмет ее к себе.

Однако больная девочка осталась жить; она весь день терпеливо и тихо лежала в кровати, пока мать ходила на заработки.

Настала весна. Однажды ранним утром, когда мать собиралась на работу, а солнце ярко играло на полу, пробиваясь сквозь крошечное окошко, больная девочка посмотрела на него и воскликнула:

— Что это такое зеленое виднеется за стеклом? Оно колышется на ветру.

Мать подошла к окошку и, приоткрыв его, сказала:

— Э, да здесь какое-то растеньице выросло: это горох выпустил свои зеленые листочки. И как он попал сюда в щель? Вот тебе и садик, любуйся на него.

Кровать переставили ближе к окну, чтобы больная девочка могла лучше видеть гороховый росточек, а мать ушла на работу.

И вот вечером девочка сказала:

— Мама, мне кажется, я выздоравливаю... Сегодня солнце светило мне так ласково. Смотри, как хорошо прижился горошек. Мне тоже будет хорошо на солнышке, и я поправлюсь.

— Лишь бы тебе стало лучше! — отозвалась мать, хоть сама и не верила в это. Она подставила палочку к зеленому ростку, чтобы его не сломал ветер, — ведь это горошек приободрил ее девочку.

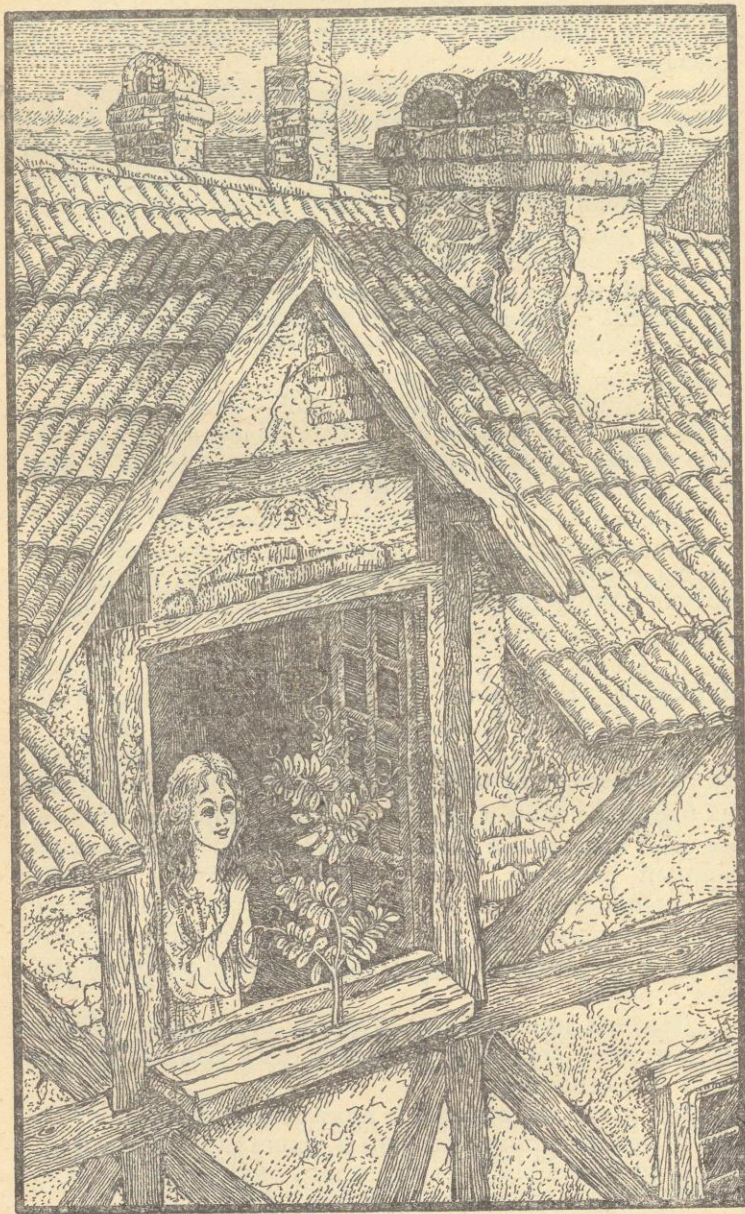
Крепко привязав бечевку к подоконнику, она другой конец прикрепила к самому верху оконной рамы, чтобы стебелек гороха мог держаться и, подрастая, виться вокруг бечевки. И горошек вился и с каждым днем рос все заметнее.

— Гляди-ка, да он скоро зацветет! — сказала однажды утром мать и сама уже стала надеяться и верить, что ее больная девочка поправится.

Женщине показалось, что за последнее время дочка ее повеселела; она нередко сама приподнималась на постели утром и сидела, глядя сияющими глазами на свой маленький садик, в котором рос один-единственный стебелек гороха. Неделию спустя больная впервые встала с постели на целый час. Она блаженствовала, греясь на солнышке. Окно было раскрыто, а за окном пышно распустился светло-розовый цветочек горошка.

Девочка наклонилась и очень осторожно поцеловала тонкие лепестки. Этот день был для нее настоящим праздником...

Ну, а что же случилось с другими горошинами? Та, что полетела в широкий мир и кричала: «Поймай меня, если сможешь!» — очутилась сначала в кровельном желобе, а потом попала в голубиный зоб...



Обе горошины-сони залетели туда же и были съедены голубями, а значит — все-таки принесли немалую пользу.

А четвертая, которая хотела полететь на солнце, упала в желоб и не одну неделю провалялась там в затхлой воде, отчего вся распухла.

— Ну и раздобрела же я! — сказала горошина. — Скоро лопну, чего, мне кажется, еще ни одна горошина не сумела и не сумеет добиться. Я самая замечательная из всех пяти горошинок в нашем стручке!

И она встретила полную поддержку у желоба.

Возле чердачного окошка стояла юная девушка, и ее глаза сияли, а на щеках горел здоровый румянец...

А желоб сказал:

— И все-таки самая замечательная из горошинок — моя горошинка!

СОСЕДИ

Право, можно было подумать, будто в пруду что-то случилось, а на самом-то деле ровно ничего! Но все утки, как те, что преспокойно дремали на воде, так и те, что опрокидывались на головы, хвостами кверху — они ведь и это умеют — вдруг заспешили на берег; на влажной глине отпечатались следы их лапок, и вдали долго-долго еще слышалось их кряканье. Вода тоже взволновалась, а всего за минуту перед тем она стояла недвижно, отражая в себе, как в зеркале, каждое деревцо, каждый кустик, старый крестьянский домик со слуховыми оконцами и ласточкиным гнездом, но самое главное — большой розовый куст в полном цвету, росший над водой у самой стены домика. Но все это стояло в воде вверх ногами, как перевернутая картина. Когда же вода взволновалась, одно набежало на другое, и вся картина пропала. На воде тихо колыхались два перышка, оброненных утками, и вдруг их словно погнало и закрутило ветром. Но ветра не было, и скоро они опять спокойно улеглись на воде. Сама вода тоже мало-помалу успокоилась, и в ней опять ясно отразились домик с ласточкиным гнездом под крышей и ро-

зовый куст со всеми его розами. Они были чудо как хороши, но сами того не знали, — никто ведь не говорил им этого. Солнышко просвечивало сквозь их нежные ароматные лепестки, и на сердце у роз было так же хорошо, как бывает иногда в минуты тихого, счастливого раздумья у нас.

— Как хороша жизнь! — говорили розы. — Одно-го только хотелось бы нам еще — поцеловать теплое красное солнышко да вот те розы в воде! Они так похожи на нас! Хотелось бы, впрочем, расцеловать и тех миленьких, нежных птенчиков в гнезде, вон там, внизу! Наверху, над нами, тоже сидят птенчики! Эти верхние высовывают из гнезда головки и попискивают! На них нет еще перышек, как у их отца с матерью. Да, славные у нас соседи и вверху и внизу. Ах, как хороша жизнь!

Верхние и нижние птенчики — нижние-то являлись только отражением верхних — были воробьи; мать и отец их — тоже. Они завладели прошлогодним ласточкиным гнездом и расположились в нем, как у себя дома.

— Это утиные дети плавают по воде? — спросили воробышки, увидав утиные перья.

— Не задавайте глупых вопросов! — отвечала воробышка-мать. — Не видите разве, что это перья, живое платье, какое и я ношу, какое будет и у вас, — только наше-то потоньше! Хорошо бы, впрочем, заполучить эти перышки в гнездо — они славно греют!.. А хотелось бы мне знать, чего испугались утки? Что-нибудь да случилось там, под водой, — не меня же они испугались... Хотя, положим, я сказала вам «пип» довольно громко!.. Тупоголовые розы должны были бы знать это, но они никогда ничего не знают, только глядятся на себя в пруд да пахнут. Надоели мне эти соседки!

— Послушайте-ка этих милых верхних птенчиков! — сказали розы. — Они тоже начинают пробовать голос! Они еще не умеют, но скоро выучатся щебетать! Вот-то будет радость! Приятно иметь таких веселых соседей!

В это время к пруду подскочила пара лошадей; их надо было поить. На одной из них сидел верхом деревенский парнишка; он поснимал с себя все, что было на нем надето, кроме черной широкополой шляпы.

Парнишка свистал, как птица, и въехал с лошадьми в самое глубокое место пруда. Проезжая мимо розового куста, он сорвал одну розу и заткнул за ленточку своей шляпы; теперь он воображал себя страстью каким нарядным! Напоив лошадей, парнишка уехал. Остальные розы глядели вслед уехавшей и спрашивали друг друга:

— Куда это она отправилась?

Но никто этого не знал.

— Хотелось бы и мне пуститься по белу свету! — говорили розы одна другой. — Но и тут у нас тоже прекрасно! Днем греет солнышко, а ночью небо светится еще ярче! Это видно сквозь маленькие дырочки на нем!

Дырочками они считали звезды — розы ведь могли и не знать, что такое звезды.

— Мы оживляем собою весь дом! — сказала воробышка. — Кроме того, ласточкино гнездо приносит счастье, как говорят люди; поэтому они очень рады нам! Но вот такой розовый кустике возле самого дома только разводит сырость. Надеюсь, что его уберут отсюда, тогда на его месте может хоть вырасти что-нибудь полезное! Розы служат ведь только для вида да для запаха, много-много — для украшения шляпы! Я слыхала от моей матери, что они каждый год опадают, и тогда жена крестьянина собирает их и пересыпает солью, причем они получают уже какое-то французское имя, — я не могу его выговорить, да и не нуждаюсь в этом! Потом их кладут в горящие уголья, чтобы они хорошенько пахли. Вот и все; они годны только для услаждения глаз да носа. Так-то!

Настал вечер; в теплом воздухе заплесали комары и мошки, легкие облака окрасились пурпуром, и запел соловей. Песнь его неслась к розам, и в ней говорилось, что красота — солнечный луч, оживляющий весь мир! Но розы думали, что соловей воспекает самого себя, — и почему бы им не думать этого? Им ведь и в голову не приходило, что песня могла относиться к ним. Они только простодушно радовались ей и думали: «А не могут ли и все воробышки стать соловьями?»

— Мы отлично понимаем, что поет эта птица! — сказали воробышки. — Только вот одно слово непонятно. Что такое «красота»?

— Так, пустое! Только для вида!— отвечала мать.— Там, в барской усадьбе, где у голубей свой дом и где их каждый день угощают горохом и зернами,— я, кстати, едала с ними и вы тоже будете: скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу тебе, кто ты сам,— так вот, там, во дворе, есть две птицы с зелеными шеями и с хохолком на голове. Хвост у них может раскрываться, и как раскроется — ну, что твое колесо, да еще весь переливается разными красками, просто глазам невтерпеж. Зовут этих птиц павлинами, и вот это-то и есть красота. Пообщипать бы их немножко, так выглядели бы не лучше нас! Ух! Я бы их заклевала, не будь только они такие огромные!

— Я их заклюю!— сказал самый маленький, совсем еще голенький воробышек.

В домике жила молодая чета — муж с женою. Они очень любили друг друга, оба были такие бодрые, работающие, и в домике у них было премило и уютно. Каждое воскресное утро молодая женщина набирала целый букет прекраснейших роз и ставила его в стакане с водою на большой деревянный сундук.

— Вот я и вижу, что сегодня воскресенье!— говорил муж, целовал свою миленькую жену, потом оба усаживались рядышком и, держа друг друга за руки, читали вместе утренний псалом. Солнышко светило в окошко на свежие розы и на молодую чету.

— Тошно и глядеть-то на них!— сказала воробыха, заглянув из гнезда в комнату, и улетела.

То же повторилось и в следующее воскресенье, — свежие розы ведь появлялись в стакане каждое воскресное утро; розовый куст цвел все так же пышно. Воробышкам, которые уже успели опериться, тоже хотелось бы полететь с матерью, но воробыха сказала им:

— Сидите дома!— И они остались сидеть.

А она летела, летела да как-то и попала лапкой в силочку из конского волоса, который прикрепили к ветке мальчишки-птицеловы. Петля так и впилась воробыхе в ножку, словно хотела перерезать ее. Вот была боль! А страх-то! Мальчишки подскочили и грубо схватили птицу.

— Простой воробей!— сказали они, но все-таки не выпустили птицу, а понесли ее к себе во двор, уго-

щая по носу щелчками всякий раз, как она попискивала.

На дворе у них стоял в это время старичок, который занимался варкой мыла для бороды и для рук, в шариках и в кусках. Старичок был такой веселый, вечно переходил с места на место, нигде не жил по долгу. Он увидел у мальчишек птицу и услышал, что они собирались выпустить ее на волю — на что им был простой воробей!

— Пойдите!— сказал он.— Мы с ней кое-что сделаем. Вот будет красота!

Услышав это, воробыха задрожала всем телом, а старичок вынул из своего ящика, где хранились чудеснейшие краски, целую пачку сусального золота в листочках, велел мальчишкам принести ему яйцо, смазал белком всю птицу и потом обклеил ее золотом. Воробыха стала вся золотая, но она и не думала о своем великолении, а дрожала всем телом. Старичок между тем оторвал от красной подкладки своей старой куртки лоскуток, вырезал его зубчиками, как петушиный гребешок, и приклеил птице на голову...

— Поглядим теперь, как полетит золотая птичка!— сказал старичок и выпустил воробыху, которая в ужасе понеслась прочь. Вот блеск-то был! Все птицы переполошились — и воробьи и даже ворона, да не какой-нибудь годовалый птенец, а большая! Все они пустились вслед за воробыхой, желая узнать, что это за важная птица.

— Правдо, диво! Правдо, диво!— каркала ворона.

— Подожди! Подожди!— чирикали воробьи.

Но она не хотела ждать; в ужасе летела она домой, но силы все более и более изменяли ей; она ежеминутно готова была упасть на землю, а птичья стая все росла да росла. Тут были и большие и малые птицы; некоторые подлетали к ней вплотную, чтобы клюнуть ее.

— Ишь ты! Ишь ты!— щebetали и чирикали они.

— Ишь ты! Ишь ты!— зачирикали и птенцы, когда она подлетела к своему гнезду.— Это, верно, павлин! Ишь, какой разноцветный! Глазам невтерпеж, как говорила мать. Пип! Вот она, красота!

И они все принялись клевать ее своими носиками, так что ей никак нельзя было попасть в гнездо, а от

ужаса она не могла даже «пип» сказать, не то что — «я ваша мать!» Остальные птицы тоже принялись клевать воробиху и повыщипали из нее все перья. Обливаясь кровью, упала она в самую середину розового куста.

— Бедная пташка! — сказали розы. — Мы укроем тебя! Склони к нам свою головку!

Воробиха еще раз распустила крылья, потом плотно прижала их к телу и умерла у своих соседок, свежих, прекрасных роз.

— Пип! — сказали воробышки. — Куда же это девалась мамаша? Или она нарочно выкинула такую штуку? Верно, пора нам жить своим умом! Гнездо она оставила нам в наследство, но владеть им надо кому-нибудь одному! Ведь у каждого из нас будет своя семья! Кому же?

— Да уж, вам здесь не место будет, когда я обзаведусь женой и детьми! — сказал самый младший.

— У меня побольше твоего будет и жен и детей! — сказал другой.

— А я старше вас всех! — сказала третья.

Воробышки поссорились, хлопали крылышками, клевали друг друга и — бух! — попадали из гнезда один за другим. Но и лежа на земле в растяжку, они не переставали злиться, кривили головки набок и мигали глазом, обращенным кверху. У них была своя манера дуться.

Летать они кое-как уже умели, поупражнялись еще немножко и порешили расстаться, а чтобы узнавать друг друга при встречах, уговорились шаркать три раза левою ножкой и говорить «пип».

Младший, который завладел гнездом, постарался рассестся в нем как можно пошире; теперь он был тут полным хозяином, только недолго. Ночью из окна домика показалось пламя и охватило крышу; сухая солома вспыхнула, дом сгорел, а с ним и воробей; молодые же супруги счастливо спаслись.

Наутро взошло солнышко; вся природа смотрела такую освеженною, словно подкрепившеюся за ночь здоровым сном, но на месте домика торчали только обгорелые балки, опиравшиеся на дымовую кирпичную трубу, которая теперь была сама себе госпожою. Развалины еще сильно дымилась, а розовый куст стоял все такой же свежий, цветущий; каждая веточ-

ка, каждая роза отражались в тихой воде пруда, как в зеркале.

— Ах, что за прелесть! Эти розы — и рядом обгоревшие развалины строения! — сказал какой-то прохожий. — Прелестнейшая картинка! Надо ею воспользоваться!

И он вынул из кармана книжку с чистыми, белыми страницами и карандаш — это был художник. Живо набросал он карандашом дымившиеся развалины, обгорелые балки, покрывившуюся трубу — она кривилась все больше и больше — и на самом первом плане цветущий розовый куст. Куст в самом деле был прекрасен, и ради него-то и нарисовали всю картину.

Днем пролетали мимо два воробья, родившиеся здесь.

— Где же дом-то? — сказали они. — Где гнездо? Пип! Все сгорело, и наш братец тоже сгорел! Это ему за то, что он забрал себе гнездо! А розы таки уцелели! По-прежнему выставляют свои красные щеки! Небось не горюют о несчастье соседей? Несносные! И говорить-то с ними не хочется! Да и вообще здесь стало прескверно! Одно безобразие!

И они улетели.

Раз осенью выдался чудесный солнечный денек, — право, можно было подумать, что стоит лето. На дворе перед высоким крыльцом барской усадьбы было сухо и чисто; тут расхаживали голуби — и черные, и белые, и сизые; перья их так и блестели на солнышке; старые голубки-мамаши топорщили перышки и говорили молоденьким голубкам:

— В группы! В группы!

Так ведь было красивее и виднее.

— Кто эти серенькие крошки, что шмыгают у нас под ногами? — спросила старая голубка с зеленовато-красными глазками. — Серые крошки! Серые крошки!

— Это воробышки! Славные птички! А мы ведь всегда славились своею кротостью — пусть же они поклюют с нами! Они не вмешиваются в разговор и так мило шаркают лапкой.

Воробы в самом деле шаркали; каждый из них шаркнул три раза левою лапкой и сказал «пип». Поэтому все сейчас же узнали друг друга, — это были три воробья из сгоревшего дома.

— Славно тут едят! — сказали воробьи.

А голуби увивались вокруг голубок, самодовольно топорщили перышки, выпячивали зобы, судили и рядили.

— Глядите, глядите вон на ту зобастую голубку! Глядите, как она глотает горох! Ишь, все хватает самые крупные, самые лучшие горошины! Курр! Курр! Глядите, как она выпячивает зоб! Глядите на эту милую злюку! Курр! Курр! — И глаза у них налились от злости кровью. — В группы! В группы! Серые крошки! Серые крошки! Курр! Курр! — так это у них шло, идет и будет идти тысячи лет.

Воробьи кушали и слушали и тоже становились было в группы, но это им совсем не подходило. Насытившись, они ушли от голубей и стали перебивать им косточки, потом шмыгнули под решетку прямо в сад. Дверь в комнату, выходящую в сад, была отворена, и один из воробьев вспрыгнул на порог, — он плотно поел и потому набрался храбрости.

— Пип! — сказал он. — Какой я смелый!

— Пип! — сказала другой. — Я посмелее тебя!

И он прыгнул за порог. Там никого не было, это отлично заметил третий воробышек и залетел на самую середину комнаты, говоря:

— Войти так уж войти, или вовсе не входить! Презабавное тут, однако, человечье гнездо! А это что здесь поставлено? Да, что же это такое?

Как раз перед воробьями цвели розы, отражаясь в прозрачной воде, а рядом торчали обгорелые балки, опиравшиеся на готовую устье дымовую трубу.

— Да что же это? Как попало все это в барскую усадьбу?

И все три воробья захотели перелететь через розы и трубу, но ударились прямо о стену. И розы, и труба были только нарисованные, а не настоящие: художник написал по сделанному им маленькому наброску целую картину.

— Пип! — сказали воробьи друг другу. — Это так, пустое! Только для вида! Пип! Вот она, красота! Понимаете вы в этом хоть что-нибудь? Я — ровно ничего!

Тут в комнату вошли люди, и воробьи улетели.

Шли дни и годы, голуби продолжали ворковать, чтобы не сказать ворчать, — злющие птицы! Воробьи

мерзли и голодали зимой, а летом жили вовсю. Все они обзавелись семьями, или поженились, или как там еще назвать это! У них были уже птенцы, и каждый птенец, разумеется, был прекраснее и умнее всех птенцов на свете. Они все разлетелись в разные стороны, а если встречались, то узнавали друг друга по троекратному шарканью левой лапкой и по особому приветствию «пип». Самую старшую из воробьев, родившихся в ласточкином гнезде, была воробиха; она осталась в девицах, и у нее не было ни своего гнезда, ни птенцов. Ей вздумалось отправиться в какой-нибудь большой город, и вот она полетела в Копенгаген.

Близ королевского дворца, на самом берегу канала, где стояли лодки с яблоками и глиняной посудой, увидела она большой разноцветный дом. Окна, широкие внизу, суживались кверху. Воробиха посмотрела в одно, посмотрела в другое, и ей показалось, что она заглянула в чашечки тюльпанов: все стены так и пестрели разными рисунками и завитушками, а в середине каждого тюльпана стояли белые люди — одни из мрамора, другие из гипса, но для воробихи что мрамор, что гипс — все было едино. На крыше здания стояла бронзовая колесница с бронзовыми же конями, которыми правила богиня победы. Это был музей Торвальдсена.

— Блеску-то, блеску-то! — сказала воробиха. — Это, верно, красота! Пип! Но тут что-то побольше павлина!

Она еще помнила объяснение величайшей красоты, которое слышала в детстве от матери. Затем она слетела вниз, во двор. Там тоже было чудесно. На стенах были нарисованы пальмы и разные ветви, а посреди двора стоял большой цветущий розовый куст. Он склонял свои свежие ветви, усыпанные розами, к могильной плите. Воробиха подлетела к ней, увидав там еще нескольких воробьев. Пип! И она три раза шаркнула левою лапкой. Этим приветствием воробиха встречала из года в год всех воробьев, но никто не понимал его — расставшиеся не встречаются ведь каждый день, — и теперь она повторила его просто по привычке. Глядь, два старых воробья и один молоденький тоже шаркнули три раза левою лапкой и сказали «пип».

— А, здравствуйте! Здравствуйтесь!

Оказалось, что это были два старых воробья из ласточкиного гнезда и один молодой отпрыск семейства.

— Так вот где мы встретились! — сказали они. — Тут знаменитое место, только поживиться нечем! Вот она, красота-то! Пип!

Из боковых комнат, где стояли великолепные статуи, вышло во двор много народу; все подошли к каменной плите, под которою покоился великий мастер, изваявший все эти мраморные статуи, и долго-долго стояли возле нее, молча, с задумчивым, но светлым выражением на лицах. Некоторые собирали опавшие розовые лепестки и прятали их на память. Среди посетителей были и прибывшие издалека — из великой Англии, из Германии, из Франции. Самая красивая из дам взяла одну розу и спрятала ее у себя на груди. Видя все это, воробьи подумали, что розы царствуют здесь и что все здание построено, собственно, для них. По мнению воробьев, это было уж слишком большою честью для роз, но так как люди ухаживали за ними, то и воробьи не захотели отстать.

— Пип! — сказали они и принялись мести пол хвостами и коситься на розы одним глазом. Недолго они смотрели, живо признали своих старых соседок. Это были ведь они самые. Художник, срисовавший розовый куст и обгорелые развалины дома, выпросил затем у хозяев позволение выкопать куст и подарил его строителю музея. На свете не могло быть ничего прекраснее этих роз, и строитель посадил весь куст на могиле Торвальдсена. Теперь он цвел над ней, как живое воплощение красоты, и отдавал свои розовые душистые лепестки на память людям, являвшимся сюда из далеких стран.

— Вас определили на должность здесь, в городе? — спросили воробьи.

И розы кивнули им; они тоже узнали серых соседей и очень обрадовались встрече с ними.

— Как хороша жизнь! — сказали они. — Жить, цвести, встречаться со старыми друзьями, ежедневно видеть вокруг себя милые, радостные лица!.. Тут каждый день точно великий праздник!

— Пип! — сказали воробьи один другому. — Да, это наши старые соседки! Мы помним их происхождение. Как же! Прямо от пруда да сюда! Пип! Ишь,

в какую честь попали! Право, счастье приходит к иным во сне! И что хорошего в таких красных кляксах? Понять нельзя!.. А вон торчит увядший лепесток! Вижу! Вижу!

И каждый принялся клевать его; лепесток упал, но куст стоял все такой же свежий и зеленый; розы благоухали на солнышке над могилой Торвальдсена и склонялись к самой плите, как бы венчая его бесмертное имя.

ОЛЕ-ЛУКОЙЕ

Никто на свете не знает столько сказок, сколько знает их Оле-Лукойе. Вот мастер-то рассказывать!

Вечером, когда дети спокойно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оле-Лукойе. В одних чулках он тихо-тихо подымается по лестнице; потом осторожно приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка прыснет детям в глаза сладким молоком. В руках у него маленькая спринцовка, и молоко брызжет из нее тоненькой-тоненькой струйкой. Тогда веки у детей начинают слипаться, и они уж не могут разглядеть Оле, а он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылки. Подует — и головки у них сейчас отяжелеют. Это совсем не больно, — у Оле-Лукойе нет ведь злого умысла; он хочет только, чтобы дети уgomонились, а для этого их непременно надо уложить в постель! Ну, вот он и уложит их, а потом уж начинает рассказывать сказки.

Когда дети заснут, Оле-Лукойе присаживается к ним на постель. Одет он чудесно: на нем шелковый кафтан, только нельзя сказать, какого цвета — он отликает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую сторону повернется Оле. Под мышками у него по зонтику: один с картинками, который он раскрывает над хорошими детьми, и тогда им всю ночь снятся чудеснейшие сказки, а другой совсем простой, гладкий, который он развешивает над нехорошими детьми; ну, они и спят всю ночь как чурбаны, и поутру оказывается, что они ровно ничего не видали во сне!

А теперь послушайте, как Оле-Лукойе навещал каждый вечер одного маленького мальчика, Яльмара, и рассказывал ему сказки! Это будет целых семь сказок,— в неделе ведь семь дней.

ПОНЕДЕЛЬНИК

— Ну вот,— сказал Оле-Лукойе, уложив Яльмара в постель,— теперь украсим комнату!

И в один миг все комнатные цветы выросли, превратились в большие деревья, которые протянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку; комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви деревьев были усеяны цветами; каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а вкусом (если бы только вы захотели его попробовать) слаще варенья; плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях висели пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо что такое! Вдруг поднялись ужасные стоны в ящике стола, где лежали учебные принадлежности Яльмара.

— Что там такое?— сказал Оле-Лукойе, пошел и выдвинул ящик.

Оказалось, что это рвала и метала аспидная доска: в решение написанной на ней задачи вкралась ошибка, и все вычисления готовы были распасться; грифель скакал и прыгал на своей веревочке, точно собачка; он очень желал помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Яльмара; просто ужас брал, слушая ее! На каждой ее странице в начале каждой строки стояли чудесные большие и маленькие буквы,— это была пропись; возле шли другие, воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал сам Яльмар, и они, казалось, спотыкались об линейки, на которых должны были бы стоять.

— Вот как надо держаться!— говорила пропись.— Вот так, с легким наклоном вправо!

— Ах, мы бы и рады,— отвечали буквы Яльмара,— да не можем! Мы такие плохонькие!

— Так вас надо немного подтянуть!— сказал Оле-Лукойе.

— Ай, нет, нет!— закричали они и выпрямились так, что любо было глядеть.

— Ну, теперь нам не до сказок!— сказал Оле-Лукойе.— Будем-ка упражняться! Раз-два! Раз-два!

И он довел буквы Яльмара до того, что они стояли ровно и бодро, как любая пропись. Но когда Оле-Лукойе ушел и Яльмар утром проснулся, они выглядели такими же жалкими, как и прежде.

ВТОРНИК

Как только Яльмар улегся, Оле-Лукойе дотронулся своею волшебною спринцовкой до мебели, и все вещи сейчас же начали болтать между собою; все, кроме плевательницы; эта молчала и сердилась про себя на их суетность: говорят только о себе да о себе и даже не подумают о той, что так скромно стоит в углу и позволяет в себя плеватель!

Над комодом висела большая картина в золоченой раме; на ней была изображена красивая местность: высокие старые деревья, трава, цветы и широкая река, убегавшая мимо чудных дворцов, куда-то за лес, в безбрежное море.

Оле-Лукойе дотронулся волшебною спринцовкой до картины, и нарисованные на ней птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака понеслись по небу; видно было даже, как скользила по картине их тень.

Затем Оле приподнял Яльмара к раме, и мальчик стал ногами прямо в высокую траву. Солнышко светило на него сквозь ветви деревьев, он побежал к воде и уселся в лодочку, которая колыхалась у берега. Лодочка была выкрашена красною и белую краской, паруса блестели, как серебряные, и шесть лебедей в золотых коронах с сияющими голубыми звездами на головах повлекли лодочку вдоль зеленых лесов, где деревья рассказывали о разбойниках и ведьмах, а цветы — о прелестных маленьких эльфах и о том, что нашептали им бабочки.

Чудеснейшие рыбы с серебристою и золотистою чешуей плыли за лодкой, ныряли и плескали в воде хвостами; красные, голубые, большие и маленькие птицы летели за Яльмаром двумя длинными вереницами; комары танцевали, а майские жуки гудели: «Бум! Бум!»; всем хотелось провожать Яльмара, и у каждого была для него наготове сказка.

Да, вот это было плаванье!

Леса то густели и темнели, то становились похожими на чудеснейшие сады, освещенные солнцем и усеянные цветами. По берегам реки возвышались большие хрустальные и мраморные дворцы; на балконах их стояли принцессы, и все это были знакомые Яльмару девочки, с которыми он часто играл.

Они протягивали ему руки, и каждая держала в правой руке славного обсахаренного пряничного поросенка, — такого редко купишь у торговки. Яльмар, проплывая мимо, хватался за один конец пряника, принцесса крепко держалась за другой, и пряник разламывался пополам; каждый получал свою долю: Яльмар побольше, принцесса поменьше. У всех дворцов стояли на часах маленькие принцы; они отдавали Яльмару честь золотыми саблями и осыпали его изюмом и оловянными солдатиками, — вот что значит настоящие-то принцы!

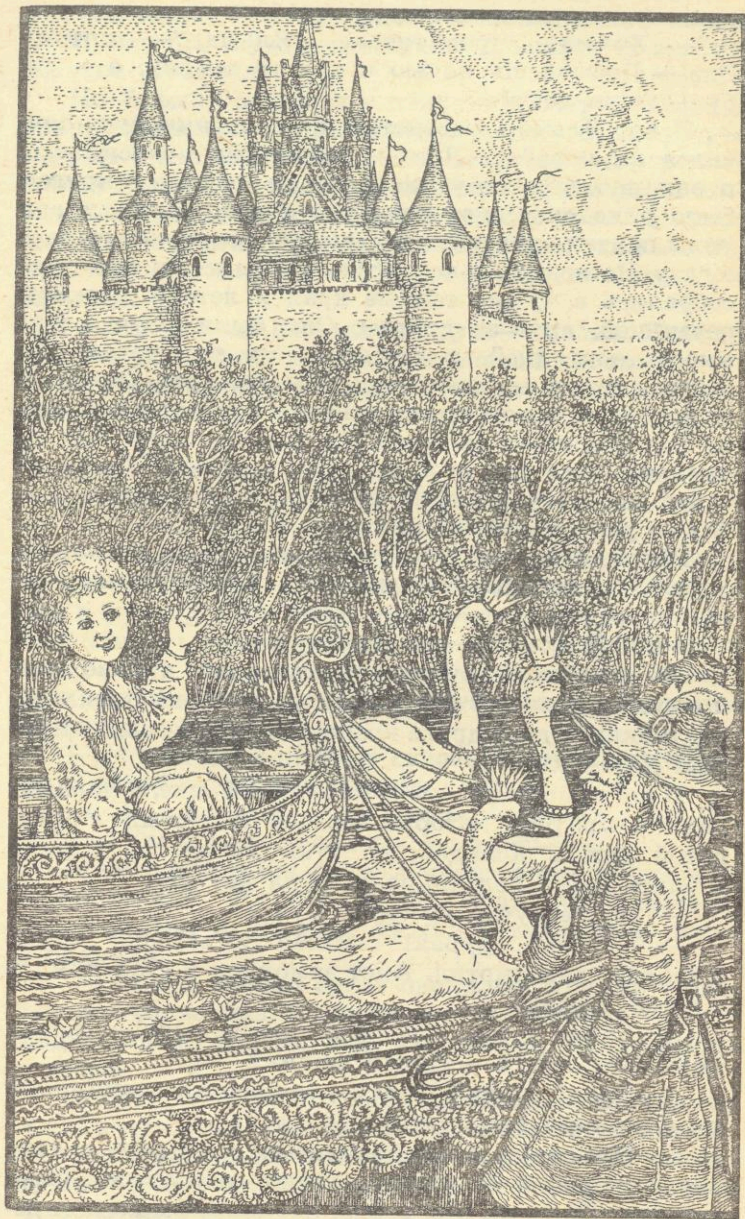
Яльмар плыл через леса, через какие-то огромные залы и города... Проплыл он и через тот город, где жила его старая няня, которая нянчила его, когда он был еще малюткой, и очень любила своего питомца. И вот он увидел ее; она кланялась, посылая ему рукою воздушные поцелуи и пела хорошенькую песенку, которую сама сложила и прислала Яльмару:

Мой Яльмар, тебя вспоминаю
Почти каждый день, каждый час!
Сказать не могу, как желаю
Тебя увидеть вновь хоть раз!
Тебя ведь я в люльке качала,
Учила ходить, говорить,
И в щечки и в лоб целовала,
Так как мне тебя не любить!
Люблю тебя, ангел ты мой дорогой!
Да будет вовеки господь бог с тобой!

И птички подпевали ей, цветы приплясывали, и старые ивы кивали, как будто Оле-Лукойе и им рассказывал сказку.

СРЕДА

Дождь все лил да лил! Яльмар слышал этот страшный шум даже во сне; когда же Оле-Лукойе открыл окно, оказалось, что вода стояла вровень



с подоконником. Целое озеро! Зато к самому дому причалил великолепнейший корабль.

— Хочешь прокатиться, Яльмар? — спросил Оле. — Побываешь ночью в чужих землях, а к утру — опять дома!

И вот Яльмар, разодетый по-праздничному, очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась, и они поплыли по улицам, мимо церкви, — кругом было одно сплошное огромное озеро. Наконец они уплыли так далеко, что земля совсем скрылась с глаз. По поднебесью неслась стая аистов; они тоже собрались в чужие теплые края и летели длиною вереницей, друг за другом. Они были в пути уже много-много дней, и один из них так устал, что крылья почти отказывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал опускаться на своих распущенных крыльях все ниже и ниже, вот он взмахнул ими еще раза два, но... напрасно! Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и — бах! — упал прямо на палубу.

Юнга подхватил его и посадил в птичник к курам, уткам и индейкам. Бедняга аист стоял и уныло озибался кругом.

— Ишь какой! — сказали куры.

А индейский петух надулся как только мог и спросил у аиста, кто он таков; утки же пятились, подталкивая друг друга крыльями, и кричали: «Дуррак! Дуррак!»

И аист рассказал им о жаркой Африке, о пирамидах и о страусах, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей, но утки ничего не поняли и опять стали подталкивать одна другую:

— Ну не дурак ли он?

— Конечно, дурак! — сказал индейский петух и сердито забормотал. Аист замолчал и стал думать о своей Африке.

— Какие у вас чудесные тонкие ноги! — сказал индейский петух. — Почему аршин?

— Кряк! Кряк! Кряк! — закричали смешливые утки, но аист как будто и не слышал.

— Могли бы и вы посмеяться с нами! — сказал аисту индейский петух. — Очень остроумно было сказано! Да куда, это, верно, слишком тонко для не-

го. Вообще нельзя сказать, чтобы он отличался понятливостью! Что ж, будем забавлять себя сами!

И курицы кудахтали, утки кричали, и это их ужасно забавляло.

Но Яльмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил аиста, и тот выпрыгнул к нему на палубу, — он уже успел отдохнуть. И вот аист как будто поклонился Яльмару в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. А курицы кудахтали, утки закричали, индейский же петух так надулся, что гребешок у него весь налился кровью.

— Завтра из вас сварят суп! — сказал Яльмар и проснулся опять в своей маленькой кроватке.

Славное путешествие проделали они ночью с Оле-Лукойе!

ЧЕТВЕРГ

— Знаешь что? — сказал Оле-Лукойе. — Только не пугайся! Я сейчас покажу тебе мышку! — И правда, в руке у него была прехорошенькая мышка. — Она явилась пригласить тебя на свадьбу! Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут они под полом в кладовой твоей матери. Чудесное помещение, говорят!

— А как же я пролезу сквозь маленькую дырочку в полу? — спросил Яльмар.

— Уж ложись на меня! — сказал Оле-Лукойе. — Ты у меня сделаешься маленьким.

И он дотронулся до мальчика своею волшебною спринцовкой. Яльмар вдруг стал уменьшаться, уменьшаться и наконец сделался величиною всего с пальчик.

— Теперь можно будет одолжить мундир у оловянного солдатика. Я думаю, этот наряд будет вполне подходящим: мундир ведь так красит, ты же идешь в гости!

— Ну хорошо! — согласился Яльмар, переоделся и стал похож на образцового оловянного солдатика.

— Не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушки? — сказала Яльмару мышка. — Я буду иметь честь отвезти вас.

— Ах, неужели вы сами будете беспокоиться, фрёкен!— сказал Яльмар, и вот они поехали на мышиную свадьбу.

Проскользнув в дырочку, прогрызенную мышами в полу, они попали сначала в длинный узкий коридор, здесь как раз только и можно было проехать в наперстке. Коридор был ярко освещен гнилушками.

— Ведь чудный запах?— спросила мышка-возница.— Весь коридор смазан салом! Что может быть лучше?

Наконец добрались до самой залы, где праздновалась свадьба. Направо, перешептываясь и пересмеиваясь между собой, стояли все мышки-дамы, а налево, покручивая лапками усы,— мышки-кавалеры, посередине же, на выеденной корке сыра, восседали жених с невестой и все время целовались на глазах у всех. Что ж, они ведь были обручены и готовились вступить в брак.

А гости все прибывали да прибывали; мыши чуть не давили друг друга насмерть, и вот счастливую парочку отгеснили к самым дверям, так что никому больше нельзя было ни войти, ни выйти. Зала, как и коридор, вся была смазана салом; другого угощения и не было; а на десерт гостей обносили горошиной, на которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена, то есть, конечно, всего-навсего первые буквы. Диво, да и только!

Все мыши сказали, что свадьба была великолепная и что время они провели очень приятно.

Яльмар поехал домой. Довелось ему побывать в знатном обществе, хоть и пришлось порядком съездиться, чтобы облечься в мундир оловянного солдата.

П Я Т Н И Ц А

— Просто не верится, сколько есть пожилых людей, которым страх как хочется заполучить меня к себе!— сказал Оле-Лукойе.— Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное. «Добренький, миленький Оле,— говорят они мне,— мы не можем сомкнуть глаз, лежим без сна всю ночь напролет и видим вокруг себя все свои дурные дела. Они, точно гадкие маленькие тролли, сидят по краям постели

и брызжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришел и прогнал их. Мы бы с удовольствием заплатили тебе, Оле!— добавляют они с глубоким вздохом.— Спокойной же ночи, Оле! Деньги на окне». Да что мне деньги! Я ни к кому не прихожу за деньгами!

— Что будем делать сегодня ночью?— спросил Яльмар.

— Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Только не на такой, как вчера. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовется Германом, хочет повенчаться с куклой Бертой; кроме того, сегодня ее день рождения и потому готовится много подарков!

— Знаю, знаю!— сказал Яльмар.— Как только куклам понадобится новое платье, сестра сейчас празднует их рождение или свадьбу. Это уж было сто раз!

— Да, а сегодня ночью будет сто первый и, значит, последний! Оттого и готовится нечто необыкновенное. Взгляни-ка!

Яльмар взглянул на стол. Там стоял домик из картона; окна были освещены, и все оловянные солдатики держали ружья на караул. Жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола; да, им было о чем задуматься! Оле-Лукойе, нарядившись в бабушкину черную юбку, обвенчал их, и вот вся мебель запела на мотив марша забавную песенку, которую написал карандаш:

Затянем песенку дружной,
Как ветер пусть несется!
Хотя чета наша, ей-ей,
Ничем не отзовется.
Из лайки оба и торчат
На палках без движенья,
Зато роскошен их наряд —
Глазам на загляденье!
Итак, прославим песней их:
Ура, невеста и жених!

Затем молодые получили подарки, но отказались от всего съедобного: они были сыты своей любовью.

— Что ж, поехать нам теперь на дачу или отправиться за границу?— спросил молодой.

На совет пригласили опытную путешественницу ласточку и старую курицу, которая уже пять раз была наседкой. Ласточка рассказала о теплых краях,

где зреют сочные, тяжелые виноградные кисти, где воздух так мягок, а горы расцвечены такими красками, о каких здесь не имеют и понятия.

— Там нет зато нашей кудрявой капусты!— сказала курица.— Однажды я со всеми своими цыплятами провела лето в деревне; там была целая куча песку, в котором мы могли рыться и копать сколько угодно! Кроме того, там был открыт вход в огород с капустой! Ах, какая она была зеленая! Не знаю, что может быть красивее!

— Да ведь один кочан похож на другой как две капли воды!— сказала ласточка.— К тому же здесь так часто бывает дурная погода.

— Ну, к этому можно привыкнуть!— сказала курица.

— А какой тут холод! Того и гляди, замерзнешь! Ужасно холодно!

— То-то и хорошо для капусты!— сказала курица.— Да наконец и у нас бывает тепло! Ведь четыре года тому назад лето стояло у нас целых пять недель! Какая жарница была! Все задыхались! Кстати сказать, у нас нет таких ядовитых тварей, как у вас там! Нет и разбойников! Надо быть отщепенцем, чтобы не находить нашу страну самою лучшею в мире! Такой недостойн и жить в ней!— Тут курица заплакала.— Я ведь тоже путешествовала, как же! Целых двенадцать миль проехала в бочонке! И никакого удовольствия нет в путешествии!

— Да, курица — особа вполне достойная!— сказала кукла Верта.— Мне тоже вовсе не нравится ездить по горам — то вверх, то вниз! Нет, мы переедем на дачу в деревню, где есть песочная куча, и будем гулять в огороде с капустой.

На том и порешили.

СУББОТА

— А сегодня будешь рассказывать?— спросил Яльмар, как только Оле-Луколке уложил его в постель.

— Сегодня некогда!— ответил Оле и раскрыл над мальчиком свой красивый зонтик.— Погляди-ка вот на этих китайцев!

Зонтик был похож на большую китайскую чашу, расписанную голубыми деревьями и узенькими мостиками, на которых стояли маленькие китайцы и кивали головами...

— Сегодня надо будет принарядить к завтрашнему дню весь мир!— продолжал Оле.— Завтра ведь праздник, воскресенье! Мне надо пойти на колокольню — посмотреть, вычистили ли церковные карлики все колокола, не то они плохо будут звонить завтра; потом надо в поле посмотреть, смел ли ветер пыль с травы и листьев. Самая же трудная работа еще впереди: надо снять с неба и перечистить все звездочки. Я собираю их в свой передник, но приходится ведь нумеровать каждую звездочку и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом разместить их все по местам, иначе они плохо будут держаться и посыплются с неба одна за другой!

— Послушайте-ка вы, господин Оле-Луколке!— сказал вдруг висевший на стене старый портрет.— Я прадедушка Яльмара и очень вам признателен за то, что вы рассказываете мальчику сказки; но вы не должны извращать его понятий. Звезды нельзя снимать с неба и чистить. Звезды — такие же светила, как наша Земля, тем-то они и хороши!

— Спасибо тебе, прадедушка!— отвечал Оле-Луколке.— Спасибо! Ты — глава фамилии, родоначальник, но я все-таки постарше тебя! Я старый язычник; римляне и греки звали меня богом сновидений! Я имел и имею вход в знатнейшие дома и знаю, как обходиться и с большими и с малыми! Можешь теперь рассказывать сам!

И Оле-Луколке ушел, взяв под мышку свой зонтик.

— Ну уж, нельзя и высказать своего мнения!— сказал старый портрет.

Тут Яльмар проснулся.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

— Добрый вечер!— сказал Оле-Луколке.

Яльмар кивнул ему, вскочил и повернул прадедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор.

— А теперь ты расскажи мне сказки про пять зеленых горошин, родившихся в одном стручке, про

петушиную ногу, которая ухаживала за куриной ногой, и про штопальную иглу, что воображала себя швейной иголкой.

— Ну, хорошенького понемножку! — сказал Оле-Лукойе. — Я лучше покажу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата, его тоже зовут Оле-Лукойе, но он ни к кому не является больше одного раза в жизни. Когда же явится, берет человека, сажает к себе на коня и рассказывает ему сказки. Он знает только две: одна так бесподобно хороша, что никто и представить себе не может, а другая так ужасна, что... да нет, невозможно даже и сказать — как!

Тут Оле-Лукойе приподнял Яльмара, поднес его к окну и сказал:

— Сейчас увидишь моего брата, другого Оле-Лукойе. Люди зовут его также Смертью. Видишь, он вовсе не такой страшный, каким рисуют его на картинках! Кафтан на нем весь вышит серебром, что твой гусарский мундир; за плечами развеивается черный бархатный плащ! Гляди, как он скачет!

И Яльмар увидел, как мчался во весь опор другой Оле-Лукойе и сажал к себе на лошадь и старых и малых. Одних он сажал перед собою, других позади; но сначала всегда спрашивал:

— Какие у тебя отметки за поведение?

— Хорошие! — отвечали все.

— Покажи-ка! — говорил он.

Приходилось показывать; и вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудную сказку, а тех, у кого были посредственные и плохие, — позади себя, и эти должны были слушать страшную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лошади, да не могли — они сразу крепко прирастали к седлу.

— Но ведь Смерть — чудеснейший Оле-Лукойе! — сказал Яльмар. — И я ничуть не боюсь его!

— Да и нечего бояться! — сказал Оле. — Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие отметки!

— Вот это поучительно! — пробормотал прадедушкин портрет. — Все-таки, значит, не мешает иногда высказать свое мнение!

Он был очень доволен.

Вот тебе и вся история об Оле-Лукойе! А вечером пусть он сам расскажет тебе еще что-нибудь.

СУНДУК-САМОЛЕТ

Жил-был купец, такой богач, что мог бы вымостить серебряными деньгами целую улицу, да еще переулочек в придачу; этого, однако, он не делал, — он знал, куда девать деньги, и уж если расходовал скиллинг, то наживал целый далер. Вот какой это был купец! Но вдруг он умер, и все денежки достались его сыну.

Весело зажил сын купца: каждую ночь ходил на маскарад, змеев пускал из кредитных бумажек, а круги по воде — вместо камешков золотыми монетами. Немудрено, что денежки прошли у него между пальцев и под конец из всего наследства осталось только четыре скиллинга, а из платья — старый халат да пара туфель-шлепанцев. Друзья и знать его больше не хотели — им ведь тоже неловко было теперь показаться с ним на улице, но один из них, человек добрый, прислал ему старый сундук и велел сказать: укладывайся! Что ж, отлично; одно горе — нечего ему было укладывать; он взял да и сел в сундук сам!

А сундук-то был не простой. Стоило нажать на замок — и сундук взвивался в воздух. Купеческий сын так и сделал. Фьють! — сундук вылетел в ним в трубу и понесся высоко-высоко, под самыми облаками, — только дно потрескивало! Купеческий сын поэтому побаивался, что вот-вот сундук разлетится вдребезги; ну и прыжок пришлось бы тогда совершить ему! Боже упаси! Но он благополучно прилетел в Турцию, зарыл свой сундук в лесу в кучу сухих листьев, а сам отправился в город, — тут ему нечего было стесняться своего наряда: в Турции все ходят в халатах и туфлях. На улице встретила его кормилица с ребенком, и он сказал ей:

— Послушай-ка, турецкая мамка! Что это за большой дворец стоит у самого города, почему окна там так высоко от земли?

— Тут живет принцесса! — сказала кормилица. — Ей предсказано, что она будет несчастной по милости

своего жениха; вот к ней никто и не смеет явиться без короля с королевой.

— Спасибо! — сказал купеческий сын, пошел обратно в лес, уселся в свой сундук, прилетел прямо на крышу дворца и влез к принцессе в окно.

Принцесса спала на диване и была так хороша собою, что он не мог не поцеловать ее. Она проснулась и очень испугалась, но купеческий сын сказал, что он турецкий бог, прилетевший к ней по воздуху, и ей это очень понравилось.

Они уселись рядышком, и он стал рассказывать ей сказки: о ее глазах — это были два чудных темных озера, в которых плавали русалочки-мысли; о ее белом лбе — это была снежная гора, а в недрах ее, в роскошных покоях, хранятся дивные картины; рассказал он и об аистах, которые приносят людям крошечных миленьких деток.

Да, чудесные были сказки! А потом он посватался за принцессу, и она тут же согласилась.

— Но вы должны прийти сюда в субботу! — сказала она ему. — Я пригласила на чашку чая короля с королевой. Они будут очень польщены тем, что я выхожу замуж за турецкого бога, но вы уж постарайтесь рассказать им сказку получше — мои родители очень любят сказки. Только мамаша любит слушать что-нибудь поучительное и серьезное, а папаша — веселое, чтобы можно было посмеяться.

— Я и не принесу никакого свадебного подарка, кроме сказки! — сказал купеческий сын.

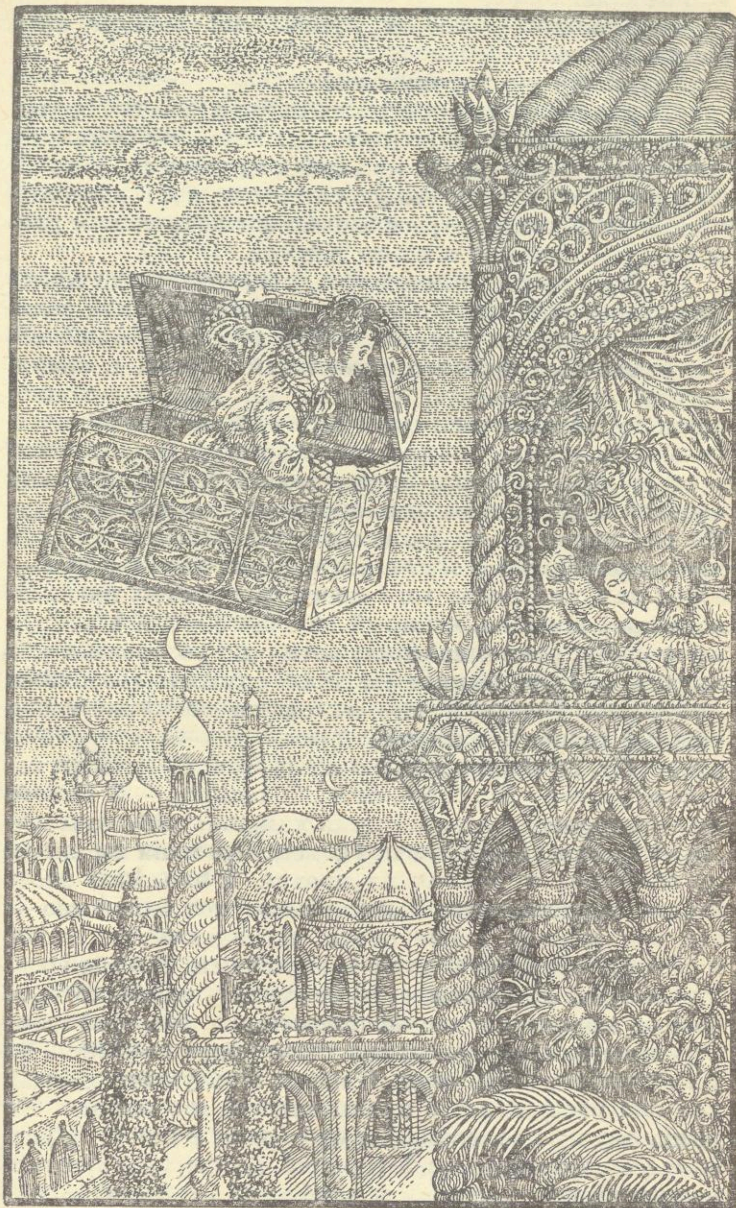
Принцесса подарила ему на прощание саблю, всю выложенную червонцами, а их-то ему и не доставало. С тем они и расстались.

Сейчас же полетел он на базар, купил себе новый халат, а затем уселся в лесу сочинять сказку; надо ведь было сочинить ее к субботе, а это не так-то просто, как кажется.

Но вот сказка была готова, и настала суббота.

Король, королева и весь двор собрались к принцессе на чашку чая. Купеческого сына приняли как нельзя лучше.

— Ну-ка, расскажите нам сказку! — сказала королева. — Только что-нибудь серьезное, поучительное.



— Но чтобы и посмеяться можно было! — прибавил король.

— Хорошо! — отвечал купеческий сын и стал рассказывать.

Слушайте же хорошенько!

«Жила-была пачка серных спичек, очень гордых своим высоким происхождением: глава их семьи, то есть сосна, была одним из самых крупных и старейших деревьев в лесу. Теперь спички лежали на полке между огнивом и старым железным котелком и рассказывали соседям о своем детстве.

— Да, хорошо нам жилось, когда мы были молоды-зелены (мы ведь тогда и в самом деле были зеленые!), — говорили они. — Каждое утро и каждый вечер у нас был бриллиантовый чай — роса, в ясную погоду день-деньской светило на нас солнышко, а птички рассказывали нам свои сказки! Мы отлично понимали, что принадлежим к богатой семье: листовые деревья были одеты только летом, а у нас хватало средств и на зимнюю, и на летнюю одежду. Но вот явились раз дровосеки, и начались великие перемены! Погибла и вся наша семья! Глава семьи — ствол получил после того место грот-мачты на великокольном корабле, который мог бы объехать вокруг всего света, если б захотел; ветви же разбрелись кто куда, а нам вот выпало на долю служить светочами для черни. Вот ради чего очутились на кухне такие важные господа, как мы!

— Ну, со мной все было по-другому! — сказал котелок, рядом с которым лежали спички. — С самого моего появления на свет меня каждый день начищают до блеска и испытывают огнем. Без меня им никак не обойтись, и, говоря по правде, я занимаю здесь в доме первое место. Единственное мое баловство — это вот лежать после обеда чистеньким на полке и вести приятную беседу с товарищами. Все мы вообще большие домоседы, если не считать ведра, которое бывает иногда во дворе; новости же нам приносит корзинка для провизии; она часто ходит на рынок, но у нее уж чересчур острый язык. Послушать только, как она рассуждает о правительстве и о народе! На днях, слушая ее, свалился от страха с полки и разбился в черепки старый горшок! Да, чересчур легкомысленна она — скажу я вам!

— Уж больно ты разболтался! — сказала вдруг огниво, и сталь так ударила по кремню, что посыпались искры. — Не устроить ли нам лучше вечеринку?

— Конечно, конечно. Поговорим о том, кто из нас всех знатнее! — сказали спички.

— Нет, я не люблю говорить о самой себе, — сказала глиняная миска. — Будем просто вести беседу! Я начну и расскажу вам кое-что из жизни, что всем знакомо и понятно, а это ведь приятнее всего. Так вот: на берегу родного моря, под тенью буков...

— Чудесное начало! — сказали тарелки. — Вот это будет история как раз нам по вкусу!

— Там в одной мирной семье провела я свою молодость. Вся мебель была полированная, пол чисто вымыт, а занавески на окнах сменялись каждые две недели.

— Как вы интересно рассказываете! — сказала метелка. — В вашем рассказе так и слышна женщина, чувствуется какая-то особая чистоплотность!

— Да, да! — сказала ведро и от удовольствия даже подпрыгнуло, плеснув на пол воду.

Глиняная миска продолжала свой рассказ, и конец был не хуже начала.

Тарелки загремели от восторга, а метелка достала из ящика с песком зелень петрушки и увенчала ею миску; она знала, что это раздосадует всех остальных, да к тому же подумала: «Если я увенчаю ее сегодня, она увенчает меня завтра!»

— Теперь мы попляшем! — сказали угольные щипцы и пустились в пляс. И боже мой, как они вскидывали то одну, то другую ногу! Старая обивка на стуле, что стоял в углу, не выдержала такого зрелища и лопнула!

— А нас увенчают? — спросили щипцы, и их тоже увенчали.

«Все это одна чернь!» — думали спички.

Теперь была очередь за самоваром: он должен был спеть. Но самовар отговорился тем, что может петь лишь тогда, когда внутри у него кипит, — он просто важничал и не хотел петь иначе, как стоя на столе у господ.

На окне лежало старое гусяное перо, которым обыкновенно писала служанка; в нем не было ничего замечательного, кроме разве того, что оно слишком

глубоко было обмакнуто в чернильницу, но именно этим оно и гордилось!

— Что ж, если самовар не хочет петь, так и не надо! — сказала оно. — За окном висит в клетке соловей — пусть он споет! Положим, он не из ученых, но об этом мы сегодня говорить не будем.

— По-моему, это в высшей степени неприлично — слушать какую-то пришлую птицу! — сказал большой медный чайник, кухонный певец и сводный брат самовара. — Разве это патриотично? Пусть нас рассудит корзинка для провизии!

— Я просто из себя выхожу! — сказала корзинка. — Вы не поверите, до чего я выхожу из себя! Разве так следует проводить вечера? Неужели нельзя поставить дом на надлежащую ногу? Каждый бы тогда знал свое место, и я руководила бы всеми! Тогда дело пошло бы совсем иначе!

— Давайте шуметь! — закричали все.

Вдруг дверь отворилась, вошла служанка, и — все присмирели, никто ни гугу; но не было ни единого горшка, который бы не кичился втайне своей знатностью и не воображал, что он все умеет. «Уж если бы я взялся за дело, пошло бы веселье!» — думал про себя каждый.

Служанка взяла спички и зажгла ими свечку. Боже ты мой, как они зафыркали, загораясь!

«Вот теперь все видят, что мы здесь первые персоны! — думали они. — Какой от нас блеск, сколько света!»

Тут они и сгорели».

— Чудесная сказка! — сказала королева. — Я точно сама посидела на кухне вместе со спичками! Да, ты достоин руки нашей дочери.

— Конечно! — сказал король. — Свадьба будет в понедельник!

Теперь они уже говорили ему ты — он ведь скоро должен был сделаться членом их семьи.

Итак, день свадьбы был объявлен, и вечером в городе устроили иллюминацию, а в народ бросали пышки и крендели. Уличные мальчишки поднимались на цыпочки, чтобы поймать их, кричали «ура» и свистели в пальцы; великолепие было несказанное.

«Надо же и мне устроить что-нибудь!» — подумал купеческий сын; он накупил ракет, хлопушек и про-

чего, положил все это в свой сундук и взвился в воздух.

Пиф, паф! Шш-пшш! Вот так трескотня пошла, вот так шипение!

Турки подпрыгивали так, что туфли летели через головы; никогда еще не видывали они такого фейерверка. Теперь-то все поняли, что на принцессе женится сам турецкий бог.

Вернувшись в лес, купеческий сын подумал: «Надо пойти в город послушать, что там говорят обо мне!» И немудрено, что ему захотелось узнать это.

Ну и рассказов же ходило по городу! К кому он ни обращался, всякий, как он заметил, рассказывал о виденном по-своему, но все в один голос говорили, что это было дивное зрелище.

— Я видел самого турецкого бога! — говорил один. — Глаза у него что твои звезды, а борода что пена морская!

— Он летел в огненном плаще! — рассказывал другой. — А из складок выглядывали прелестнейшие ангелочки.

Да, много чудес рассказали ему, а на другой день должна была состояться и свадьба.

Пошел он назад в лес, чтобы опять сесть в свой сундук, да куда же он девался? Сгорел! Купеческий сын заронил в него искру от фейерверка, сундук тлел, тлел, да и вспыхнул; теперь от него оставалась одна зола. Так и не удалось купеческому сыну опять прилететь к своей невесте.

А она весь день стояла на крыше, дожидаясь его, да ждет и до сих пор! Он же ходит по белу свету и рассказывает сказки, только уж не такие веселые, как была его первая сказка о серных спичках!

БУЗИННАЯ МАТУШКА

Один маленький мальчик раз простудился; где он промочил себе ноги — никто и понять не мог; погода стояла совсем сухая. Мать раздела его, уложила в постель и велела принести чайник, чтобы заварить бузинного чая — отличное потогонное! В это самое время в комнату вошел славный, веселый старичок,

живший в верхнем этаже того же дома. Он был совсем одинок, не было у него ни жены, ни деток, а он так любил детей, умел рассказывать им такие чудесные сказки и истории, что просто чудо.

— Ну, выпей свой чай, а потом, может быть, услышишь сказку!— сказала мать.

— То-то вот, если бы знать какую-нибудь новенькую!— отвечал старичок, ласково кивая головой.— Но где же это наш мальчуган промочил себе ноги?

— Да, вот где?— сказала мать.— Никто и понять не может!

— А сказка будет?— спросил мальчик.

— Сначала мне нужно знать, глубока ли водосточная канава в переулке, где ваша школа? Можешь ты мне сказать это?

— Как раз мне по голенище!— отвечает мальчик.— Но это в самом глубоком месте!

— Вот отчего у нас и мокрые ноги!— сказал старичок.— Теперь следовало бы рассказать тебе сказку, да ни одной готовой не знаю!

— Вы сейчас же можете сочинить ее!— сказал мальчик.— Мама говорит, что вы на что ни взглянете, до чего ни дотронетесь, из всего у вас выходит сказка или история.

— Да, но такие сказки и истории никуда не годятся. Настоящие, те приходят сами! Придут и постучатся мне в лоб: «Вот я!»

— А скоро какая-нибудь постучится?— спросил мальчик.

Мать засмеялась, засыпала в чайник бузинного чая и заварила.

— Ну, расскажите же! Расскажите какую-нибудь сказку!

— Да, вот если бы пришла сама! Но они важные, приходят только, когда им самим вздумается! Стой,— сказал он вдруг.— Вот она! Гляди на чайник!

Мальчик посмотрел; крышка чайника начала приподыматься, и из-под нее выглянули свежие беленькие цветочки бузины, затем выросли и длинные зеленые ветви. Они росли даже из носика чайника, и скоро перед мальчиком был целый куст; ветви тянулись к самой постели и раздвигали занавески. Как славно цвела и благоухала бузина! Из зелени ее вы-

глядывало ласковое лицо старушки, одетой в какое-то удивительное платье, зеленое, как листья бузины, и все усеянное белыми цветочками. Сразу даже не разобрать было — платье ли это или просто зелень и живые цветочки бузины.

— Что это за старушка?— спросил мальчик.

— Римляне и греки звали ее Дриадой!— сказал старичок.— Но для нас это слишком мудреное имя, и у нас в Новой слободке ей дали прозвище получше: Бузинная матушка. Смотри же на нее хорошенько да слушай, что я буду рассказывать!

Такой же точно большой, покрытый цветами куст рос в углу одного бедного дворика в Новой слободке. Под кустом сидели в послеобеденный час и грелись на солнышке старичок со старушкой: старый отставной матрос и его жена. Старички были богаты детьми, внуками и правнуками и скоро должны были отпраздновать свою золотую свадьбу, да только не помнили хорошенько дня и числа. Из зелени глядела на них Бузинная матушка, такая же славная и приветливая, как вот эта, над чайником, и говорила: «Я-то знаю день вашей золотой свадьбы!» Но старики были заняты разговором — они вспоминали старицу — и не слышали ее.

— Да, помнишь,— сказал старый матрос,— как мы бегали и играли с тобой детьми! Вот тут, на этом самом дворе, мы сажали садик! Помнишь, втыкали в землю прутики и веточки?

— Да, да!— подхватила старушка.— Помню, помню! Мы усердно поливали эти веточки; одна из них была бузинная, пустила корни, ростки и вот как выросла! Мы, старички, можем теперь сидеть в ее тени!

— Правда!— продолжал муж.— А вот в том углу стоял чан с водою. Там мы пускали мой кораблик, который я сам вырезал из дерева. Как он плавал! А скоро мне пришлось пуститься и в настоящее плавание!

— Да, но прежде еще мы ходили в школу и кое-чему научились!— перебила старушка.— А потом нас подтвервали. Мы оба прослезились тогда!.. А потом взяли за руки и пошли осматривать Круглую башню, взбирались на самый верх и любовались оттуда городом и морем. После же мы отправились

в Фредриксборг и смотрели, как катались по каналам в своей великолепной яхте король с королевой.

— Да, и скоро мне пришлось пуститься в настоящее плавание! Много, много лет провел я вдали от родины!

— Сколько слез я пролила! Мне уж думалось, что ты умер и лежишь на дне морском! Не раз вставала я по ночам посмотреть, вертится ли флюгер. Флюгер-то вертелся, а ты все не приезжал! Я отлично помню, как однажды, в самый ливень, во двор к нам приехал мусорщик. Я жила там в прислугах и вышла с мусорным ящиком, да остановилась в дверях. Погода-то была ужасная! В это самое время пришел почтальон и подал мне письмо от тебя. Пришлось же этому письму погулять по белу свету! Как я схватила его!.. И сейчас же принялась читать. Я смеялась и плакала зараз... Я была так рада! В письме говорилось, что ты теперь в теплых краях, где растет кофе! Вот, должно быть, благословенная страна! Ты много еще о чем рассказывал в своем письме, и я все это словно видела перед собою. Дождь так и поливал, а я все стояла в дверях с мусорным ящиком. Вдруг кто-то обнял меня за талию...

— Да, и ты закатила ему такую звонкую пощечину, что люблю!

— Ведь я же не знала, что это ты! Ты догнал свое письмо! Какой ты был бравый, красивый, да ты и теперь все такой же! Из кармана у тебя торчал желтый шелковый платок, а на голове красовалась клеенчатая шляпа. Такой щеголь! Но что за погодка стояла, и на что была похожа наша улица!..

— Потом мы поженились!— продолжал старый матрос.— Помнишь? А там пошли у нас детки: первый мальчуган; потом Мари, Нильс, Петер и Ханс Кристиан!

— Как они выросли и какими стали славными людьми! Все их любят!

— Теперь уж у их детей есть дети!— сказал старичок.— И какие крепыши наши правнуки!.. Сдается мне, что наша свадьба была как раз в эту пору.

— Как раз сегодня!— сказала Бузинная матушка и просунула голову между старичками, но те подумали, что это кивает им головой соседка. Они сидели рука в руку и любовно смотрели друг на друга. Не-

много погодя пришли к ним дети и внучата. Они-то отлично знали, что сегодня день золотой свадьбы стариков, и уже поздравляли их утром, но старички успели позабыть об этом, хотя отлично помнили все, что случилось много лет тому назад. Бузина так и благоухала, солнышко садилось и светило на прощание старичкам прямо в лицо, раздумывая их щеки. Младший из внуков плясал вокруг дедушки с бабушкой и радостно кричал, что сегодня вечером у них будет пир: за ужином подадут горячий картофель! Бузинная матушка кивала головой и кричала «ура» вместе со всеми.

— Да ведь это вовсе не сказка!— сказал мальчуган, когда рассказчик остановился.

— Это ты так говоришь,— отвечал старичок,— а вот спроси-ка Бузинную матушку!

— Это не сказка!— отвечала Бузинная матушка.— Но сейчас начнется и сказка! Из действительности-то и вырастают чудеснейшие сказки. Иначе мой благоухающий куст не вырос бы из чайника.

С этими словами она взяла мальчика на руки; ветви бузины, покрытые цветами, вдруг сдвинулись, и мальчик со старушкой очутились словно в густой беседке, которая понеслась с ними по воздуху! Вот было хорошо! Бузинная матушка превратилась в маленькую прелестную девочку, но платьице на ней осталось то же — зеленое, все усеянное белыми цветочками. На груди девочки красовался живой бузинный цветочек, на светло-русых кудрях — целый венок из тех же цветов. Глаза у нее были большие, голубые. Ах, она была такая хорошенькая, что просто загляденье! Мальчик поцеловался с девочкой, и оба стали одного возраста, одних мыслей и чувств.

Рука об руку вышли они из беседки и очутились в саду перед домом. На зеленой лужайке стояла прислоненная к дереву тросточка отца. Для детей и тросточка была живая; стоило сесть на нее верхом, и блестящий набалдашник стал великолепной лошадиной головой с длинной развевающейся гривой; затем выросли четыре тонкие крепкие ноги, и горячий конь помчал детей вокруг лужайки.

— Теперь мы поскачем далеко-далеко!— сказал мальчик.— В барскую усадьбу, где мы были в прошлом году!

И дети скакали вокруг лужайки, а девочка — мы ведь знаем, что это была сама Бузинная матушка, — приговаривала:

— Ну, вот мы и за городом! Видишь крестьянские домики? А вон те полукруглые выступы в стене, похожие на исполинские яйца? Это ведь хлебные печи. Над домиками раскинула свои ветви бузина. Вот бродит по двору петух! Знай себе разгребает сор и выискивает корм для кур! Гляди, как он важно выступает!.. А вот мы и на высоком холме, у церкви! Какие славные развесистые дубы растут вокруг нее! Один из них наполовину вылез из земли корнями!.. Вот мы у кузницы! Гляди, как ярко пылает огонь, как работают тяжелыми молотами полунагие люди! Искры сыплются дождем!.. Но дальше, дальше, в барскую усадьбу!

И все, что ни называла девочка, сидевшая верхом на палке позади мальчика, мелькало перед их глазами. Мальчик видел все это, а между тем они только кружились по лужайке. Потом они отправились в боковую аллею и стали там устраивать себе маленький садик. Девочка вынула из своего венка один бузинный цветочек и посадила его в землю; он пустил корни и ростки, и скоро вырос большой куст бузины, точь-в-точь как у старичков в Новой слободке, когда они были еще детьми. Мальчик с девочкой взялись за руки и тоже пошли гулять, но отправились не на Круглую башню и не в Фредериксборгский сад; нет, девочка крепко обняла мальчика, поднялась с ним на воздух, и они полетели над Данией. Весна сменялась летом, лето — осенью и осень — зимою; тысячи картин отражались в глазах и запечатлевались в сердце мальчика, а девочка все приговаривала:

— Этого ты не забудешь никогда!

А бузина благоухала так сладко, так чудно! Мальчик вдыхал и аромат роз, и запах свежих буков, но бузина пахла все сильнее, — ведь ее цветочки красовались у девочки на груди, а к ней он так часто склонялся головою.

— Как чудесно здесь весной! — сказала девочка, и они очутились в свежем, зеленом буковом лесу; у их ног цвела душистая белая буквица, из травки выглядывали прелестные бледно-розовые анемоны. —

О, если бы вечно царила весна в благоухающих датских лесах!

— Как хорошо здесь летом! — сказала она, и они пронеслись мимо старой барской усадьбы с древним рыцарским замком; красные стены и фронтоны отражались в прудах; по ним плавали лебеди, заглядывая в темные, прохладные аллеи сада. Нивы волновались, точно море, во рвах пестрели красненькие и желтенькие полевые цветочки, по изгородям вился дикий хмель и цветущий вьюнок. А вечером высоко взошла круглая ясная луна, с лугов понесся сладкий аромат свежего сена! Это не забудется никогда!

— Как чудно здесь осенью! — снова говорила девочка, и свод небесный вдруг стал вдвое выше и синее. Леса запестрели красными, желтыми и еще зелеными листьями. Охотничьи собаки вырвались на волю! Целые стаи уток с криком полетели над курганами, где лежат старые камни, обросшие ежевикой. На темно-синем море забелели паруса, а старухи, девушки и дети чистили хмель и бросали его в большие чаны. Молодежь распевала старинные песни, а старухи рассказывали сказки про троллей и домовых. Лучше не может быть нигде!

— А как хорошо здесь зимою! — говорила она затем, и все деревья покрылись инеем; ветви их превратились в белые кораллы. Снег захрустел под ногами, точно на всех были новые сапоги, а с неба посыпались, одна за другою, падучие звездочки. В домах зажглись елки, обвешанные подарками; все люди радовались и веселились. В деревнях, в крестьянских домиках не умолкали скрипки, летели в воздух яблочные пышки. Даже самые бедные дети говорили: «Как хорошо зимою!»

Да, хорошо! Девочка показывала все это мальчику, и повсюду благоухала бузина, повсюду развевался красный флаг с белым крестом, флаг, под которым плавал старый матрос из Новой слободки. И вот мальчик стал юношей, и ему тоже пришлось отправиться в дальнее плавание в теплые края, где растет кофе. На прощание девочка дала ему цветок с своей груди, и он спрятал его в псалтырь. Часто вспоминал он на чужбине свою родину и раскрывал книгу — всегда на том самом месте, где лежал цветочек, данный ему на память! И чем больше юноша смотрел на

цветок, тем свежее тот становился и сильнее пахнул, а юноше казалось, что до него доносится аромат датских лесов. В лепестках же цветка ему чудилось личико голубоглазой девочки; он как будто слышал ее шепот: «Как хорошо тут весной, летом, осенью и зимою!» И сотни картин проносились в его памяти.

Так прошло много лет; он состарился и сидел со своею старушкой женой под цветущим кустом бузины. Они держались за руки и говорили о былых днях и о своей золотой свадьбе, точь-в-точь как их прадед и прабабушка из Новой слободки. Голубоглазая девочка с бузинными цветочками в волосах и на груди сидела в ветвях бузины, кивала им головой и говорила: «Сегодня ваша золотая свадьба!» Потом она вынула из своего венка два цветочка, поцеловала их, и они заблестели сначала как серебряные, а потом как золотые. Когда же девочка возложила их на головы старичков, цветы превратились в короны, и муж с женой сидели под цветущим, благоухающим кустом, словно король с королевой.

И вот старик пересказал жене историю о Бузинной матушке, как сам слышал ее в детстве, и обоим казалось, что в той истории было так много похожего на историю их собственной жизни. И как раз то, что было в ней похожего, больше всего и нравилось им.

— Да, так-то! — сказала девочка, сидевшая в зелени. — Кто зовет меня Бузинной матушкой, кто Дриадой, а настоящее-то мое имя Воспоминание. Я сижу на дереве, которое все растет и растет; я помню все и умею рассказывать обо всем! Покажи-ка, цел ли еще у тебя мой цветочек?

И старик раскрыл псалтырь: бузинный цветочек лежал такой свежий, точно его сейчас только вложили туда! Воспоминание дружески кивало старичкам, а те сидели в золотых коронах, освещенные пурпурным вечерним солнцем. Глаза их закрылись, и... Да тут и сказке конец!

Мальчик лежал в постели и сам не знал, видел ли он все это во сне или только слушал сказку. Чайник стоял на столе, но из него не росла бузина, а старичок уже собирался уходить и вскоре ушел.

— Какая прелесть! — сказал мальчик. — Мама, я побывал в теплых краях!

— Верю, верю! — сказала мать. — После двух таких чашек крепкого бузинного чая немудрено побывать в теплых краях! — И она хорошенько укутала его, чтобы он не простудился. — Ты словно поспал, пока мы со старичком сидели да спорили о том, сказка это или была!

— А где же Бузинная матушка? — спросил мальчик.

— В чайнике! — ответила мать. — И пусть себе там остается!

АИСТЫ

На крыше самого крайнего домика в одном маленьком городке приютилось гнездо аиста. В нем сидела мамаша с четырьмя птенцами, которые высывали из гнезда свои маленькие черные клювы, — они у них еще не успели покраснеть. Неподалеку от гнезда, на самом коньке крыши, стоял, вытянувшись в струнку и поджав под себя одну ногу, сам папаша; ногу он поджимал, чтобы не стоять на часах без дела. Можно было подумать, что он вырезан из дерева, до того он был неподвижен.

«Вот важно так важно! — думал он. — У гнезда моей жены стоит часовой! Кто же знает, что я ее муж? Могут подумать, что я наряжен сюда в караул. То-то важно!» И он продолжал стоять на одной ноге.

На улице играли ребяташки; увидев аиста, самый озорной из мальчуганов затаил, как умел и помнил, старинную песенку об аистах; за ним подхватили все остальные:

Аист, аист белый,
Что стоишь день целый,
Словно часовой,
На ноге одной?
Или деток хочешь
Уберечь своих?
Попусту хлопочешь, —
Мы изловим их!
Одного повесим,
В пруд швырнем другого,
Третьего заколем,
Младшего ж живого

На костер мы бросим
И тебя не спросим!

— Послушай-ка, что поют мальчики!— сказали птицы.— Они говорят, что нас повесят и утопят!

— Не нужно обращать на них внимания!— сказала им мать.— Только не слушайте, ничего и не будет!

Но мальчуганы не унимались, пели и дразнили аистов; только один из мальчиков, по имени Петер, не захотел пристать к товарищам, говоря, что грешно дразнить животных. А мать утешала птенцов.

— Не обращайтесь внимания!— говорила она.— Смотрите, как спокойно стоит ваш отец, и это на одной-то ноге!

— А нам страшно!— сказали птенцы и глубоко-глубоко запрятали головки в гнездо.

На другой день ребяташки опять высыпали на улицу, увидели аистов и опять запели:

Одного повесим,
В пруд швырнем другого...

— Так нас повесят и утопят?— опять спросили птенцы.

— Да нет же, нет!— отвечала мать.— А вот скоро мы начнем учење! Вам нужно выучиться летать! Когда же выучитесь, мы отправимся с вами на луг в гости к лягушатам. Они будут приседать перед нами в воде и петь: «Ква-ква-ква!» А мы съедим их — вот будет веселье!

— А потом?— спросили птенцы.

— Потом все мы, аисты, соберемся на осенние маневры. Вот уж тогда надо уметь летать как следует! Это очень важно! Того, кто будет летать плохо, генерал проколет своим острым клювом! Так вот, старайтесь изо всех сил, когда учение начнется!

— Так нас все-таки заколют, как сказали мальчики! Слушай-ка, они опять поют!

— Слушайте меня, а не их!— сказала мать.— После маневров мы улетим отсюда далеко-далеко, за высокие горы, за темные леса, в теплые края, в Египет! Там есть треугольные каменные дома; верхушки их упираются в самые облака, а зовут их пирамидами. Они построены давным-давно, так давно, что ни один аист и представить себе не может! Там есть тоже



река, которая разливается, и тогда весь берег покрывается илом! Ходишь себе по илу и кушаешь лягушек!

— О!— сказали птенцы.

— Да! Вот прелесть! Так день-деньской только и делаешь, что ешь. А вот в то время как нам там будет так хорошо, здесь, на деревьях, не останется ни единого листика, наступит такой холод, что облака застынут кусками и будут падать на землю белыми крошками!

Она хотела рассказать им про снег, да не умела объяснить хорошенько.

— А эти нехорошие мальчики тоже застынут кусками?— спросили птенцы.

— Нет, кусками они не застынут, но померзнуть им придется. Будут сидеть и скучать в темной комнате и носу не посмеют высунуть на улицу! А вы-то будете летать в чужих краях, где цветут цветы и ярко светит теплое солнышко.

Прошло немного времени, птенцы подросли, могли уже вставать в гнезде и озираться кругом. Папаша-аист каждый день приносил им славных лягушек, маленьких ужей и всякие другие лакомства, какие только мог достать. А как потешал он птенцов разными забавными штуками! Доставал головою свой хвост, щелкал клювом, точно у него в горле сидела трещотка, и рассказывал им разные болотные истории.

— Ну, пора теперь и за учение приняться!— сказала им в один прекрасный день мать, и всем четверым птенцам пришлось вылезть из гнезда на крышу.

Батюшки мои, как они шатались, балансировали крыльями и все-таки чуть-чуть не свалились!

— Смотрите на меня!— сказала мать.— Голову вот так, ноги так! Раз-два! Раз-два! Вот что поможет вам пробить себе дорогу в жизни!— И она сделала несколько взмахов крыльями. Птенцы неуклюже подпрыгнули и — бац!— все так и растянулись! Они были еще тяжелы на подъем.

— Я не хочу учиться!— сказал один птенец и вскарабкался назад в гнездо.— Я вовсе не хочу лететь в теплые края!

— Так ты хочешь замерзнуть тут зимой? Хочешь, чтобы мальчишки пришли и повесили, утопили или сожгли тебя? Постой, я сейчас позову их!

— Ай, нет, нет!— сказал птенец и опять выпрыгнул на крышу.

На третий день они уже кое-как летали и вообразили, что могут также держаться в воздухе на распластанных крыльях. «Незачем все время ими махать,— говорили они.— Можно и отдохнуть». Так и сделали, но... сейчас же шлепнулись на крышу. Пришлось опять работать крыльями.

В это время на улице собрались мальчики и запели:

Аист, аист белый!

— А что, слетим да выключем им глаза?— спросили птенцы.

— Нет, не надо!— сказала мать.— Слушайте лучше меня, это куда важнее! Раз-два-три! Теперь полетим направо: раз-два-три! Теперь налево, вокруг трубы! Отлично! Последний взмах крыльями удался так чудесно, что я позволю вам завтра отправиться со мной на болото. Там соберется много других милых семейств с детьми,— вот и покажете себя! Я хочу, чтобы вы были самыми миленькими из всех. Держите головы повыше, так гораздо красивее и внушительнее!

— Но неужели мы так и не отомстим этим нехорошим мальчишкам?— спросили птицы.

— Пусть они себе кричат что хотят! Вы-то полетите к облакам, увидите страну пирамид, а они будут мерзнуть здесь зимой, не увидят ни единого зеленого листика, ни сладкого яблочка!

— А мы все-таки отомстим!— шепнули птенцы друг другу и продолжали учение.

Задорнее всех из ребятшек был самый маленький, тот, что первый затянул песенку об аистах. Ему было не больше шести лет, хотя птенцы-то думали, что ему лет сто,— он был ведь куда больше их отца с матерью, а что же знали птенцы о годах детей и взрослых людей! И вот вся месть птенцов должна была обрушиться на этого мальчика, который был зачинщиком и самым неугомонным из насмешников. Птенцы были на него ужасно сердиты и чем больше

подрастали, тем меньше хотели сносить от него обиды. В конце концов матери пришлось обещать им как-нибудь отомстить мальчугану, но не раньше, как перед самым отлетом их в теплые края.

— Посмотрим сначала, как вы будете вести себя на больших маневрах! Если дело пойдет плохо и генерал проколет вам грудь своим клювом, мальчишки ведь будут правы. Вот увидим!

— Увидишь! — сказали птенцы и усердно принялись за упражнения. С каждым днем дело шло все лучше, и наконец они стали летать так легко и красиво, что просто любо!

Настала осень; аисты начали готовиться к отлету на зиму в теплые края. Вот так маневры пошли! Аисты летали взад и вперед над лесами и озерами: им надо было испытать себя — предстояло ведь огромное путешествие! Наши птенцы отличились и получили на испытании не по нулю с хвостом, а по двенадцати с лягушкой и ужом! Лучше этого балла для них и быть не могло: лягушек и ужей можно ведь было съесть, что они и сделали.

— Теперь будем мстить! — сказали они.

— Хорошо! — сказала мать. — Вот что я придумала — это будет лучше всего. Я знаю, где тот пруд, в котором сидят маленькие дети до тех пор, пока аист не возьмет их и не отнесет к папе с мамой. Прелестные крошечные детки спят и видят чудесные сны, каких никогда уже не будут видеть после. Всем родителям очень хочется иметь такого малютку, а всем детям — крошечного братца или сестрицу. Полетим к пруду, возьмем оттуда малюток и отнесем к тем детям, которые не дразнили аистов; нехорошие же насмешники не получают ничего! А тому доброму мальчику, — надеюсь, вы не забыли его, — который сказал, что грешно дразнить животных, мы принесем зараз и братца и сестрицу. Его зовут Петер, будем же и мы в честь его зваться Петерами!

Как сказано, так и было сделано, и вот всех аистов зовут с тех пор Петерами.

КТО ЖЕ СЧАСТЛИВЕЙШАЯ?

— Какие чудесные розы! — сказал солнечный луч. — И каждый бутон распустится и будет такою же чудною розою! Все они — мои детки! Мои поцелуи вызвали их к жизни!

— Нет, это мои детки! — сказала роса. — Я кропила их своими слезами!

— А мне так кажется, что они мои родные детки! — сказал розовый куст. — Вы же только крестные отец и мать, одарившие моих деточек кто чем мог.

— Мои прелестные детки! — сказали все трое в один голос и пожелали каждому цветку всякого счастья. Но только один из них мог оказаться самым счастливым из всех и один — наименее счастливым.

Кто же именно?

— А вот я узнаю это! — сказал ветер. — Я летаю повсюду, проникаю в самые узкие щели, знаю, что делается и внутри и снаружи домов.

Каждая роза слышала, каждый бутон понял сказанное.

В сад пришла печальная мать в трауре и сорвала одну свежую полураспустившуюся розу, которая показалась ей прекраснейшею из всех. Мать принесла цветок в тихую, безмолвную комнату, в которой несколько дней тому назад резвилась ее веселая, жизнерадостная дочка. Теперь же девочка покоилась, словно спящее мраморное изваяние, в черном гробу. Мать поцеловала умершую, поцеловала и полураспустившуюся розу и положила ее на грудь девочки, как бы надеясь, что свежий цветок, освященный поцелуем матери, заставит снова забиться ее сердечко.

И роза так и расцвела вся, пышно развернула свои лепестки, колебавшиеся от радостной мысли: «Какою любовью озарился путь моей жизни! Я как будто стала человеческим ребенком — мать поцеловала меня и благословила в путь — в неведомую страну! И я отправлюсь туда, покоясь на груди умершей! Конечно, я счастливейшая из всех моих сестер!»

Потом пришла в сад старая полотьщица гряд; она тоже залюбовалась красотой куста и глаз не могла оторвать от самой большой, вполне распустившейся розы. Капля росы да один жаркий день еще — и лепестки опадут! Вот как рассуждала женщина и на-

шла, что роза покрасовалась довольно — пора было извлечь из нее пользу. И вот она сорвала цветок, вернула его в газетную бумагу и отнесла домой, чтобы набальзамировать солью вместе с другими розами и смешать с засушенной голубой лавандой — выйдет чудесная душистая смесь! Такой чести, как бальзамирование, удостоиваются только розы да короли!

— Мне выпал на долю высший почет! — сказала роза, которую сорвала полольщица. — Я — счастливейшая! Меня набальзамируют!

Затем явились двое молодых людей: один — художник, другой — поэт. Каждый сорвал себе по прекрасной розе.

Художник изобразил цветущую розу на холсте, так что она увидела себя как в зеркале.

— Таким образом, — сказал художник, — она будет жить многие годы, в продолжение которых успеют завясть и умереть миллионы роз!

— Мне посчастливилось больше всех! — сказала роза. — Я достигла высшего счастья!

Поэт полюбовался на свою розу и написал о ней стихи, целую поэму, в которой высказал все, что прочел на ее лепестках. Вышла бессмертная поэма — «Альбом любви».

— Он обессмертил меня! — сказала роза. — Я счастливейшая!

Но среди этой массы прекрасных роз была одна, которая как-то заслонялась другими; по воле случая — может быть, и счастливого — у нее был изъян: она криво сидела на стебельке, лепестки ее были расположены не совсем симметрично, и из середины чашечки выглядывал маленький свернутый зеленый листок. Случаются подобные изъяны и у роз.

— Бедное дитя! — говорил ветер и целовал ее в щечку, а роза думала, что он приветствует, чувствует ее. Она сама чувствовала, что сложена как-то иначе, нежели другие розы, что из чашечки ее выглядывает зеленый листок, но смотрела на это не как на изъян, а как на отличие. Вот на нее вспорхнул мотылек и поцеловал ее лепестки; это был жених, но она не стала удерживать его. Потом явился огромный кузнечик; он уселся на другую розу и принялся влюбленно потирать ножки — это признак влюбленности у кузнечиков. Роза, на которой он сидел, не по-

няла этого; зато поняла роза с изъяном — свернутым зеленым листком; на нее-то как раз и уставился кузнечик, а глаза его так и говорили: «Съел бы я тебя от пущей любви!» А уж известно, дальше этого никакая любовь не может идти: один исчезает в другом! Но роза не имела ни малейшего желания исчезнуть в этом прыгуне.

Звездною ночью запел соловей.

— Это он для меня поет! — сказала роза с изъяном — или с отличием. — И за что это меня во всем постоянно отличают от других сестер! Почему именно мне выпало на долю это отличие, благодаря которому я стала счастливейшею?

Тут в сад зашли два господина; они курили сигары и вели разговор о розах и табаке: правда ли, что розы не переносят табачного дыма — зеленеют? Надо было произвести опыт. Но они пожалели красивейшие розы и взяли для опыта розу с изъяном.

— Вот новое отличие! — сказала она. — Я уж чересчур счастлива! Я счастливейшая из счастливейших!

И она вся позеленела от этого сознания и табачного дыма.

Одна из роз, едва начавшая распускаться и, может быть, самая прекрасная на всем кусте, заняла почетное место в искусно подобранном садовником букете. Букет отнесли важному молодому господину, владельцу дома и сада, и тот повез его с собою в карете. Роза сидела между другими цветами и зеленью, словно царица красоты. И вот она очутилась на блестящем празднике. Повсюду сидели разряженные мужчины и дамы, залитые светом тысяч ламп. Музыка гремела, театр утопал в море света. При восторженных криках зрителей на сцену выпорхнула юная танцовщица — любимица публики, и к ногам ее посыпался целый дождь цветов. Упал к ее ногам и букет с розой, сиявшей в его середине как драгоценный камень. Роза чувствовала всю честь, все безмерное счастье, выпавшие на ее долю, но вот букет коснулся пола, стебелек ее переломился, она выскочила из букета и покатила по полу. Не пришлось ей попасть в руки виновницы торжества — она откатилась за кулисы. Там увидел ее машинист и поднял. Она была так хороша, так чудно пахла, но стебелька у нее не

было! Он взял и положил ее прямо в карман, а потом отнес домой. Там роза очутилась в рюмке с водою и пролежала в ней всю ночь. Рано утром ее поставили на стол перед старою бабушкою, беспомощно сидевшею в кресле. Как она любовалась прекрасною розою без стебелька, как наслаждалась ее запахом!

— Да, ты не попала на роскошный стол важной барышни, попала к бедной старухе! Зато здесь ты заменишь целый розовый куст! Как ты хороша!

И старушка с детскою радостью смотрела на цветок, вероятно, вспоминая при этом свою давно минувшую юность.

— В оконном стекле была дырочка!— рассказывал ветер.— Я легко пробрался через нее и видел, каким молодым блеском сияли глаза старушки, любившейся на розу без стебелька в рюмке с водою. Я знаю, которая из роз была счастливее всех! Я могу рассказать это!

У каждой розы была, таким образом, своя история, каждая верила, что она счастливейшая, а ведь блажен, кто верует!.. Но последняя из роз на кусте все-таки считала себя самою счастливейшею.

— Я пережила всех! Я последнее, единственное, любимейшее дитя у отца!

— И я — отец им всем!— сказал розовый куст.

— Нет, я!— возразил солнечный свет.

— Нет, я! — сказали в один голос ветер и погода.

— Каждый имеет на них свои права!— сказал ветер.— И каждый получит свою долю!— И он развеял лепестки, окропленные сиявшими в лучах солнца капельками росы.— И мне кое-что досталось!— прибавил он.— Я узнал историю каждой розы и разнесу их по всему свету!

Так вот, которая же из роз счастливейшая? Да, скажите-ка это мне вы, я уже сказал довольно.

НЕХОРОШИЙ МАЛЬЧИК

Жил-был старый поэт, настоящий хороший старый поэт. Раз вечером он сидел дома, а на дворе разыгралась непогода. Дождь лил как из ведра, но ста-

рому поэту было тепло и уютно возле печки, где горел огонь и с шипением пеклись яблоки.

— Бедные путники, что идут теперь под дождем, сухой нитки на них не останется!— сказал он, потому что был очень добрым поэтом.

— Пустите меня! Я озяб и весь промок!— послышался вдруг за дверью детский голос.

Ребенок плакал и стучал в дверь, а дождь так и лил, и ветер сотрясал оконные рамы.

— Бедный малютка!— сказал старый поэт и пошел отворить дверь.

За дверью стоял маленький мальчик, совсем голенький, и вода стекала с его длинных золотистых волос. Он дрожал от холода; если бы его не впустили, он бы, наверное, погиб.

— Бедный малютка!— сказал старый поэт и взял его за руку.— Пойдем ко мне, я согрею тебя, дам тебе вина и яблоко; ты такой чудесный мальчуган!

Он и в самом деле был прехорошенький. Глаза его сияли, как две яркие звезды, и хотя вода стекала с его мокрых золотистых кудрей, они так красиво вились. Он был похож на маленького ангелочка, хотя посинел от холода и дрожал всем телом. В руках у него был чудесный лук, только он испортился от дождя, и краски на стрелах совсем полиняли.

Старый поэт уселся возле печки, взял малютку на колени, выжал его мокрые кудри, согрел его ручонки в своих руках и вскипятил ему сладкого вина. Мальчик оправился, щечки у него зарумянились, он спрыгнул на пол и стал плясать вокруг старого поэта.

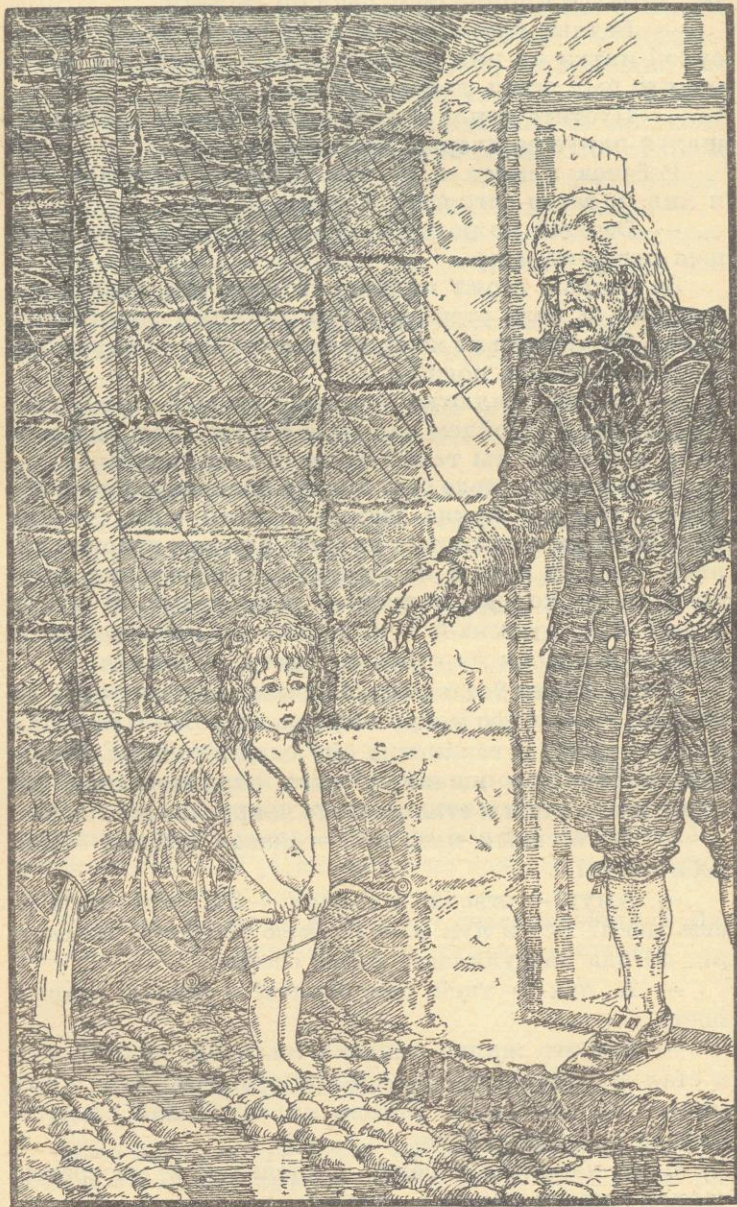
— Ты веселый мальчик!— сказал старик.— Как тебя зовут?

— Амур!— отвечал мальчик.— Ты разве не знаешь меня? Вот и лук мой. Я умею стрелять. Посмотри, погода разгулялась, месяц светит!

— А лук-то твой испортился!— сказал старый поэт.

— Вот это жаль!— сказал мальчик, поднял лук и стал его осматривать.— Да он совсем высох, и ему ничего не сделалось. Тетива натянута как следует. Сейчас я его попробую.

И он наложил стрелу, прицелился и выстрелил старому поэту прямо в сердце!



— Вот видишь, мой лук не был испорчен! — воскликнул он, громко засмеялся и убежал.

Нехороший мальчик! Выстрелить в старого поэта, который впустил его к себе, был так добр к нему и дал ему чудесного вина и замечательное яблоко!

Добрый поэт лежал на полу и плакал: он был ранен в самое сердце. Потом он сказал:

— Фи, какой нехороший мальчик, этот Амур! Я расскажу о нем всем хорошим детям, чтобы они сторонились его и никогда не играли с ним, — он и их обидит!

И все добрые дети — и мальчики и девочки, которым он рассказал об этом, стали остерегаться злого Амура. Но он все-таки обманул их — такой плут!

Когда студенты идут с лекций, он бежит рядом: книжка под мышкой, в черном сюртуке — и не узнать его! Они думают, что он тоже студент, возьмут его под руку, а он и пустит им в грудь стрелу.

Когда девушки идут на урок к пастору или стоят в церкви — он уже тут как тут; вечно преследует людей! А то заберется иногда в большую люстру в театре и горит там ярким пламенем; люди сначала думают, что эта лампа, потом замечают что-то другое. Бегают он и по королевскому саду и по городскому валу. Однажды он выстрелил твоему отцу и твоей матери прямо в сердце! Спроси-ка у них, они тебе расскажут.

Да, этот Амур злой мальчик, никогда не связывайся с ним! Он гоняется за всеми людьми. Подумать только, как-то раз он пустил стрелу даже в твою старую бабушку. Давно это было, давно прошло, но она об этом никогда не забудет! Фи! Злой Амур! Но теперь ты знаешь, какой он нехороший мальчик.

ЖАБА

Колодец был глубокий, поэтому веревка была длинная. Когда вытаскивали полное ведро, ворот двигался туго. Солнцу никак не удавалось отразиться в прозрачной колодезной воде, хоть и была она совсем чистая, а там, куда солнечные лучи все-таки доставали, между камнями рос зеленый мох.

Тут-то и располагалось большое семейство жаб. В колодце их считали переселенцами. Собственно говоря, первой, и при этом вверх тормашками, переселилась сюда самая старая жаба — прабабушка, она была жива и до сих пор. Зеленые лягушки, испокон веков обитавшие в колодце, отлично чувствовали себя в воде, они признали в жабе родственницу и стали называть ее семейство «дачниками, приехавшими на купания». А дачникам пришлось здесь по душе, и они удобно обосновались «на суше» — так называли они мокрые колодезные стены.

Бабушка лягушек однажды совершила путешествие — она попала в ведро, когда его поднимали. Но наверху оказалось слишком светло, и у нее началась резь в глазах. Счастье еще, что ей удалось вовремя выкарабкаться из ведра! Она шумно плюхнулась в воду и три дня не вставала, так у нее разболелась спина. О мире наверху она могла поведать не много, но, во всяком случае, и она сама, и все остальные знали, что колодец — это еще не весь мир. Конечно, о том, что наверху, могла бы рассказать прабабушка-жаба, но она никогда не отвечала на вопросы, и поэтому ее не спрашивали.

— Ух, и противная эта старуха толстуха! — негодовали юные лягушки. — Вот уж уродина! И дети ее будут такими же уродами, и внуки!

— Вполне возможно, — отзывалась жаба-прабабушка. — Но у кого-то из них, а может быть, и у меня самой, спрятан в голове драгоценный камень.

Зеленые лягушки слушали ее, выпучив глаза, но такие речи им были не по вкусу, они скорчили гримасу и нырнули на дно. А молодые жабы гордо вытягивали задние лапки. Каждая из них воображала, что драгоценный камень именно у нее. Они старались даже не двигать головой, но в конце концов спросили старую жабу, чем, собственно, им следует гордиться и что за штука этот драгоценный камень.

— Он такой красивый и такой дорогой, — сказала старуха, — что я даже описать его не могу. А носят его, чтобы самому было приятно, а другим завидно. Но больше ни о чем не спрашивайте, я на вопросы не отвечаю.

— Ну, у меня-то драгоценного камня нет, — сказала самая маленькая жаба, такая безобразная, что

дальше некуда, — да и зачем мне такая красота? А если другие завидуют, что же здесь приятного? Нет, я мечтаю совсем не об этом, мне бы хоть разок подняться к краю колодца и выглянуть наружу. Наверху, наверно, красота неописуемая!

— Сиди, где сидишь! — вмешалась старуха жаба. — Здесь ты всех знаешь и тебя все знают. Да берегись ведер, как бы тебя не раздавили! А уж коли упадешь в ведро, так скорее выскакивай. Правда, не всем удается упасть так удачно, как мне, — и кожа и кости целы.

— Квак! — сказала маленькая жаба, а это все равно что «Ах!» по-нашему.

Ей так хотелось добраться до края колодца и выглянуть наружу! Так хотелось увидеть зелень и траву! И когда на следующее утро ведро, полное воды, на мгновение случайно задержалось возле камня, где она сидела, сердце маленькой жабы дрогнуло, она бросилась в ведро и притаилась на дне, а его подняли наверх и тут же выплеснули.

— Вот не повезло, — сказал какой-то человек, увидев жабу. — Ну и уродина! Я такой еще не видел! — И он пнул ее ногой в деревянном башмаке и чуть не искалечил. Хорошо, что жаба успела забиться в высокую крапиву. Она осмотрела каждый стебелек, поглядела наверх: солнце просвечивало сквозь крапивные листья, и они казались совсем прозрачными. Здесь, в крапиве, жаба чувствовала себя так же, как мы, люди, в большом лесу, где солнце едва пробивается сквозь листву и ветви.

— Тут гораздо красивее, чем в колодце! Здесь можно остаться на всю жизнь, — сказала маленькая жаба. Она просидела в крапиве час, просидела два. — Интересно, а что там дальше? Уж если сюда добралась, надо осмотреть все вокруг.

И она заторопилась, заковыляла и очутилась на дороге. Солнце светило ей в глаза, пыль ее припудривала, а она знай себе шлепала через дорогу.

— Вот где действительно суша. Какая красота кругом! Как хорошо! У меня даже внутри щекочет!

Скоро она доползла до канавы. Здесь голубели незабудки и цвела таволга. Вокруг канавы, словно живая изгородь, тесно росли бузина и боярышник. Белый вьюнок вился, как лиана. Сколько тут пестре-

ло цветов! Над ними порхала бабочка. Жаба решила, что это тоже цветок — он оторвался от стебля и хочет полетать по свету. Кто-кто, а она его прекрасно понимала.

— Вот если бы и я могла двигаться так же быстро, — вздохнула жаба. — Квак! Ах! Какая красота!

Жаба провела в канаве восемь дней и восемь ночей, еды было вдоволь. А на девятый день решила: «Вперед! Вперед!»

От добра добра не ищут, что же она надеялась найти? Разве что встретить другую маленькую жабу или пару зеленых лягушек? В последнюю ночь ей показалось, что ветер принес знакомые звуки; видно, родственники были где-то поблизости.

— Жизнь прекрасна! Как хорошо вылезти из колодца, посидеть в крапиве, проползти по пыльной дороге и отдохнуть в сырой канаве! Но вперед, вперед! Надо разыскать лягушек или жаб. Без друзей не проживешь, одной природы мало!

И жаба снова пустилась странствовать.

Она перебралась через поле, допрыгала до большого пруда, окруженного камышом, и заглянула в заросли.

— Вам здесь не слишком сыро? — спросили ее лягушки. — Но мы вам очень рады. Вы кавалер или дама? Впрочем, все равно, будьте как дома.

Вечером ее пригласили на домашний концерт. Тут все было совершенно как у людей — шуму много, а голоса никуда. Ужином не угощали, зато напитки были бесплатные — целый пруд, пей на здоровье!

— Ну, я отправлюсь дальше, — заявила маленькая жаба, точно ее тянуло к лучшему.

Она видела, как мерцают звезды, большие и ясные, как сияет молодой месяц, как встает солнце и поднимается высоко в небо.

— Я все еще в колодце, только он больше прежнего. А мне надо подняться наверх. Меня так и влечет туда, места себе не нахожу!

А когда луна стала полной и круглой, бедняга подумала: «Может, это такое большое ведро? Его опустят сюда, я смогу забраться в него и подняться еще выше! А может, солнце — ведро? Вон оно какое огромное, сверкающее. Мы все в нем поместимся. Нужно следить, не пропустить случай. Ах, какой

свет! Наверно, даже драгоценный камень не горит так ярко. Но камня у меня нет, и не надо — мне он ни к чему. Нет, я хочу подняться выше, ближе к блеску, к счастью! Я уже решилась, но мне как-то страшно, шутка ли сделать такой шаг! Но раз надо, так надо. Вперед, вперед, на дорогу!»

И она прыгнула так далеко, как не всякая жаба сумеет, и очутилась на проселочной дороге. Кругом жили люди. Всюду были сады и огороды. Жаба остановилась отдохнуть под капустой.

— Сколько же вокруг удивительных созданий, а я и не подозревала. Ах, как велик мир и до чего в нем интересно! Надо только не сидеть сиднем, а постараться разглядеть все как следует.

И она прыгнула в огород.

— Какая здесь зелень! Какая благодать!

— Еще бы! — сказала гусеница, сидевшая на капустном листе. — А мой лист здесь самый большой! Он закрывает полмира, но я прекрасно обхожусь и так.

— Ко-ко-ко! — услышала жаба, это приближались куры, семена по огороду. Курица, выступавшая впереди, была дальнзоркая. Она сразу же заметила гусеницу на кудрявом капустном листе и нацелилась на нее клювом. Но гусеница свалилась на землю и давай извиваться и корчиться. Курица посмотрела на нее сначала одним глазом, потом другим: она не понимала, к чему это кривлянье.

«Это она не по доброй воле», — подумала курица и приготовилась клюнуть еще раз. Жаба пришла в такой ужас, что прыгнула прямо на обидчицу.

— Ах вот как, да у нее тут подкрепление! — воскликнула курица. — Взгляните, какая уродина! — И она отвернулась. — Очень мне нужен этот зеленый обьедок, от него только в горле першит.

Другие куры были того же мнения и удалились с огорода.

— Вот как я вывернулась! — сказала гусеница. — Хорошо, что я всегда сохраняю присутствие духа. Но самое трудное впереди — как вернуться на мой капустный лист? Где он?

Маленькая жаба подскочила к ней выразить свое участие. Она так рада, что ее уродство сослужило гусенице службу, отпугнуло врагов.

— Что вы имеете в виду? — спросила гусеница. — Я вывернулась сама, без вашей помощи. А на вас ужасно неприятно смотреть. И вообще, нельзя ли меня оставить в покое в моем собственном доме? О, я чую запах капусты! Теперь я знаю, где мой лист. Только надо забраться повыше.

«Да, да, повыше, — сказала себе жаба. — И гусенице хочется наверх, совсем как мне. Просто она не в настроении. Еще бы, ее так перепугали! Всем нам хочется повыше». — И она запрокинула голову, а жабе это нелегко.

На крыше крестьянского домика квартировали аисты. Аист-отец и аистиха-мать тараторили без умолку.

— Как высоко они живут, — удивилась жаба, — вот бы туда забраться!

А в домике жили два молодых студента. Один был поэт, другой изучал природу. Один воспевал божьи творения, которые с радостью созерцала его душа, воспевал в коротких, чистых и звучных стихах. Другой хотел докопаться до сути каждого явления, вскрыть все связи, если понадобится. Для него вселенная была сложной арифметической задачей, он вычитал, умножал, жаждал до всего дознаться, обо всем судить с умом, восхищался тем, как мудро все устроено, и говорил обо всем разумно и с увлечением. Словом, оба студента были веселыми, славными малышами.

— Смотри-ка, отличный экземпляр жабы, — сказал естествоиспытатель, — надо ее заспиртовать.

— У тебя ведь уже есть две, — возразил поэт, — оставь ее, пусть наслаждается жизнью.

— До чего она безобразна, просто прелесть! — воскликнул второй.

— Вот если бы я был уверен, что у нее в голове драгоценный камень, — сказал поэт, — тогда и я согласился бы ее вскрыть.

— Драгоценный камень у жабы! — засмеялся его друг. — Недурно же ты разбираешься в естествознании.

— А разве не прекрасно это народное поверье, что в голове жабы — безобразнейшего животного — часто скрыт драгоценный камень? Возьми людей, и к ним это можно отнести. Вспомни Эзопа, Сократа!

Больше жаба ничего не услышала, да и из услышанного половину не поняла. Друзья прошли мимо, и она избежала опасности угодить в банку со спиртом.

— И они тоже говорили про драгоценный камень! — удивилась жаба. — Какое счастье, что у меня его нет, а то не миновать бы мне неприятностей.

На крыше дома затараторили еще громче. Это аист-отец читал своему семейству лекцию, а аистята, скосив глаза, смотрели на двух молодых людей в огороде.

— Человек — это самое тщеславное животное, — учил аист. — Послушайте только, как они болтают! А что толку от их трескотни? Они столько мнят о своем красноречии, о богатстве своего языка. А что это за язык? Стоит им переехать из одного места в другое, и они уже друг друга не понимают. То ли дело мы! Наше наречие для всех нас понятно, во всех уголках земли, и в Дании, и в Египте. Эх, люди! Они даже летать не умеют! Правда, теперь они стали передвигаться быстрее, придумали какую-то железную дорогу, но сколько народу на ней шею ломает! Нет, без людей было бы куда лучше. Мы прекрасно проживем без них, были бы только лягушки да дождевые черви.

«Какая великолепная речь! — подумала маленькая жаба. — Видно, он особа выдающаяся, и как высоко он забрался! Никого еще не видела на таком высоком месте. А как он плавает!» — воскликнула она, когда аист распростер крылья и поднялся в воздух.

А аистиха продолжала болтать, сидя в гнезде. Она рассказывала птенцам про Египет, про воды Нила, про изумительный ил, которого так много в этой чудесной стране. Для маленькой жабы все это было ново и захватывающе.

— Придется ехать в Египет, — сказала она. — Вот если бы аист взял меня с собой или кто-нибудь из его птенцов. А потом я отплачу им, послужу им в день их свадьбы. Ах, наверно, я попаду в Египет, мне ведь так везет! Как приятно испытывать такую тягу, такие стремления! Куда приятнее, чем носить в голове драгоценный камень.

А драгоценный-то камень как раз в ее голове и скрывался! Что может быть драгоценнее этого веч-

ного стремления вперед, все дальше и дальше! Оно горело у нее в душе, озаряло ей жизнь, приносило радость.

Вот тут-то и подошел аист. Он увидел жабу в траве, спустился и схватил беднягу, да не слишком учтиво. Клюв сомкнулся, в ушах у жабы засвистел ветер. Это было пренебрежительно, но ведь ее подняли вверх, ее несли в Египет! Глаза у жабы заблестели, из них брызнули искры.

— Квак-ах!

И маленькой жабы не стало. Но куда же делись искры, брызнувшие из ее глаз?

Их подхватил солнечный луч, солнечный луч унес драгоценный камень из головы жабы. Но куда?

Естествоиспытателя об этом не спрашивай, спроси лучше поэта. Он расскажет тебе настоящую сказку и про гусеницу, и про семейство аистов. Подумай только! Гусеница превратится в красивую бабочку. Аисты отправятся за моря и горы в далекую Африку, а потом снова кратчайшей дорогой вернуться в Данию, на то же место, на ту же крышу. Но все это только кажется сказкой, а на самом деле сущая правда. Спроси у естествоиспытателя, и он подтвердит. Да ты и сам это знаешь — не раз видел.

А где же драгоценный камень из головы жабы? Поищи его на солнце, попробуй разглядеть его там.

Правда, солнце светит слишком ярко, наши глаза еще не могут выдержать все великолепие, сотворенное господом богом. Но когда-нибудь мы и этому научимся. Вот это будет чудеснейшая из сказок — ведь она будет про нас.

БОЛЬШОЙ МОРСКОЙ ЗМЕЙ

Жила-была маленькая морская рыбка из хорошего семейства. Имени ее не помню, — пускай ученые тебе скажут. У рыбки было тысяча восемьсот братьев и сестер, все одного возраста. Никто из них не знал ни отца, ни матери; с самого рождения они были предоставлены самим себе и плыли куда глаза глядят. Но это-то именно и было для них большим удовольствием. Воды для питья у них было вдоволь —

весь океан. О пище они не заботились — ее достать было нетрудно. Каждая из рыбок хотела жить по-своему, каждой предстояло иметь свою собственную историю — впрочем, и об этом ни одна из них пока не думала.

Солнечные лучи проникали в воду, освещали все окружающее рыбок, так что под водой становилось удивительно светло. Целые мириады самых странных существ копошились вокруг них. Одни были такие большие, безобразные, со страшными пастями; они могли бы зараз проглотить всех тысячу восемьсот братьев и сестер, но те и об этом не думали — ведь пока еще ни одна из них не была проглочена.

Маленькие рыбки плавали все вместе, плотной стаей, подобно сельдям или макрелям. И вот однажды, в то время как они спокойно плавали себе под водой, ни о чем не думая, вдруг сверху что-то с ужасным шумом упало среди них, — что-то длинное, тяжелое, чему, казалось, совсем конца не будет. Все дальше и дальше протягивалось оно, раздавливая или калеча всех маленьких рыбок, попадавших к нему по пути. Все, не только маленькие, но и большие рыбы, начиная с поверхности моря до самого дна, в страхе бросились во все стороны; тяжелое же, страшное «что-то» опускалось все глубже и глубже, протягивалось все дальше и дальше, на целые мили, через весь обширный океан.

Рыбы и слизняки, все, что плавает и ползает под водой, все, что увлекается течением, глядело на этот ужасный предмет, на этого бесконечного, невиданного морского змея, который так внезапно, так неожиданно появился сверху.

Но что же это было такое? Ну, я-то могу вам ответить. То был длинный телеграфный кабель, опущенный людьми в океан между Европой и Америкой.

Под водой царил необыкновенное смятение. Все законные обитатели моря страшно всполошились. Летучая рыба поднялась высоко над морской поверхностью — так высоко, как только могла; морской петух даже выскочил из воды на расстояние ружейного выстрела — на такие штуки он мастер. Другие рыбы устремились на дно и с такою поспешностью, что явились туда задолго до того, как опустился ка-

бель, и напугали треску и камбалу, мирно плававших в глубине и пожиравших своих ближних.

Некоторые голотурии перепугались так сильно, что выплюнули свои собственные желудки, но все-таки остались в живых — это они умели делать. Множество омаров и больших крабов, убегая от кабеля, вышли из своих больших прочных панцирей и должны были расстаться со своими ногами.

Среди всего этого смятения и страхов тысяча все-семьсот братьев и сестер рассеялись в разные стороны и уже больше не встречались, а если и встречались, то не узнавали друг друга. Едва с полдюжины рыбок осталось вместе; простояв несколько часов неподвижно на одном месте, они оправились от первого страха и стали с любопытством оглядываться кругом.

Они оглянулись кругом, посмотрели вверх, посмотрели вниз, и им показалось, что они видят на самом дне тот ужасный предмет, который напугал не только их, но и всех рыб — больших и малых. Предмет этот тянулся так далеко, как только они могли видеть; он казался очень тонким, но ведь как знать, каким толстым он может стать и какая у него сила. Он лежал очень спокойно, но ведь и это — думали они — могло быть одной хитростью и ловушкой.

— Пусть лежит себе, как хочет, нас это не касается! — сказала самая осторожная из рыбок. Но самая маленькая из них никак не могла успокоиться: ей все хотелось узнать, что это за штука. Пришла она сверху, — значит, наверху скорее всего можно будет узнать, в чем дело. И потому все рыбки поднялись на поверхность моря. Погода как раз стояла тихая.

Наверху первым встретили они дельфина. Это, как известно, большой вертопрах, морской бродяга, у которого только и дела, что кувыркаться... Зрение у него превосходное, так что от него скорее всего можно было ожидать верных объяснений. Рыбки действительно обратились к нему с расспросами, но оказалось, что он ни о чем не думал, кроме своих прыжков, ничего не знал и потому принял гордую осанку и молчал.

После этого они обратились к тюленю, который только что нырнул вниз. Тюлень был повежливее,

хотя он и пожирает мелкую рыбку, но в тот день был сыт: он знал немного больше, чем прыгун-дельфин.

— Немало ночей провел я на мокром камне, — сказал тюлень, — и смотрел на землю. Там живут прековарные существа, которые на своем языке называют себя людьми. Они расставляют нам всякие ловушки, но по большей части мы ускользаем от них — так случилось со мной, так было и с морским угрем, о котором вы говорите. Он попал на сушу с незапамятных времен и находился в их власти. Потом они положили его на корабль и привезли сюда, чтобы перевезти его за море в другую далекую страну. Я видел, сколько у них было возни, но все-таки они справились с ним, потому что он успел уже обессилеть на суше. Они уложили его в виде кольца, — я слышал, как он трещал, но все-таки ему удалось ускользнуть и попасть сюда. Уж они всячески старались удержать его, множество рук уцепилось за него, но он вырвался и попал на дно. Там он и лежит пока.

— Он довольно сухой! — сказали маленькие рыбки.

— Они морили его голодом! — сказал тюлень. — Но он скоро поправится и растолстеет по-прежнему. Я думаю, это и есть тот большой морской змей, о котором люди столько говорят и которого они так боятся. Я раньше никогда не видел его и даже не верил в его существование, но теперь я думаю, что это он и есть! — И с этими словами тюлень нырнул в глубину.

— Как много он знает! И как он умеет рассказывать! — говорили рыбки. — Мы никогда еще не были такими умными, как теперь... Только бы это не было враньем!

— Опустимся все-таки вниз и исследуем дело сами! — сказала меньшая из рыбок. — По сути, мы умными и мнение других рыб.

— Мы и плавником не пошевелим, чтобы узнать побольше! — сказали другие рыбки и поплыли своею дорогою.

— Ну, а я попытаюсь! — сказала меньшая рыбка и бросилась в глубину моря. Но она была еще далеко от того места, где лежала длинная, опущенная в воду штука. Маленькая рыбка оглядывалась во все стороны, стараясь найти это место, но напрасно.

Никогда она не подозревала, что мир так велик. Сельди плыли большими стаями, сверкая, словно исполинские серебряные лодки; макрели также плыли стаями и представляли великолепное зрелище. Повсюду сновали рыбы всевозможных видов и оттенков. Медузы казались полупрозрачными цветами, увлекаемыми течением. С морского дна поднимались огромные растения, высокие травы и деревья, похожие на пальмы; листья их были усеяны сверкающими раковинками.

Наконец маленькая рыбка увидела в глубине длинную темную полоску и поплыла к ней; но полоска эта оказалась не рыбой и не кабелем, а лишь бортом большого корабля, потерпевшего крушение; палуба и дно его провалились от напора воды. Рыбка всплыла внутрь корабля, откуда течением уже унесло всех людей, погибших вместе с кораблем, за исключением двух: то были молодая женщина и ее ребенок, которого она держала в объятиях. Вода поднимала их, как будто качала и убаюкивала. Маленькая рыбка порядком перепугалась: она ведь не знала, что они уже не могут проснуться. Морские водоросли свешивались с корабля над трупами матери и ребенка. Как здесь было тихо и одиноко... Маленькая рыбка поспешила уйти отсюда в те места, где было светлее и где можно было увидеть других рыб. Она еще не успела далеко отплыть, как навстречу ей показался молодой, но страшно большой кит.

— Не проглатывай меня!— сказала рыбка.— Ведь я так мала, тебе от меня не будет никакого проку, для меня же жизнь такое великое наслаждение.

— Зачем ты пришла сюда, на такую глубину, куда ваша братия обыкновенно и не заглядывает?— спросил ее кит.

Тогда рыбка рассказала ему о чудном, длинном угре, который спустился сверху и напугал даже самых храбрых из морских обитателей.

— Ого!— сказал кит и втянул в себя при этом столько воды, что, когда он всплыл наверх и захотел вздохнуть, ему пришлось выпустить ее целым фонтаном.— Ого! Так вот что пощекотало мне спину, когда я повернулся на другой бок. А я думал, что это корабельная мачта и что она мне может пригодиться, когда я захочу почесаться. Но это было не тут, не на

этом месте. Та штука лежит гораздо дальше. Надо будет самому исследовать ее, благо мне теперь делать нечего.

И с этими словами он поплыл вперед, а маленькая рыбка последовала за ним, но только не на очень близком расстоянии, потому что там, где огромный кит рассекал воду, он оставлял за собой настоящий бурный поток.

Повстречались им акула и старая меч-рыба. Обе они слышали про диковинного угря, который был такой длинный и тонкий, но увидеть его им не пришлось, а этого им очень хотелось.

Тут к ним подошел морской кот.

— И я с вами!— сказал он. Ему также хотелось видеть угря.

— Если этот большой морской змей не толще якорного каната, то я перекушу его сразу!— И он открыл свою пасть и показал шесть рядов зубов.— Уж если я могу оставить след от своих зубов на корабельном якоре, то, конечно, сумею перегрызть и такую нитку.

— Вот он!— сказал большой кит.— Я его уже вижу!— Он был уверен, что видит лучше всех.— Посмотри только, как он корчится, извивается и сгибается в кольцо.

Но то был не морской змей, а настоящий исполинский угорь длиною в несколько сажен, приближавшийся к ним.

— Этого я видела,— сказала меч-рыба,— но он никогда не делал шума в море.

И они рассказали ему о новом угре и спросили, не хочет ли он отправиться вместе с ними отыскивать его.

— Если этот угорь длиннее меня,— сказал морской угорь,— то он мне за это дорого заплатит.

— Да, он за это заплатится!— сказали остальные рыбы.— Мы достаточно сильны, и мы не потерпим его!— И они поплыли дальше.

Но тут что-то преградило им дорогу,— какое-то странное чудовище, превосходившее размерами их всех, вместе взятых.

Его можно было принять за плавучий остров, который не мог удержаться на поверхности воды.

То был престарелый кит. Голова его поросла морскими растениями, спина была покрыта ползучими гадами и усажена таким множеством устриц и раковин, что его черная кожа казалась испещренной белыми пятнами.

— Пойдем с нами, старина!— сказали рыбы.— У нас в океане появилась новая рыба, которую мы не можем терпеть у себя.

— Я предпочитаю остаться на своем месте!— сказал старый кит.— Оставьте меня в покое! О-хо-хо! Я страдаю тяжелой болезнью... Только и чувствую облегчение, когда поднимаюсь на поверхность моря и выставляю над водой свою спину. Тогда на мой хребет опускаются добрые, большие морские птицы и начинают чесать меня. Это так приятно, если только они не слишком глубоко запускают в меня свои клювы, а то случается иногда, что они вонзаются в самое мясо. Вот посмотрите: у меня еще до сих пор в спине торчит скелет одной птицы, она слишком глубоко запустила когти и, когда я нырнул в воду, не могла их вытащить. Теперь маленькие рыбы обглодали с нее все мясо. Посмотрите, на что она стала похожа!.. Да и сам я на что похож? Я совсем болен!..

— Это одно воображение!— сказал молодой кит.— Я никогда не бываю болен. Да и вообще рыбы никогда не болеют.

— Извините!— сказал старый кит.— У угря бывает болезнь кожи, карп подвержен оспе, а все мы страдаем глистами.

— Глупости!— сказала акула. Она не хотела больше слушать кита, спутники ее также — у них было дело поважнее.

Наконец они достигли того места, где лежал телеграфный кабель. Он тянулся от Европы до Америки, по песчаным насыпям и морскому илу, по скалистому грунту и сквозь целые леса кораллов. Там, в глубине, перекрещиваются течения, шумят водовороты, рыбы плавают стаями еще более огромными, чем стаи птиц, которых люди видят в пору перелета. Там, внизу, происходит непрерывное движение, там вечный шум, плеск и журчание; отголосок этого шума мы еще слышим в больших пустых раковинах, когда мы прикладываем их к уху.

И вот они достигли цели.

— Вот лежит этот зверь!— сказали большие рыбы, а также и маленькая. Они глядели на кабель, начала и конца которого не было видно.

Морские губки, полипы и горгоны, поднимаясь со дна, склонялись и качались над кабелем, так что он то исчезал из виду, то снова показывался. Морские ежи, улитки и гады шевелились и ползали вокруг него; исполинские пауки, покрытые множеством паразитов, разгуливали на нем, точно по канату. Темно-синие голотурии и другие гады, которые всасывают пищу всем телом, лежали на нем и как бы обнюхивали новое животное, растянувшееся по морскому дну. Камбала и треска поворачивались в воде во все стороны, чтобы лучше слышать все, что говорилось кругом. Морская звезда, зарывающаяся постоянно в ил, из которого торчат лишь два длинных стебелька, снабженных глазами, лежала и глазела на все, ожидая, что выйдет из всей кутерьмы.

Между тем телеграфный кабель лежал совершенно неподвижно. Только внутри у него таилась жизнь, кипели мысли,— человеческие мысли, которым он служил проводником.

— Ему нельзя доверять!— сказал кит.— Он способен ужалить меня в живот, а это мое слабое место.

— Ощупаем его раньше!— сказал полип.— У меня длинные руки и цепкие пальцы. Я уже пощупал его слегка, а теперь попробую еще раз и посильнее.

И он протянул к кабелю свои длинные, цепкие щупальца и охватил его ими.

— У него нет чешуи,— сказал полип,— нет также и кожи. Я думаю, он не в состоянии рожать живых детенышей.

Морской угорь протянулся во всю длину рядом с кабелем и всячески растягивался.

— Он длиннее меня!— сказал он.— Но дело не в одной длине — надо иметь еще кожу, желудок и гибкость в теле...

Молодой, сильный кит опустился глубже, чем обыкновенно.

— Что ты такое — рыба или растение?— спросил он.— А может быть, ты просто какое-нибудь произведение верхнего мира, которое не может жить у нас под водой?

Но телеграфный кабель не отвечал; это было не в его натуре. Он был занят передачей человеческих мыслей, пробегавших несколько сотен миль в течение одной секунды.

— Будешь ты отвечать? Не то мы сокрушим тебя! — спросила прожорливая акула, и все другие рыбы повторили тот же вопрос.

Кабель не шевелился — у него была своя дума; тот, кто наполнен мыслями, может себе позволить такую роскошь.

«Пуускай они сокрушают меня, — думал он. — Тогда меня вытащат и опять приведут в порядок. Так было уже с многими из нас и в более мелком фарватере».

Поэтому он не отвечал, ему было не до того: он передавал телеграммы и спокойно лежал на дне моря, по обязанностям службы.

Между тем наверху солнце заходило, как выражаются люди. Оно стало красным как огонь, и все облака на небе запылали огнем, — одно великолепнее другого.

— Теперь у нас будет красное освещение, — сказали полипы, — может быть, тогда мы сумеем лучше разглядеть эту штуку, если это вообще нужно.

— Долой его, долой! — закричал морской кот, показывая все свои зубы.

— Долой его, долой! — повторили меч-рыба, кит и морской угорь.

И они набросились на кабель с морским котом во главе. Но в ту самую минуту, когда кот хотел вонзить свои зубы в кабель, меч-рыба стремительно вогнала первому в спину свой меч. Это случилось по ошибке, но тем не менее кот сделался негодным для дела.

Поднялся страшный переполох. Большие и малые рыбы, голотурии и улитки набросились друг на друга, кусали, мяли и пожирали друг друга. Кабель же по-прежнему лежал тихо и делал свое дело, что и должно быть у всякого задачей жизни.

Над водой царил черная ночь, но внизу искрились и светились миллионы и миллиарды живых существ. Раки, величиной не более как с булавочную головку, также светились. Это очень странно. Но тем не менее это так.

Морские рыбы и гады смотрели на телеграфный кабель.

— Что же это, наконец, такое? — спрашивали они друг у друга. Но тут появилась старая морская корова. У нее был хвост и две короткие руки для того, чтобы грести, а голова была покрыта тиной и паразитами, чем она очень гордилась.

— Если вы хотите получить сведения о пришельце, то обратитесь ко мне. Но я требую взамен, чтобы мне и моим близким позволили беспрепятственно пастись на морских пастбищах. Я — рыба, подобно вам, но благодаря упражнениям стала и ползуном. Я — умнейшее животное в море. Я могу вам дать сведения обо всем, что живет и шевелится над вами, наверху. Эта штука, над которой вы ломаете себе головы, явилась сюда из верхнего мира, а то, что попадает к нам оттуда, либо мертво, либо сейчас же становится мертвым и бессильным. Оставьте же ее лежать — это только пустая человеческая выдумка!

— А мне все-таки кажется, что эта штука не простая! — сказала маленькая рыбка.

— Молчи, макрель! — прикрикнула большая морская корова.

— Корюшка! — сказали другие рыбы, а это прозвище еще оскорбительнее.

И морская корова подробно растолковала им, что это большое чудовище, которое нагнало на них такую тревогу, хотя и не издало ни одного звука, — только выдумка и уловка людей, и при этом прочитала небольшую лекцию о коварстве последних.

— У них только и заботы, как бы поймать нас, — говорила морская корова. — Они только для этого живут и дышат. Они закидывают сети, приходят с крючками, на которые нацепляют приманки для того, чтобы ловить нас. Вот эта штука тоже своего рода приманка: они думают, что мы пойдем на нее, — какие они глупые! Но мы-то не глупы! Не будем лучше дотрагиваться до нее, — тогда она сгниет и превратится в пену и ил. Все, что приходит сверху, бывает с изъязном и никуда не годится.

— Никуда не годится! — повторили все морские обитатели и согласились с мнением морской коровы, чтобы и самим иметь хоть какое-нибудь мнение.

Только у маленькой морской рыбки был свой взгляд на дело.

— Эта бесконечно длинная, тонкая змея, может быть, самая удивительная морская рыба. Такое уж у меня предчувствие!

«Самое удивительное!» — говорим и мы, люди, и говорим это вполне сознательно и уверенно.

Это — *большой морской змей*, уже давно воспетый в песне и предании.

Он явился на свет как порождение человеческого гения и опустился на дно морское. Он тянется от стран Востока до стран Запада и разносит вести с такой же быстротой, как солнечный луч, приносящий свет от Солнца на Землю. Он растет, увеличивается в длину и по силе, растет год от году, протягивается через все моря как под бушующими волнами, так и под неподвижною гладью вод, в которую мореход глядится, как в зеркало, и где стаи рыб сверкают всеми цветами радуги.

Глубоко-глубоко, на дне моря, покоится этот змей, благословенный змей Мидгорсорм скандинавской мифологии, обхватывающий кольцом всю Землю и кусающий себя за хвост. Рыбы и земноводные стучаются об него головами, но не могут понять, что это за штука, пришедшая из верхнего мира; что этот полный мыслей, говорящий на всех языках и все-таки безмолвный искусственный змей и есть величайшее современное чудо, чудо из чудес, большой морской змей нашего времени.

ЛЕН

Лен цвел чудесными голубенькими цветочками, мягкими и нежными, как крылья мотыльков, даже еще нежнее! Солнце ласкало его, дождь поливал, и льну это было так же полезно и приятно, как маленьким детям, когда мать сначала умоет их, а потом поцелует, дети от этого хорошеют, хорошел и лен.

— Все говорят, что я уродился на славу! — сказал лен. — Говорят, что я еще вытянусь, и потом из меня выйдет отличный кусок холста! Ах, какой я счастливый! Право, я счастливее всех! Это так приятно, что

и я пригожусь на что-нибудь! Солнышко меня веселит и оживляет, дождичек питает и освежает! Ах, я так счастлив, так счастлив! Я счастливее всех!

— Да, да, да! — сказали колья изгороди. — Ты еще не знаешь света, а мы так вот знаем, — видишь, какие мы сучковатые!

И они жалобно заскрипели:

Оглянуться не успеешь,
Как уж песенке конец!

— Все не конец! — сказал лен. — И завтра опять будет греть солнышко, опять пойдет дождик! Я чувствую, что расту и цвету! Я счастливее всех на свете!

Но вот однажды явились люди, схватили лен за макушку и вырвали с корнем. Больно было! Потом его положили в воду, словно собрались утопить, а после того держали над огнем, будто хотели изжарить. Ужас что такое!

— Не вечно же нам жить в свое удовольствие! — сказал лен. — Приходится и потерпеть. Зато поумнеешь!

Но льну приходилось уж очень плохо. Чего-чего только с ним не делали: и мяли, и тискали, и трепали, и чесали — да просто всего и не упомнишь! Наконец, он очутился на прялке. Жжж! Тут уж поневоле все мысли вразброд пошли!

«Я ведь так долго был несказанно счастлив! — думал он во время этих мучений. — Что ж, надо быть благодарным и за то хорошее, что выпало нам на долю! Да, надо, надо!.. Ох!»

И он повторял то же самое, даже попав на ткацкий станок. Но вот наконец из него вышел большой кусок великолепного холста. Весь лен до последнего стебелька пошел на этот кусок.

— Но ведь это же бесподобно! Вот уж не думал, не гадал-то! Как мне, однако, везет! А колья-то все твердили: «Оглянуться не успеешь, как уж песенке конец!» Много они смыслили, нечего сказать! Песенке вовсе не конец! Она только теперь и начинается. Вот счастье-то! Да, если мне и пришлось пострадать немножко, то зато теперь из меня и вышло кое-что. Нет, я счастливее всех на свете! Какой я теперь крепкий, мягкий, белый и длинный! Это небось получше,

чем просто расти или даже цвести в поле! Там никто за мною не ухаживал, воду я только и видел, что в дождик, а теперь ко мне приставили прислугу, каждое утро меня переворачивают на другой бок, каждый вечер поливают из лейки! Сама пасторша держала надо мною речь и сказала, что во всем околотке не найдется лучшего куска! Ну, можно ли быть счастливее меня!

Холст взяли в дом, и он попал под ножницы. Ну, и досталось же ему! Его и резали, и кроили, кололи иголками — да, да! Нельзя сказать, чтобы это было приятно! Зато из холста вышло двенадцать пар таких принадлежностей туалета, которые не принято называть в обществе, но в которых все нуждаются. Целых двенадцать пар!

— Так вот когда только из меня вышло кое-что! Вот каково было мое назначение! Да ведь это же просто благодать! Теперь и я приношу пользу миру, а в этом вся и суть, в этом-то вся и радость жизни! Нас двенадцать пар, но все же мы одно целое, мы — дюжина! Вот так счастье!

Прошли года, и белье износилось.

— Всему на свете бывает конец! — сказало оно. — Я бы и радо было послужить еще, но невозможно — невозможно!

И вот белье разорвали на тряпки. Они было уже думали, что им совсем пришел конец, так их принялись рубить, мять, варить, тискать... Ан, глядь — они превратились в тонкую белую бумагу!

— Нет, вот сюрприз так сюрприз! — сказала бумага. — Теперь я тоньше прежнего, и на мне можно писать. Чего только на мне не напишут! Какое счастье!

И на ней написали чудеснейшие рассказы. Слушая их, люди становились добрее и умнее, — так хорошо и умно они были написаны. Какое счастье, что люди смогли их прочитать!

— Ну, этого мне и во сне не снилось, когда я цвела в поле голубенькими цветочками! — говорила бумага. — И могла ли я в то время думать, что мне выпадет на долю счастье нести людям радость и знания! Я все еще не могу прийти в себя от счастья! Самой себе не верю! Но ведь это так! Господь бог знает, что сама я тут ни при чем, я старалась только по мере

слабых сил своих не даром занимать место! И вот он ведет меня от одной радости и почести к другой! Всякий раз, как я подумаю: «Ну, вот и песенке конец», — тут-то как раз и начинается для меня новая, лучшая жизнь! Теперь я думаю отправиться в путь-дорогу, обойти весь свет, чтобы все люди могли прочесть написанное на мне! Так ведь и должно быть! Прежде у меня были голубенькие цветочки, теперь каждый цветочек расцвел прекраснейшею мыслью! Счастливее меня нет никого на свете!

Но бумага не отправилась в путешествие, а попала в типографию, и все, что на ней было написано, перепечатали в книгу, да не в одну, а в сотни, тысячи книг. Они могли принести пользу и доставить удовольствие бесконечно большому числу людей, нежели одна та бумага, на которой были написаны рассказы: бегая по белу свету, она бы истрепалась на полпути.

«Да, конечно, так дело-то будет вернее! — подумала исписанная бумага. — Это мне и в голову не приходило! Я останусь дома отдыхать, и меня будут почитать, как старую бабушку! На мне ведь все написано, слова стекали с пера прямо на меня! Я останусь, а книги будут бегать по белу свету! Вот это дело! Нет, как я счастлива, как я счастлива!»

Тут все отдельные листы бумаги собрали, связали вместе и положили на полку.

— Ну, можно теперь и опочить на лаврах! — сказала бумага. — Не мешает тоже собраться с мыслями и сосредоточиться! Теперь только я поняла как следует, что во мне есть! А познать себя самое — большой шаг вперед. Но что же будет со мной потом? Одно я знаю — что непременно двинусь вперед! Все на свете постоянно идет вперед, к совершенству.

В один прекрасный день бумагу взяли да и сунули в плиту; ее решили сжечь, так как ее нельзя было продать в мелочную лавочку на обертку для масла и сахара.

Дети обступили плиту; им хотелось посмотреть, как бумага вспыхнет и как потом по золе начнут перебегать и потухать одна за другою шаловливые, блестящие искорки! Точь-в-точь ребяташки бегут домой из школы! После всех выходит учитель — это последняя искра. Но иногда думают, что он уже вы-

шел — ан нет! Он выходит еще много времени спустя после самого последнего школьника!

И вот огонь охватил бумагу. Как она вспыхнула!

— Уф! — сказала она и в ту же минуту превратилась в столб пламени, которое взвилось в воздух высоко-высоко, лен никогда не мог поднять так высоко своих голубеньких цветочных головок, и пламя сияло таким ослепительным блеском, каким никогда не сиял белый холст. Написанные на бумаге буквы в одно мгновение зарделись, и все слова и мысли обратились в пламя!

— Теперь я взвьюсь прямо к солнцу! — сказала пламя, словно тысячами голосов зараз, и взвилось в трубу. А в воздухе запорхали крошечные незримые существа, легче, воздушнее пламени, из которого родились. Их было столько же, сколько когда-то было цветочков на льне. Когда пламя погасло, они еще раз проплясали по черной золе, оставляя на ней блестящие следы в виде золотых искорок. Ребятишки выбежали из школы, за ними вышел и учитель; любо было поглядеть на них! И дети запели над мертвою золой:

Оглянуться не успеешь,
Как уж песенке конец!

Но незримые крошечные существа говорили:

— Песенка никогда не кончается — вот что самое чудесное! Мы знаем это, и потому мы счастливее всех!

Но дети не расслышали ни одного слова, а если б и расслышали, — не поняли бы. Да и не надо! Не все же знать детям!

ТАЛИСМАН

Принц с принцессой праздновали еще свой медовый месяц. Счастливы они были чрезвычайно, и только одна мысль не давала им покоя: им очень хотелось знать, будут ли они так же счастливы всю свою жизнь. Поэтому и стали они мечтать о талисмане, который оградил бы их от всяческих огорчений в супружестве. А были они наслышаны об одном че-

ловеке; жил этот человек в лесу, и все уважали его за мудрость. В любой беде и во всяком затруднении мог он дать дельный совет. Отправились к этому мудрецу принц с принцессой и рассказали ему обо всем, что у них было на душе. Выслушал их мудрец и сказал:

— Ступайте странствовать по белу свету, и как встретятся вам счастливые и всем довольные муж с женой, попросите у них лоскуток исподнего, а как раздобудете такой лоскуток, носите его всегда как талисман. Это средство испытанное.

Сели принц с принцессой на коней и отправились в путь; вскоре услышали они от людей об одном знатном рыцаре, который будто бы жил со своей женой счастливее всех других. Поехали они к нему в замок и стали сами супругов расспрашивать, правда ли они так довольны своей жизнью, как говорит про то молва.

— Все правда, — ответили те, — одно только горе: детей у нас нет!

Стало быть, здесь искать талисман было нечего, и пришлось принцу с принцессой отправиться дальше на поиски счастливых и всем довольных супругов.

И вот приехали они в город, где, по слухам, был один честный горожанин, который жил со своей женой в мире, любви да согласии. К нему-то они и пошли и точно так же спросили, правда ли он так счастлив в браке, как о том рассказывают.

— Да, уж что правда, то правда! — ответил муж. — Живем мы с женой душа в душу, вот только детей у нас многовато, а с ними много у нас и забот и горя!

Стало быть, и у него искать талисман было нечего, и принц с принцессой отправились дальше, расспрашивая повсюду, не слыхал ли кто про счастливых и довольных супругов. Но такие все не объявлялись.

Однажды, едучи полями и лугами, увидели они неподалеку от дороги пастуха, который весело играл на свирели. И видят, что к пастуху идет женщина с грудным младенцем; другого ребенка, мальчика, она ведет за руку. Как только пастух заметил женщину, он пошел к ней навстречу, поздоровался, взял малютку и стал целовать и ласкать его. А собака

пастуха, прыгая и лая от радости, подбежала к мальчику и лизнула ему ручонку. Меж тем жена пастуха достала глиняный горшок, который принесла с собой, и сказала:

— Иди-ка, отец, поешь.

Муж сел на землю и принялся за еду, но первый кусок он отдал малютке, а второй разделил с мальчиком и собакой. Все это видели и слышали принц с принцессой. Подошли они поближе и заговорили с мужем и женой:

— Уж вы-то, наверное, самые что ни на есть счастливые и довольные супруги?

— Да, уж что правда, то правда,— ответил муж.— Слава богу. На свете нет ни одного принца с принцессой счастливее нас.

— Знаете что,— сказал тогда принц,— помогите нам, вы об этом не пожалеете! Дайте нам по лоскутку от рубашки, которую вы носите на теле!

При этих словах пастух с женой как-то чудно перелянулись. А пастух сказал:

— Видит бог, мы бы рады дать вам не то что по лоскутку, но и целую сорочку, будь она у нас. Но у нас и тряпки-то никакой в доме нет.

Пришлось принцу с принцессой отправиться дальше несолоно хлебавши. Под конец долгие напрасные скитания им наскучили, они повернули домой. Когда принц с принцессой проезжали мимо хижины мудреца, они упрекнули его за то, что он дал им такой плохой совет, и рассказали про свое путешествие.

Улыбнулся на это мудрец и сказал:

— Неужто вы и вовсе понапрасну съездили? Разве не вернулись вы домой умудренные опытом?

— Да,— ответил принц,— я узнал, что счастье и довольство своей судьбой — редкий дар на этом свете!

— А я,— сказала принцесса,— поняла: чтобы быть счастливым, нужно только одно — *быть счастливым!*

Протянул тут принц принцессе руки, и поглядели они друг на друга с такой нежной любовью! Благословил их мудрец и сказал:

— В вашем собственном сердце отыскали вы



истинный талисман! Храните его бережно, и тогда злой дух неудовлетворенности никогда не овладеет вами.

СТАРЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ

Знаете вы сказку про старый уличный фонарь? Она не бог весть как интересна, но все-таки послушать ее стоит.

Так вот, жил-был один почтенный старый уличный фонарь; он честно служил много лет, но, наконец, его решили уволить. Фонарю стало известно, что он последний вечер висит на столбе и освещает улицу, и чувства его можно было сравнить с чувством увядшей балерины, которая танцует в последний раз и знает, что завтра ее попросят сойти со сцены. Он с ужасом ждал завтрашнего дня: завтра ему предстояло явиться на смотр в ратушу и впервые представиться «тридцати шести отцам города», которые решат, годен ли он еще к службе или нет.

Да, завтра должен был решиться вопрос: отправят ли его освещать какой-нибудь другой мост, уйдут ли в деревню или на фабрику, или же просто сдадут в переплавку. Фонарь могли переплавить во что угодно; но больше всего его угнетала неизвестность: он не знал, будет ли он помнить о том, что некогда был уличным фонарем, или не будет? Так или иначе, он знал, что ему во всяком случае придется расстаться с ночным сторожем и его женой, которые стали ему близки, как родные. Оба они — и фонарь и сторож — поступили на службу в один и тот же час. Жена сторожа очень гордилась должностью мужа и, проходя мимо фонаря, достаивала его взглядом только по вечерам, а днем — никогда. Но в последние годы, когда они все трое — и сторож, и жена его, и фонарь — уже состарились, она тоже стала ухаживать за фонарем, чистить лампу и наливать в нее ворвань. Честные люди были эти старики, ни разу не обидели фонарь ни на капельку!

Итак, фонарь освещал улицу последний вечер, а на завтра должен был отправиться в ратушу. Эти грустные мысли не давали ему покоя; немудрено, что он и горел плохо. Порой у него мелькали и другие

мысли, — он многое видел, на многое пришлось ему пролить свет; в этом отношении он стоял, пожалуй, выше, чем «тридцать шесть отцов города!» Но он молчал и об этом: почтенный старый фонарь не хотел обижать никого, а тем более свое начальство. Фонарь многое видел и запомнил, и время от времени пламя его трепетало, словно в нем шевелились такие мысли: «Да, и обо мне кое-кто вспомнит! Вот хоть бы тот красавец юноша... Много лет прошло с тех пор. Он подошел ко мне с исписанным листком бумаги, тонкой-претонкой, с золотым обрезом. Письмо было написано женской рукой и так красиво! Он прочел его два раза, поцеловал и поднял на меня сияющие глаза: «Я счастливейший человек в мире!» — говорили они. Да, только он да я знали, что написала в этом первом письме его возлюбленная. Помню я и другие глаза... Удивительно, как перескакивают мысли! По нашей улице двигалась пышная похоронная процессия; на катафалке, обитом бархатом, везли в гробу тело молодой, прекрасной женщины. Сколько было цветов и венков! Горело такое множество факелов, что они совсем затмили мой свет. Тротуар был заполнен народом — это люди шли за гробом. Но когда факелы скрылись из виду, я огляделся и увидел человека, который стоял у моего столба и плакал. Никогда я не забуду взгляда его скорбных глаз, смотревших на меня».

И много еще о чем вспоминал старый уличный фонарь в этот последний вечер. Часовой, сменяющийся с поста, тот хоть знает своего преемника и может перекинуться с ним двумя словами; а фонарю не с кем было поделиться своим опытом — рассказать о дожде и снеге, о том, как месяц освещает тротуар и с какой стороны обычно дует ветер.

На мостике, перекинутом через водосточную канаву, находились в это время три кандидата на освобождающуюся должность, которые думали, что выбор преемника зависит от самого фонаря. Одним из этих кандидатов была селедочная головка, светящаяся в темноте; она полагала, что ее появление на фонарном столбе значительно сократит расход ворвани. Вторым была гнилушка, которая тоже светилась и, по ее словам, даже ярче, чем вяленая треска; к тому же она считала себя последним остатком дерева,

которое некогда было красой всего леса. Третьим кандидатом был светлячок; откуда он взялся — фонарь никак не мог догадаться, но светлячок был тут и тоже светился, хотя гнилушка и сеledочная головка клялись в один голос, что он светит только временами, а потому его и не следует принимать во внимание.

Старый фонарь возразил им, что ни один из кандидатов не светит настолько ярко, чтобы занять его место, но ему, конечно, не поверили. Узнав же, что назначение на должность зависит вовсе не от фонаря, все трое выразили живейшее удовольствие, — он ведь был слишком стар, чтобы сделать верный выбор.

В это время из-за угла подул ветер и шепнул в отдушину фонаря:

— Что я слышу! Ты уходишь завтра? Это последний вечер, что мы встречаемся с тобою здесь? Ну, так вот же тебе от меня подарок! Я проветрю твой череп, да так, что ты не только будешь ясно и точно помнить все, что когда-либо слышал и видел сам, но увидишь собственными глазами то, что будут рассказывать или читать при тебе другие, — вот какая у тебя будет свежая голова!

— Не знаю, как тебя благодарить, — сказал старый фонарь. — Только бы меня не переплавили!

— До этого еще далеко, — отвечал ветер. — Ну, сейчас я проветрю твою память. Если ты получишь много таких подарков, как мой, ты проведешь старость очень и очень приятно!

— Только бы меня не переплавили! — повторил фонарь. — Может быть, ты и в этом случае поручишься за мою память?

— Эх, старый фонарь, будь же благоразумен! — сказал ветер и подул.

В эту минуту выглянул месяц.

— А вы что подарите? — спросил его ветер.

— Ничего, — ответил месяц, — я ведь на ущербе; к тому же фонари никогда не светят за меня, — всегда я за них. — И месяц опять спрятался за тучи, — он не хотел, чтобы ему надоедали.

Вдруг на железный колпачок фонаря капнула дождевая капля, казалось, она скатилась с крыши; но капля сказала, что упала из серого облака, и тоже — как подарок, пожалуй даже самый лучший.

— Я проточу тебя, и ты, когда пожелаешь, сможешь проржаветь и рассыпаться в прах за одну ночь! Фонарю это показалось плохим подарком; ветру — тоже.

— Неужто никто не подарит ничего получше? — зашумел он изо всей мочи.

И в ту же минуту с неба скатилась звездочка, оставив за собой длинный светящийся след.

— Это что? — вскричала сеledочная головка. — Как будто звезда с неба упала? И, кажется, прямо на фонарь! Ну, если этой должности домогаются столь высокопоставленные особы, нам остается только откланяться и убраться восвояси.

Так все трое и сделали. А старый фонарь вдруг вспыхнул как-то особенно ярко.

— Вот это чудесный подарок! — сказал он. — Я так всегда любовался дивным светом ясных звездочек. Ведь сам я не мог светить, как они, хоть это и было моим заветным желанием и стремлением, — и вот дивные звездочки заметили меня, бедный старый фонарь, и послали мне в подарок одну из своих сестриц. Они одарили меня способностью показывать тем, кого я люблю, все, что я помню и вижу сам. Это дает глубокое удовлетворение; а радость, которую не с кем разделить, — только полрадости!

— Отличная мысль, — сказал ветер. — Но ты не знаешь, что этот твой дар зависит от восковой свечки. Ты никому ничего не сможешь показать, если в тебе не будет гореть восковая свечка: вот о чем не подумали звезды. Они принимают и тебя да и вообще все, что светит, за восковые свечки. Но теперь я устал, пора улечься! — добавил ветер и улегся.

На другой день... нет, через него мы лучше перескочим, — на следующий вечер фонарь лежал в кресле. Угадай где? В комнате старого ночного сторожа. Старик попросил у «тридцати шести отцов города» в награду за свою долгую верную службу... старый фонарь. Те посмеялись над его просьбой, но фонарь отдал; и вот фонарь преважно лежал теперь в кресле, возле теплой печки и, право, точно вырос, так что занимал собою почти все кресло. Старички уже сиде-

ли за ужином и ласково поглядывали на старый фонарь; они охотно посадили бы его с собой за стол.

Правда, они жили в подвале, на несколько футов под землей, и чтобы попасть в их каморку, надо было пройти через вымощенную кирпичами прихожую, — зато в самой каморке было очень чисто и уютно. Двери были обиты по краям полосками войлока, кровать пряталась за пологом, на окнах висели занавески, а на подоконниках стояли два диковинных цветочных горшка. Их привез матрос Христиан из Ост-Индии или Вест-Индии. Горшки были глиняные, в виде слонов без спины; вместо спины у них было углубление, набитое землей; в одном слоне рос чудеснейший лук-порей, а в другом — цветущая герань. Первый слон служил старичкам огородом, второй — цветником. На стене висела большая картина в красках, изображавшая Венский конгресс, на котором присутствовали все цари и короли. Старинные часы с тяжелыми свинцовыми гирями тикали без умолку и вечно убегали вперед, — но это было лучше, чем если бы они отставали, говорили старички.

Итак, сейчас они ужидали, а старый уличный фонарь лежал, как мы знаем, в кресле, возле теплой печки, и ему казалось, будто весь мир перевернулся вверх дном. Но вот старик сторож взглянул на него и стал припоминать все, что они пережили вместе в дождь и в непогоду, в ясные и короткие летние ночи и в снежные метели, когда так и тянет домой, в подвальчик; а фонарь пришел в себя и увидел все это как наяву.

Да, ветер славно его проветрил!

Старички были работающие, трудолюбивые; ни один час не пропадал у них зря. По воскресеньям, после обеда, на столе появлялась какая-нибудь книжка, чаще всего описание путешествия, и старик читал вслух об Африке, об ее огромных лесах и диких слонах, которые бродят на воле. Старушка слушала и поглядывала на глиняных слонов, служивших цветочными горшками.

— Могу себе это представить! — приговаривала она.

А фонарь от души желал, чтобы в нем горела восковая свечка, — тогда старушка, как и он сам, воочию увидела бы все: и высокие деревья с переплетающи-

мися густыми ветвями, и голых черных людей верхом на лошадях, и целые стада слонов, уминающих толстыми ногами тростник и кустарник.

— Что проку в моих способностях, если я нигде не вижу восковой свечки! — вздыхал фонарь. — У моих хозяев только и есть, что ворвань да сальные свечи, а этого недостаточно.

Но вот у старичков появилось много восковых огарков; длинные огарки сжигали, а короткими старушка вошила нитки, когда шила. Восковые свечки у стариков были, но им и в голову не приходило вставить хоть один огарочек в фонарь.

— Ну вот, я и лежу тут зря со всеми своими редкими способностями, — сказал фонарь. — Внутри у меня целое богатство, а я не могу им поделиться! Ах, вы не знаете, что я могу превратить эти белые стены в роскошнейшую обивку, в густые леса, во все, что вы пожелаете! Да и где вам знать это!

Фонарь, всегда вычищенный, лежал в углу, на самом видном месте. Люди, правда, называли его старым хламом, но старики не обращали на это внимания, — они его любили.

Однажды, в день рождения старика, старушка подошла к фонарю, лукаво улыбнулась и сказала:

— Постой-ка, я сейчас устрою иллюминацию в честь своего старика!

Фонарь задрезжал от радости. «Наконец-то их осенило!» — подумал он. Но налили в него ворвань, а о восковой свечке не было и помину. Он горел весь вечер, но знал теперь, что дар звезд — самый лучший дар — так и не пригодится ему в этой жизни. И вот пригрезилось ему, — с такими способностями немудрено и грезить, — будто старики умерли, а он попал в переплавку. Фонарю было так же страшно, как в тот раз, когда ему предстояло явиться на смотр в ратушу к «тридцати шести отцам города». Но хоть он и мог по своему желанию проржаветь и рассыпаться в прах, он этого не сделал, а попал в плавильную печь и превратился в чудесный железный подсвечник в виде ангела, который держал в одной руке букет. В этот букет вставили восковую свечку, и подсвечник занял место на зеленом сукне письменного стола. Комната была очень уютна; все полки здесь были уставлены книгами, а стены увешаны велико-

лепными картинами. Здесь жил поэт, и все, о чем он думал и писал, развертывалось перед ним, как в панораме. Комната становилась то дремучим лесом, освещенным солнцем, то лугами, по которым расхаживал аист, то палубой корабля, плывущего по бурному морю...

— Ах, какие способности скрыты во мне! — воскликнул старый фонарь, очнувшись от грез. — Право, мне даже хочется попасть в переплавку! Впрочем, нет! Пока живы старички — не надо. Они любят меня таким, какой я есть, я им заменяю ребенка. Они чистили меня, питали ворванью, и мне здесь живется не хуже, чем знати на конгрессе. Чего же еще желать!

И с тех пор фонарь обрел душевное спокойствие; да, старый, почтенный фонарь и заслуживал этого.

ПОСЛЕДНИЙ СОН СТАРОГО ДУБА

В лесу, на крутом берегу моря, рос старый-старый дуб; ему было ни больше ни меньше как триста шестьдесят пять лет, но это ведь для дерева все равно, что для нас, людей, столько же суток. Мы бодрствуем днем, а спим и видим сны ночью, дерево же бодрствует три времени года и спит только зимою. Зима — время его сна, ночь, сменяющая длинный день: весну, лето и осень.

В теплые летние дни около дуба кружились и плясали мухи-поденки. Каждая жила, порхала и веселилась, а устав, опускалась в сладкой истоме отдохнуть на один из больших, свежих листьев дуба. И дерево всякий раз говорило крошечному созданию:

— Бедняжка! Вся твоя жизнь — один день! Как коротко, как печально твое существование!

— Печально?! — ответила муха. — Что ты говоришь? Гляди, как светло, тепло и чудесно! Мне так весело!

— Да ведь всего один день, и — конец!

— Конец! — говорила муха. — Кому конец? И тебе разве тоже?

— Нет, я-то проживу, может быть, несколько тысяч твоих дней; мой день равен ведь трем четвертям

года! Ты даже и представить себе не можешь, как это долго!

— Нет; я и не понимаю тебя вовсе! Ты живешь тысячи моих дней, а я живу тысячи мгновений, и каждое несет мне с собою радость и веселье!.. Ну, а с твоею смертью приходит конец и всему этому великолепию, всему свету?

— Нет, — отвечало дерево. — Свет будет существовать куда дольше, так бесконечно долго, что я и представить себе не могу!

— Ну, так нам с тобою дана одинаково долгая жизнь, только мы считаем по-разному!

И муха-поденка плясала и кружилась в воздухе, радуясь своим нежным, изящным, прозрачно-бархатистым крылышкам, радуясь теплему воздуху, насыщенному ароматом клевера, шиповника, бузины и каприфолий, не говоря уже об аромате дикого ясенника, скороспелок и душистой мяты. Аромат этот был так силен, что муха словно пьянела от него слегка. Что за длинный чудный был день, полный радости и сладких ощущений. Когда же солнышко заходило, мушка чувствовала такую приятную усталость, крылышки отказывались ее носить, и она тихо опускалась на мягкую, волнующуюся травку, кивала головой и сладко засыпала — навеки.

— Бедняжка! — говорил дуб. — Чересчур уж короткая жизнь!

И каждый летний день повторялась та же история: та же пляска, те же речи, вопросы и ответы; одна муха-поденка жила, радовалась, веселилась и умирала, как другая.

Дерево бодрствовало весеннее утро, летний день и осенний вечер; теперь дело шло к ночи, ко сну, — приближалась зима.

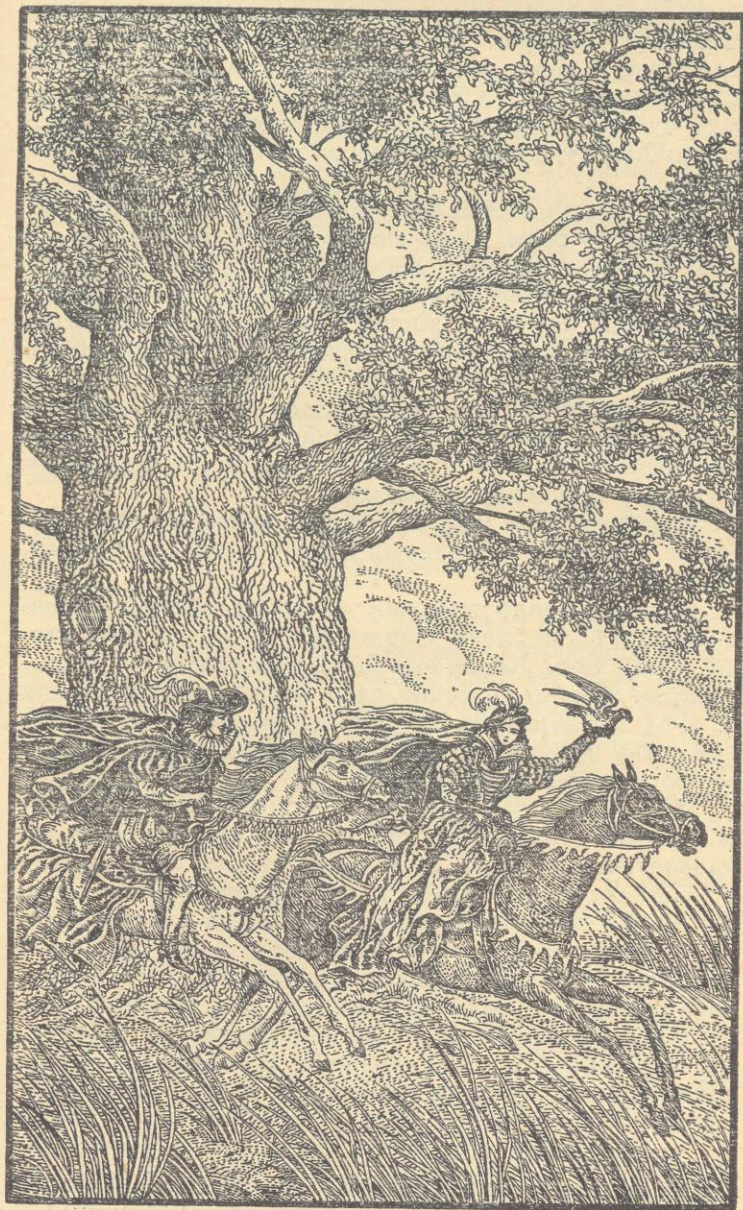
Вот запели бури. «Покойной ночи, покойной ночи! Листья опали, листья опали! Их мы оборвали, их мы оборвали! Усни теперь, усни! Мы убаюкаем тебя, укачаем, потрепем во сне! Старые ветви трещат от удовольствия! Спи же, усни! Скоро настанет твоя триста шестьдесят пятая ночь! Для нас же ты — только годовалый ребенок! Спи, усни! Облака посыплют тебя снегом, накинут на твои ноги мягкое, теплое покрывало! Спи, усни!»

И дерево сбросило с себя свою зеленую одежду, собираясь на покой, готовясь уснуть, провести в грезах всю долгую зиму, видеть во сне картины пережитого, как видят их во сне люди.

И дуб когда-то был крошкой; колыбелью ему служил маленький желудь. По человеческому счету, он переживал теперь четвертое столетие. Больше, величественнее его не было дерева во всем лесу! Вершина его высоко возносилась над всеми деревьями и была видна с моря издалека, служила приметой для моряков. А дуб и не знал о том, сколько глаз искали его! В ветвях дуба гнездились лесные голуби, куковала кукушка, а осенью, когда листья его казались выкованными из меди, на ветви присаживались и другие перелетные птицы — отдохнуть перед тем, как пуститься через море. Но вот настала зима, и дерево стояло без листьев; обнаженные, извилистые, сучковатые ветви резко вырисовывались всеми своими изгибами; вороны и галки садились на них и толковали о тяжелых временах, о том, как трудно будет зимою добывать корм!

И вот в бурную новогоднюю ночь дубу приснился самый чудный сон из всех виденных им в жизни. Послушаем же!

Дереву грезился чудный, теплый, летний сон. Дуб пышно раскинул свою зеленую, мощную верхушку; солнечные зайчики бегали между листьями и ветвями; воздух был напоен ароматом трав и цветов; пестрые бабочки догоняли друг друга; мухи-поденки плясали, как будто все только и существовало для их пляски и веселья. Все, что пережило и видело вокруг себя дерево за всю свою долгую жизнь, проходило теперь перед ним в торжественном шествии. Оно видело, как через лес проезжали верхом воины; на шляпах их развевались перья; у каждого всадника, у каждой всадницы сидел на руке сокол; звучали охотничьи рога, лаяли собаки. Видело дерево и неприятельские войска в блестящих латах и пестрых одеждах; вооруженные копьями и алебардами воины ставили и опять снимали палатки; ярко пылали сторожевые огни; воины располагались под деревом на ночлег, пели и отдыхали в тени его ветвей. Видело оно и молодых людей, встречавшихся около него при свете луны и вырезывавших свои инициалы



на его серо-зеленой коре. На ветвях его как будто опять висели цитры и эоловы арфы, которые развешивали, бывало, веселые странствующие подмастерья, и ветер опять играл на них дивные мелодии. Лесные голуби ворковали, точно хотели высказать чувства, волновавшие при этом могучее дерево, а кукушка куковала, сколько еще лет оставалось ему жить.

И вот, словно новый, могучий поток жизни заструился по всем, даже мельчайшим, корешкам, по всем ветвям и листьям дерева. Оно потянулось и почувствовало всеми своими корешками, что и внизу, под землею, струится жизнь и тепло. Оно почувствовало прилив новых сил, чувствовало, что растет все выше и выше. Ствол быстро, безостановочно тянулся вверх, вершина его становилась все раскидистее и кудрявее... Вместе с ростом увеличивалась и сладкая тоска, стремление вырасти еще выше, подняться к самому красному солнышку!

Вершина дуба уже поднялась выше облаков, которые, как стаи перелетных птиц или белых лебедей, неслись вниз.

Дерево видело каждым листком своим, словно в каждом день глаза. Оно видело и звезды, хотя стоял ясный день. Какие они были большие, блестящие! Каждая светилась, точно пара ясных, кротких очей. И дубу вспомнились другие знакомые, милые очи: очи детей и очи влюбленных, встречающихся под его сенью в ясные лунные ночи.

Дуб переживал чудные, блаженные мгновения! И все-таки он ощущал какую-то тоску, какую-то неудовлетворенность... Ему недоставало его лесных друзей! Он хотел, чтобы и все другие деревья леса, все кусты, растения и цветы поднялись так же высоко, ощутили бы ту же радость, видели тот же блеск, что и он! Могучий дуб даже и в эти минуты блаженного сна не был вполне счастлив: ему хотелось разделить свое счастье со всеми — и малыми и большими; он желал этого так страстно, так горячо, каждою своею ветвью, каждым листочком, как желают иногда чего-нибудь люди всеми фибрами своей души!

Вершина дуба качалась в порыве тоскливого томления, смотрела вниз, словно ища чего-то, и вдруг до него явственно донеслось благоухание дикого ясен-

ника, потом сильный аромат каприфолий и фиалок; ему показалось даже, что он слышит кукование кукушки!

И вот сквозь облака проглянули зеленые верхушки леса! Дуб увидел под собой другие деревья; они тоже росли и тянулись к нему; кусты и травы тоже. Некоторые даже рвались из земли с корнями, чтобы быстрее лететь к облакам. Впереди всех была береза; гибкий ствол ее, извилистый, как зигзаги молнии, тянулся все выше и выше, ветви развевались, как зеленые флаги. Все лесные растения, даже коричневые султаны тростника, поднимались к облакам; птицы с песнями летели за ними, а на стебельке травки, развевавшемся по ветру, как длинная зеленая лента, сидел кузнечик и наигрывал крылышком на своей тонкой ножке. Майские жучки гудели, пчелы жужжали, каждая птичка заливалась песенкой; в небесах все пело и ликовало!

— А где же красненький водяной цветочек? Пусть и он будет с нами! — сказал дуб. — И голубой колокольчик, и малютка ромашка! — Дуб всех хотел видеть возле себя.

— Мы тут, мы тут! — зазвучало со всех сторон.

— А прошлогодний хорошенький дикий ясенник? А чудный ковер ландышей, что расстилался в лесу три года тому назад? А прелестная дикая яблонька и все другие растения, украшавшие лес в течение этих многих, многих лет? Ах, если б они все дожили до этого мгновения, были бы вместе с нами!

— Мы тут, мы тут! — зазвучало в вышине, как будто отвечавшие были уже впереди.

— Как хорошо, как дивно хорошо! — ликовал старый дуб. — Они все тут со мной — и малые и большие! Ни один не забудь!

И старый дуб, не перестававший расти, почувствовал вдруг, что совсем отделяется от земли.

— Вот это лучше всего! — сказал он. — Теперь я совсем свободен! Все узы порвались! Я могу взлететь к самому источнику света и блеска! И все мои дорогие друзья со мною — и малые и большие — все!

— Все!

Пока же дуб грезил, над землею и морем разразилась страшная буря. Мощные волны морские дико бились о берег, дерево трещало, качалось и наконец

было вырвано с корнями в ту самую минуту, когда ему грезилось, что оно отделяется от земли. Дуб свалился. Триста шестьдесят пять лет минули для него, как день для мухи-поденки.

На восходе новогоднего солнышка буря утихла; из всех труб вился синий дымок, словно жертвенный фимиам в праздник жрецов. Море успокоилось, и на большом корабле, выдержавшем ночную бурю, взвились флаги.

— А дерева-то нет больше! Ночная буря сокрушила наш могучий дуб, нашу приметку на берегу! — сказали моряки. — Кто нам заменит его? Никто!

Вот какую надгробную речь, кратко, но сказанную от чистого сердца, почтили моряки старый дуб, поверженный бурей на снежный ковер. Донеслась до дерева и старинная торжественная песнь, пропетая моряками.

СНЕГОВИК

— Так и хрустит во мне! Славный морозище! — сказал снеговик. — Ветер-то, ветер-то так и кусает! Просто любо! А эта что глазее, пучеглазая? — Это он про солнце говорил, которое как раз заходило. — Нечего, нечего! Я и не моргну! Устоим!

Вместо глаз у него торчали два осколка кровельной черепицы, вместо рта обломок старых граблей; значит, он был и с зубами.

На свет он появился при радостных «ура» мальчишек, под звон бубенчиков, скрип полозьев и щелканье извозчичьих кнутов.

Солнце зашло, и на голубое небо выплыла луна, полная, ясная!

— Ишь, с другой стороны ползет! — сказал снеговик. Он думал, что это опять солнце показалось. — Я все-таки отучил ее паялить на меня глаза! Пусть себе висит и светит потихоньку, чтобы мне видно было себя!.. Ах, кабы мне ухитриться как-нибудь сдвинуться! Так бы и побежал туда на лед покататься, как давеча мальчишки! Беда — не могу двинуться с места!

— Вон! Вон! — залаял старый цепной пес; он немножко охрип — ведь когда-то он был комнатною собачкой и лежал у печки. — Солнце выучит тебя двигаться! Я видел, что было в прошлом году с таким, как ты, и в позапрошлом тоже! Вон! Вон! Все убрались вон!

— Что ты толкуешь, дружище? — сказал снеговик. — Вон та пучеглазая выучит меня двигаться? — Снеговик говорил про луну. — Она сама-то удрала от меня давеча: я так пристально посмотрел на нее в упор! А теперь вон опять выползла с другой стороны!

— Много ты смыслишь! — сказал цепной пес. — Ну да, ведь тебя только что вылепили! Та, что глядит теперь, луна, а то, что ушло, солнце; оно опять вернется завтра. Уже оно подвинет тебя — прямо в канаву! Погода переменится! Я чую — левая нога запыла! Переменится, переменится!

— Не пойму я тебя что-то! — сказал снеговик. — А сдается, ты сулишь мне недоброе! Та пучеглазая, что зовут солнцем, тоже не друг мне, я уж чую!

— Вон! Вон! — пролаяла цепная собака, три раза повернулась вокруг самой себя и улеглась в своей конуре спать.

Погода и в самом деле переменилась. К утру вся окрестность была окутана густым, тягучим туманом; потом подул резкий, леденящий ветер и затрещал мороз. А что за красота была, когда взойшло солнышко!

Деревья и кусты в саду стояли все осыпанные инеем, точно лес из белых кораллов! Все ветви словно покрылись блестящими белыми цветочками! Мельчайшие разветвления, которых летом не видно из-за густой листвы, теперь ясно вырисовывались тончайшим кружевным узором ослепительной белизны; от каждой ветки как будто лилось сияние! Плакучая береза, колеблемая ветром, казалась, ожила; длинные ветви ее с пушистою бахромой тихо шевелились — точь-в-точь как летом! Вот было великолепиие! Встало солнышко... Ах, как все вдруг засверкало и загорелось крошечными ослепительно белыми огоньками! Все было точно осыпано алмазною пылью, а на снегу переливались крупные бриллианты!

— Что за прелести!— сказала молодая девушка, вышедшая в сад с молодым человеком. Они остановились как раз возле снеговика и смотрели на сверкающие деревья.

— Летом такого великолепия не увидишь!— сказала она, вся сияя от удовольствия.

— И такого молодца — тоже!— сказал молодой человек, указывая на снеговика.— Он бесподобен!

Молодая девушка засмеялась, кивнула головой снеговика и пустилась с молодым человеком по снегу вприпрыжку; так и захрустело у них под ногами, точно они бежали по крахмалу.

— Кто такие приходили эти двое?— спросил снеговик цепную собаку.— Ты ведь живешь тут подольше меня; знаешь ты их?

— Знаю!— сказала собака.— Она гладила меня, а он бросал косточки; таких я не кусаю.

— А что же они из себя изображают?— спросил снеговик.

— Паррочку!— сказала цепная собака.— Вот они поселятся в конуре и будут вместе глотать кости! Вон! Вон!

— Ну, а значат они что-нибудь, как вот я да ты?

— Да ведь они господа!— сказал пес.— Куда как мало смыслит тот, кто только вчера вылез на свет божий! Это я по тебе вижу! Вот я так богат и годами и знанием! Я всех, всех знаю здесь! Да, я знавал времена получше!.. Не мерз тут в холоде на цепи! Вон! Вон!

— Славный морозец!— сказал снеговик.— Ну, ну, рассказывай! Только не греми цепью, а то меня просто коробит!

— Вон! Вон!— залаял цепной пес.— Я был щенком, крошечным хорошеньким щенком, и лежал на бархатных креслах там, в доме, лежал на коленях у знатных господ! Меня целовали в мордочку и вытирали лапки вышитыми платками! Звали меня Милкой, Крошкой!.. Потом я подрос, велик для них стал, и меня подарили ключнице, я попал в подвальный этаж. Ты можешь заглянуть туда; с твоего места отлично видно. Так вот, в той каморке я и зажил как барин! Там хоть и пониже было, да зато спокойнее, чем наверху: меня не таскали и не тискали дети. Ел я тоже не хуже, если еще не лучше! У меня была своя

подушка и еще... там была печка, самая чудеснейшая вещь на свете в такие холода! Я совсем уползал под нее!.. О, я и теперь еще мечтаю об этой печке! Вон! Вон!

— Разве уж она так хороша, печка-то?— спросил снеговик.— Похожа она на меня?

— Ничуть! Вот сказал тоже! Печка черна как уголь; у нее длинная шея и медное пузо! Она так и пожирает дрова, огонь пышет у нее изо рта! Рядом с нею, под нею — настоящее блаженство! Ее видно в окно, погляди!

Снеговик посмотрел и в самом деле увидел черную блестящую штуку с медным животом; в животе светился огонь. Снеговика вдруг охватило какое-то странное желание,— в нем как будто зашевелилось что-то... Что такое нашло на него, он и сам не знал и не понимал, хотя это понял бы всякий человек, если, разумеется, он не снеговик.

— Зачем ты ушел от нее?— спросил снеговик пса, он чувствовал, что печка — существо женского пола.— Как ты мог уйти оттуда?

— Пришлось поневоле!— сказал цепной пес.— Они вышвырнули меня и посадили на цепь. Я укусил за ногу младшего барчука — он хотел отнять у меня кость!— «Кость за кость!»— думаю себе... А они осердились, и вот я на цепи! Потерял голос... Слышишь, как я хриплю? Вон! Вон! Вот тебе и вся недолга!

Снеговик уже не слушал; он не сводил глаз с подвального этажа, с каморки ключницы, где стояла на четырех ножках железная печка величиной с самого снеговика.

— Во мне что-то так странно шевелится!— сказал он.— Неужели я никогда не попаду туда? Это ведь такое невинное желание, отчего ж бы ему и не сбыться? Это мое самое заветное, мое единственное желание! Где же справедливость, если оно не сбудется? Мне надо туда, туда, к ней... Прижаться к ней во что бы то ни стало, хоть бы пришлось разбить окно!

— Туда тебе не попасть!— сказал цепной пес.— А если бы ты и добрался до печки, то тебе конец! Вон! Вон!

— Мне уж и так конец подходит, того и гляди свалюсь!

Целый день снеговик стоял и смотрел в окно, в сумерки каморка выглядела еще приветливее: печка светила так мягко, как не светить ни солнцу, ни луне! Куда им! Так светит только печка, если брюшко у нее набито. Когда дверцу открыли, из печки так и метнулось пламя и заиграло ярким отблеском на белом лице снеговика. В груди у него тоже горело пламя.

— Не выдержу! — сказал он. — Как мило она высовывает язык! Как это идет к ней!

Ночь была длинная, длинная, только не для снеговика; он весь погрузился в чудные мечты, — они так и трещали в нем от мороза.

К утру все окна подвального этажа покрылись чудесным ледяным узором, цветами; лучших снеговика нечего было и требовать, но они скрывали печку! Стекла не оттаивали, и он не мог видеть печку! Мороз так и трещал, снег хрустел, снеговика радоваться бы да радоваться, так нет! Он тосковал по печке! Он был положительно болен.

— Ну, это опасная болезнь для снеговика! — сказал пес. — Я тоже страдал этим, но поправился. Вон! Вон! Будет перемена погоды!

И погода переменялась, началась оттепель.

Капли поприбавилось, а снеговик поубавился, но он не говорил ничего, не жаловался, а это плохой признак.

В одно прекрасное утро он рухнул. На месте его торчало только что-то вроде железной согнутой палки; на ней-то мальчишки и укрепили его.

— Ну, теперь я понимаю его тоску! — сказал цепной пес. — У него внутри была кочерга! Вот что шевелилось в нем! Теперь все прошло! Вон! Вон!

Скоро прошла и зима.

— Вон! Вон! — лаял цепной пес, а девочки на улице пели:

Цветочек лесной, поскорей распускайся!
Ты, вербочка, мягким пушком одевайся!
Кукушки, скворцы, прилетайте,
Весну нам красну воспевайте!
И мы вам подтянем: ай, люли-люли,
Деньки наши красные снова пришли!

О снеговике же и думать забыли!

ПЕРО И ЧЕРНИЛЬНИЦА

Кто-то сказал однажды, глядя на чернильницу, стоявшую на письменном столе в кабинете поэта: «Удивительно, чего-чего только не выходит из этой чернильницы! А что-то выйдет из нее на этот раз?.. Да, поистине удивительно!»

— Именно! Это просто непостижимо! Я сама всегда это говорила! — обратилась чернильница к гусиному перу и другим предметам на столе, которые могли ее слышать. — Замечательно, чего только не выходит из меня! Просто невероятно даже! Я и сама, право, не знаю, что выйдет, когда человек опять начнет черпать из меня! Одной моей капли достаточно, чтобы исписать полстраницы, и чего-чего только не уместится на ней! Да, я нечто замечательное! Из меня выходят всевозможные поэтические творения! Все эти живые люди, которых узнают читатели, эти искренние чувства, юмор, дивные описания природы! Я и сама не возьму в толк — я ведь совсем не знаю природы, — как все это вмещается во мне? Однако же это так! Из меня вышли и выходят все эти воздушные, грациозные девичьи образы, отважные рыцари на фыркающих конях и кто там еще? Уверю вас, все это получается совершенно бессознательно!

— Правильно! — сказала гусиное перо. — Если бы вы отнеслись к делу сознательно, вы бы поняли, что вы только сосуд с жидкостью. Вы смачиваете меня, чтобы я могло высказать и выложить на бумагу то, что ношу в себе! Пишет перо! В этом не сомневается ни единый человек, а полагаю, что большинство людей понимают в поэзии не меньше старой чернильницы!

— Вы слишком неопытны! — возразила чернильница. — Сколько вы служите? И недели-то нет, а уж почти совсем износились. Так вы воображаете, что это вы творите? Вы только слуга, и много вас у меня перебивало — и гусиных и английских стальных! Да, я отлично знакома и с гусиными перьями и со стальными! И много вас еще перебивает у меня в услужении, пока человек будет продолжать записывать то, что почерпнет из меня!

— Чернильная бочка! — сказала перо.

Поздно вечером вернулся домой поэт; он пришел с концерта скрипача-виртуоза и весь был еще под впечатлением его бесподобной игры. В скрипке, казалось, был неисчерпаемый источник звуков: то как будто катились звеня, словно жемчужины, капли воды, то щебетали птички, то ревела буря в сосновом бору. Поэту чудилось, что он слышит плач собственного сердца, выливающийся в мелодии, похожие на гармоничный женский голос. Звучали, казалось, не только струны скрипки, но и все ее составные части. Удивительно, необычайно! Трудна была задача скрипача, и все же искусство его выглядело игрою, смычок словно сам порхал по струнам; всякий, казалось, мог сделать то же самое. Скрипка пела сама, смычок играл сам, вся суть как будто была в них, о мастере же, управлявшем ими, вложившем в них жизнь и душу, попросту забывали. Забывали все, но не забывал о нем поэт и написал вот что:

«Как безрассудно было бы со стороны смычка и скрипки кичиться своим искусством. А как часто делаем это мы, люди — поэты, художники, ученые, изобретатели, полководцы! Мы кичимся, а ведь все мы — только инструменты в руках создателя. Ему одному честь и хвала! А нам гордиться нечем!»

Так вот что написал поэт и озаглавил свою притчу «Мастер и инструменты».

— Что, дождались, сударыня? — сказала перо чернильнице, когда они остались одни. — Слышали, как он прочел вслух то, что я написало?

— То есть то, что вы извлекли из меня! — сказала чернильница. — Вы вполне заслужили этот щелчок своею спесью! И вы даже не понимаете, что над вами посмеялись! Я дала вам этот щелчок из собственного нутра. Уж позвольте мне узнать свою собственную сатиру!

— Чернильная душа! — сказала перо.

— Гусь лапчатый! — ответила чернильница.

И каждый решил, что ответил хорошо, а сознавать это приятно; с таким сознанием можно спать спокойно, они и заснули. Но поэт не спал; мысли волновались в нем, как звуки скрипки, катились жемчужинами, шумели, как буря в лесу, и он слы-

шал в них голос собственного сердца, ощущал дыханье Великого мастера...

Ему одному честь и хвала!

ЕЛЬ

В лесу стояла чудесная елочка. Место у нее было хорошее, воздуха и света вдоволь, а кругом росли ее подруги постарше — и ели и сосны. Елочке очень хотелось поскорее вырасти; она не замечала ни теплого солнца, ни свежего воздуха, ни крестьянских ребятишек, которые весело перекликались, собирая в лесу землянику и малину; набрав полные кружки или низав ягоды, словно бусы, на тонкие прутики, они присаживались под елочкой отдохнуть и говорили:

— Какая хорошенькая елочка! Какая маленькая! Но деревце и слушать их не хотело.

Прошел год, и у елочки вырос новый кружок веток — мутовка; прошел еще год — прибавилась еще одна. Так, по числу мутовок, можно узнать, сколько лет ели.

— Ах, если б я была такой же рослой, как другие деревья! — вздыхала елочка. — Тогда бы и я широко раскинула свои ветви, а верхушкой заглянула бы далеко-далеко! Птицы вили бы гнезда в моих ветвях, а при ветре я так же важно кивала бы головой, как другие!

И ни солнце, ни пение птичек, ни розовые облака, которые утром и вечером проплывали над ней, не доставляли ей ни малейшего удовольствия.

Стояла зима; все вокруг было покрыто ослепительно белым снегом, а по снегу нет-нет да и пробегал заяц и даже иногда перепрыгивал через елочку, — вот обидно-то! Прошло еще две зимы, и к третьей деревце подросло уже настолько, что зайцу приходилось обогать его.

«Да, расти, расти и поскорее сделаться большой и старой, что может быть лучше этого!» — думала елочка.

Осенью в лесу появлялись дровосеки и рубили самые большие деревья. Так бывало каждый год. Елочка теперь уже подросла и дрожала от страха, когда

на землю с шумом и треском падали огромные деревья. Их очищали от ветвей, и они тогда казались такими голыми, длинными, тонкими!

Трудно было узнать их. Потом их укладывали на дровни и увозили из леса.

Куда? Зачем?

Весной, когда прилетели ласточки и аисты, елочка спросила у них:

— Вы не знаете, куда увезли деревья? Вам они не встретились?

Ласточки ничего не знали, но один из аистов подумал, кивнул головой и ответил:

— Да, пожалуй. По пути из Египта я встречал на море много новых кораблей с великолепными высокими мачтами. Должно быть, это и были те деревья. От них пахло елью. Я привез вам поклон от этих важных особ.

— Ах, поскорей бы и мне вырасти да пуститься в плавание по морю. А какое оно, море? На что оно похоже?

— Ну, это долго рассказывать! — буркнул аист и улетел.

— Радуйся своей юности! — говорили елочке солнечные лучи. — Радуйся своему здоровому росту, своей молодой жизни!

И ветер целовал деревце, а роса проливалась над ним слезы, но ель этого не ценила.

Перед рождеством срубили несколько совсем молодых елок; некоторые из них были даже меньше нашей елочки, которой так не терпелось поскорее вырасти. Все срубленные деревца были прехорошенькие; их не очищали от ветвей, а прямо уложили на дровни и увезли.

— Куда? — спросила ель. — Они не больше меня; одна даже меньше. И почему на них оставили все ветки? Куда их увезли?

— Мы знаем! Мы знаем! — зачирикали воробы. — Мы были в городе и заглядывали в окна. Мы знаем, куда их повезли! Они попадут в честь, их так возвеличат, что и описать невозможно! Мы заглядывали в окна и все видели. Их ставили в середине теплой комнаты и украшали чудеснейшими вещами — золочеными яблоками, медовыми пряниками, игрушками и сотнями свечей.

— А потом?.. — спросила ель, дрожа всеми своими ветками. — А потом?.. Что было с ними потом?

— Этого мы не знаем. Но то, что мы видели, было замечательно.

— Может быть, и я вступлю на этот блестящий путь, — радовалась ель. — Это получше, чем плавать по морю. Ах, я просто изнываю от тоски и нетерпения! Хоть бы поскорее пришло рождество! Теперь и я стала высокой и густой, как те ели, что были срублены в прошлом году. Ах, если б я уже лежала на дровнях! Ах, если бы я уже стояла в теплой комнате, разубранная всеми этими прелестными украшениями! А потом что?.. Потом, верно, будет еще лучше, — иначе зачем бы и наряжать меня? Но что же все-таки со мной будет? Ах, как я тоскую и рвусь отсюда!.. Невмоготу мне! Сама не знаю, что со мной.

— Радуйся нам! — сказал ей воздух и солнечный свет. — Радуйся своей юности и лесному приволью!

Но елочка и не думала радоваться, а все росла да росла. И зиму и лето стояла она в своем темно-зеленом уборе, и каждый, кто видел ее, говорил: «Вот чудесное деревце!»

Подшло рождество, и елочку срубили первую. Топор глубоко врезался в ее тело, и елочка со стоном упала на землю. Ей стало больно, она слабела и уже не могла думать о своем будущем счастье. Грустно ей было расставаться с родным лесом, с тем уголком, где она выросла, — она знала, что никогда больше не увидит своих милых друзей — кустиков, цветов, а может быть, даже и птичек. Печальный это был отъезд.

Деревце пришло в себя только тогда, когда вместе с другими деревьями очутилось на каком-то дворе и услышало мужской голос:

— Прелестная елочка! Как раз такую мы и хотели.

Явились двое нарядных слуг, взяли елку и внесли ее в огромный, великолепный зал. По стенам здесь висели портреты, а в нише большой кафельной печи стояли китайские вазы со львами на крышках. Повсюду были расставлены кресла-качалки, обитые шелком диваны и большие столы, заваленные книжками с картинками и игрушками «на сотню сотен далеров», — так по крайней мере говорили дети. Елку

воткнули в большую бочку с песком, но об этом нельзя было догадаться, потому что бочку обмотали зеленою тканью и поставили на пестрый ковер. Как трепетала елочка! Что-то теперь будет?

Но вот явились слуги и молодые девушки и стали ее наряжать. На ветвях ее повисли набитые сладостями маленькие сетки, вырезанные из цветной бумаги, а золоченые яблоки и грецкие орехи, казалось, сами выросли на ветках. Под зеленой хвоей закачались куклы — ни дать ни взять живые человечки; таких елка еще не видывала. Наконец к ветвям прикрепили сотни маленьких свечек — красных, голубых, белых, а к верхушке — большую звезду из сусального золота. Как это было красиво, неопишимо прекрасно!

— Как засияет она сегодня вечером! — говорили все.

«Ах, — подумала елка, — хоть бы поскорее настал вечер и зажгли свечки! А что же будет потом? Быть может, другие деревья явятся сюда из леса, чтобы полюбоваться на меня? Быть может, к окошккам полетят воробьи? А может быть, я укоренюсь в этой кадке и, нарядная, буду стоять здесь и зиму и лето?»

Ах! Что она знала?.. От напряженного ожидания у нее даже заболела кора, а эта боль для дерева так же несносна, как для нас головная.

Но вот зажгли свечи. Что за блеск, что за роскошь! У елки задрожали все ее ветви, и тут одна из свечек подпала зеленые иглы и преобильно обожгла деревце.

— Ай-яй! — закричали девушки и поспешно затушили огонь.

Теперь елка не смела дрожать. И напугалась же она! Особенно потому, что боялась лишиться хоть малейшего из своих украшений. Весь этот блеск ее просто ошеломил. Но вот двери распахнулись, и ворвалась целая толпа детей, — можно было подумать, что они хотят повалить елку! За ними степенно вошли старшие. Малыши остановились как вкопанные, но лишь на минуту, а затем поднялся такой шум и гам, что в ушах звенело. Дети плясали вокруг елки и поминутно срывали с нее то одно, то другое украшение.

«Что они делают? — испуганно подумала елка. — Что это значит?»

Свечи догорели до самых веток, и их потушили одну за другой, а детям позволили обобрать дерево. Как они на него налетели, только ветки затрещали! Не будь верхушка с золотой звездой крепко привязана к потолку, дети свалили бы елку.

Потом они опять принялись плясать, не выпуская из рук своих чудесных игрушек. Никто больше не смотрел на елку, кроме старой няни, да и та лишь высматривала, не осталось ли где на ветках яблочка или вишней ягоды.

— Сказку! Сказку! — закричали дети и потащили к елке маленького толстого человека.

Он уселся под деревом и сказал:

— Вот мы и в лесу! Пусть елка тоже послушает, ей это пойдет на пользу. Но я расскажу только одну сказку. Какую хотите: про Иведе-Аведе или про Клумпе-Думпе, который хоть и свалился с лестницы, но все-таки прославился и добыл себе принцессу?

— Про Иведе-Аведе! — закричали одни.

— Про Клумпе-Думпе! — кричали другие.

Поднялся шум; только елка стояла тихо и думала: «А обо мне забыли? Или никому уже нет дела до меня?»

Да, так оно и было; роль ее кончилась, и никто не обращал на нее внимания.

Толстенький человек рассказал про Клумпе-Думпе, который хоть и свалился с лестницы, но все-таки прославился и добыл себе принцессу.

Дети захлопали в ладоши и закричали:

— Еще, еще!

Они хотели послушать и про Иведе-Аведе, но пришлось довольствоваться только Клумпе-Думпе.

Тихо, задумчиво стояла елка, — лесные птицы никогда не рассказывали ничего подобного. «Клумпе-Думпе свалился с лестницы, и все же ему досталась принцесса! Да, вот что бывает на белом свете! — думала елка; она поверила всему, что сейчас услышала, ведь рассказывал такой приятный человек. — Да, да, кто знает! Может быть, и я свалюсь с лестницы, а потом сделаюсь принцессой, — и она с радостью думала о завтрашнем дне; ее опять украсят свечками, игрушками, золотом и фруктами. — Завтра уж я не задрожу! — думала она. — Я хочу как следует насладиться своим великолепием. И завтра я опять услы-

шу сказку про Клумпе-Думпе, а может статься, и про Иведе-Аведе». И деревце смиренно простояло всю ночь, мечтая о завтрашнем дне.

Наутро явились слуга и горничная. «Сейчас опять начнут меня украшать!» — подумала елка. Но они вытащили ее из комнаты, поволокли по лестнице и сунули в самый темный угол чердака, куда даже дневной свет не проникал.

«Что же это значит? — думала елка. — Что мне здесь делать? Что я тут увижу и услышу?» И она прислонилась к стене и все думала, думала... Времени на это хватало. Проходили дни и ночи, но к ней не заглядывал никто. Раз только явились люди и поставили на чердаке большие ящики. Деревце стояло в стороне, и о нем, казалось, забыли.

«На дворе зима! — думала елка. — Земля затвердела и покрылась снегом; значит, нельзя снова посадить меня в землю, вот и придется простоять под крышей до весны. Как это умно придумано! Какие люди добрые! Если бы только здесь не было так темно и так невыносимо пусто!.. Даже зайчиков нет ни единого... А в лесу-то как было весело! Кругом снег, а по снегу зайчики скачут. Вот хорошо было!.. Даже когда они через меня прыгали, хоть это меня и сердило. А здесь так одиноко».

— Пи-пи! — пискнул вдруг мышонок и выскочил из норки; за ним еще один, маленький. Они принялись обнюхивать деревце и шмыгать меж его ветвями.

— Ну и холод здесь! — пищали мышата. — Было бы теплее, совсем бы хорошо было. Правда, старая елка?

— Все я не старая! — отвечала елочка. — Есть много деревьев постарше меня.

— Откуда ты и что ты знаешь? — спросили мышата; они были очень любопытны. — Расскажи нам, где самое лучшее место на земле? Ты была там? Была ты когда-нибудь в кладовой, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окорока и где можно плясать на сальных свечках. Войдешь туда тощим, а выйдешь толстым.

— Нет, такого места я не знаю, — ответила елка. — Но я знаю лес, где светит солнце и поют птицы. — И она рассказала им о своей юности.

Мышата никогда не слыхали ничего подобного и удивились.

— Как же ты много видела! — запищали они. — Как ты была счастлива!

— Счастлива? — повторила елка и вспомнила то время, о котором только что говорила. — Да, пожалуй, тогда мне жилось неплохо!

Затем она рассказала им про тот сочельник, когда ее разукрасили пряниками и свечками.

— Ого! — запищали мышата. — До чего же ты была счастлива, старая елка!

— Я совсем не старая! — возразила елка. — Меня взяли из лесу только этой зимой. Я в самой поре. Я едва успела вырасти.

— Как ты чудесно рассказываешь! — воскликнули мышата и на следующую ночь привели с собой еще четырех, которым тоже было интересно послушать елку. А сама она чем больше рассказывала, тем яснее вспоминала свое прошлое, и ей казалось, что она пережила много хороших дней.

— Но они же вернуться. Вернутся! Вот и Клумпе-Думпе упал с лестницы, а принцесса все-таки ему досталась. Может быть, и я сделаюсь принцессой!

Тут деревце вспомнило красивую березку, что росла в лесной чаще неподалеку от него. Настоящая красавица принцесса!

— Кто это Клумпе-Думпе? — спросили мышата.

И ель рассказала им эту сказку; она запомнила ее от слова до слова. Мышата прыгали чуть не до самой верхушки дерева, в таком они были восторге. На следующую ночь явилось еще несколько мышей, а в воскресенье даже две крысы. Крысам сказка не понравилась, что очень огорчило мышат, но теперь и они восхищались ею меньше, чем в первый раз.

— Вы только одну эту историю и знаете? — спросили крысы.

— Только, — ответила ель. — Я слышала ее в счастливейший вечер своей жизни; впрочем, тогда я еще не понимала, что он — счастливейший.

— Очень нудная история. А не знаете вы сказки про жир или сальные свечки? Про кладовую?

— Нет, — ответило деревце.

— Ну, счастливо оставаться! — сказали крысы и ушли.



Мышата тоже разбежались. И ель вздохнула:
— Как приятно было, когда резвые мышата сидели вокруг меня и слушали мои рассказы! Но вот и этому конец... Ну, уж теперь я своего не упущу и, когда меня отсюда вынесут, повеселюсь влады! Но не так-то скоро это случилось.

Однажды утром явились люди прибрать чердак. Вытащили ящики, а за ними и елку. Сначала ее довольно грубо бросили на пол, потом слуга поволок ее по лестнице вниз.

«Ну, теперь для меня начнется новая жизнь!» — подумала елка.

И правда, повеяло свежим воздухом, блеснуло солнце — ель очутилась на дворе. Все это произошло так быстро, вокруг было столько нового, столько интересного, что она не успела даже взглянуть на себя. Двор примыкал к саду, а в саду все зеленело и цвело. Через изгородь перевешивались свежие благоухающие розы, цвели липы, ласточки летали туда-сюда и щебетали:

— Квир-вир-вит! Мой супруг возвратился!
Но к елке это не относилось.

— Теперь и я заживу! — обрадовалась елка и расправила свои ветки. Увы, как они поблекли и пожелтели!

Деревце лежало в углу двора, в крапиве и сорной траве. На верхушке его все еще поблескивала золотая звезда.

Во дворе весело играли те самые ребята, что на святках плясали вокруг елки и так ей радовались. Один малыш увидел вдруг звезду и сорвал ее с деревца.

— Смотри-ка, что уцелело на этой паршивой старой елке! — крикнул он и наступил на ее ветви; ветви хрустнули.

Ель взглянула на молодое, свежее цветение в саду, потом на себя и пожалела, что не осталась в темном углу на чердаке. Вспомнились ей и молодость, и лес, и веселый сочельник, и мышата, жадно слушавшие сказку про Клумпе-Думпе...

— Все прошло, все прошло! — сказала бедная елка. — И почему я не радовалась, пока было время? А теперь... все прошло, все прошло!

Слуга принес топор и изрубил елку на куски,— вышла целая связка растопок. Как жарко запылала она под большим котлом! Дерево глубоко, глубоко вздыхало, и эти вздохи были похожи на негромкие выстрелы. Прибежали дети и уселись перед огнем, каждый выстрел они встречали веселым криком: «Пиф! Паф!» А ель, тяжело вздыхая, вспоминала ясные летние дни и звездные зимние ночи в лесу, веселый сочельник и сказку про Клумпе-Думпе, единственную сказку, которую ей довелось услышать и которую она умела рассказывать... И вот наконец она сгорела.

Мальчики опять играли во дворе; на груди младшего блестела та самая золотая звезда, которая укрывала елку в счастливейший вечер ее жизни. Этот вечер миновал, елке пришел конец,— пришел конец и нашей сказке. Конец, конец! Всему на свете приходит конец!

СОДЕРЖАНИЕ

Хольгер-Датчанин. Перевод А. Эмзиной	5
Стойкий оловянный солдатик. Перевод А. Ганзен	8
Дикие лебеди. Перевод А. Ганзен	14
Русалочка. Перевод А. Ганзен	30
Снежная королева. Перевод А. Ганзен	52
Пастушка и трубочист. Перевод А. Ганзен	79
Огниво. Перевод А. Ганзен	84
Цветы маленькой Иды. Перевод А. Ганзен	91
Дюймовочка. Перевод А. Ганзен	98
Маленький Клаус и Большой Клаус. Перевод А. Ганзен	110
Ганс-чурбан. Перевод А. Старостина	121
Ромашка. Перевод А. Ганзен	126
Подснежник. Перевод Г. Мирошниковой	130
Серебряная монетка. Перевод А. Ганзен	134
Девочка со спичками. Перевод Ю. Яхниной	138
Ребятня болтовня. Перевод А. Ганзен	141
Скороходы. Перевод А. Ганзен	144
Принцесса на горошине. Перевод А. Ганзен	146
Садовник и господа. Перевод Ю. Яхниной	148
Навозный жук. Перевод А. Ганзен	156
Блоха и профессор. Перевод А. Ганзен	163
О том, как буря перевесила вывески. Перевод К. Телятникова	169
Улитка и розовый куст. Перевод А. Ганзен	173
Два петуха — дворовый и флюгерный. Перевод В. Цырлиной	176
Штопальная игла. Перевод А. Ганзен	178
Гадкий утенок. Перевод А. Ганзен	181
Свинопас. Перевод А. Ганзен	191
Соловей. Перевод А. Ганзен	196
Свинья-копилка. Перевод Т. Габбе	206
Девочка, наступившая на хлеб. Перевод А. Ганзен	210
Прыгуны. Перевод А. Ганзен	217
Счастливое семейство. Перевод А. Ганзен	219
Жених и невеста. Перевод А. Ганзен	222
Мотылек. Перевод А. Ганзен	225
Воротничок. Перевод А. Ганзен	228
«Есть же разница!» Перевод А. Ганзен	230
Гречиха. Перевод А. Ганзен	235
Судьба репейника. Перевод А. Ганзен	236
Новое платье короля. Перевод А. Ганзен	240
Что муж ни сделает, то и хорошо. Перевод С. Фридлянд	246
Роза с могилы Гомера. Перевод А. Ганзен	250
Суп из колбасной палочки. Перевод К. Телятникова	252
Старый дом. Перевод А. Ганзен	267
Пятеро из одного стручка. Перевод А. Кобецкой	275
Соседи. Перевод А. Ганзен	279
Оле-Лукойе. Перевод А. Ганзен	289

Сундук-самолет. Перевод А. Ганзен	301
Бузинная матушка. Перевод А. Ганзен	307
Аисты. Перевод А. Ганзен	315
Кто же счастливейшая? Перевод А. Ганзен	321
Нехороший мальчик. Перевод А. Ганзен	324
Жаба. Перевод А. Ганзен	327
Большой морской змей. Перевод В. Позоровской	334
Лен. Перевод А. Ганзен	344
Талисман. Перевод Л. Брауде	348
Старый уличный фонарь. Перевод А. Ганзен	352
Последний сон старого дуба. Перевод А. Ганзен	358
Снеговик. Перевод А. Ганзен	364
Перо и чернильница. Перевод А. Ганзен	369
Ель. Перевод А. Ганзен	371

Издание для детей и юношества

АНДЕРСЕН Ханс Кристиан

ДИКИЕ ЛЕБЕДИ

Сказки

Составитель Костелецкая Анна Павловна

Для младшего школьного возраста

Заведующий редакцией В. И. Каризна. Ответственный за выпуск Н. И. Мирончик. Младший редактор Н. А. Гришкова. Художественный редактор М. В. Чудников. Технический редактор В. Г. Сень. Корректоры Л. К. Поплавская, Л. С. Мануленко.

ИБ № 1440

Сдано в набор 15.08.89. Подписано к печати 08.02.90. Формат 84××108^{1/32}. Бумага тип. № 2. Гарнитура Школьная. Высокая печать с ФПФ. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,58. Уч.-изд. л. 19,73. Тираж 250 000 экз. (1-й завод 1—125 000 экз.). Зак. 2792. Цена 1 р. 10 к.

Издательство «Юнацтва» Государственного комитета БССР по печати. 220600, Минск, проспект Машерова, 11.

Минский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат МППО им. Я. Коласа. 220005, Минск, Красная, 23.

Фотонабор и верстка выполнены с использованием автоматизированной системы переработки текстовой информации АККОРД, разработанной в УНИИПП, г. Львов.

Андерсен Х. К.

А 65 Дикае лебеди: Сказки: Пер. с дат.: Для
мл. шк. возраста/Худож. В. П. Слаук.— Мн.:
Юнацтва, 1990.— 382 с.: ил.

ISBN 5-7880-0420-9.

Великий датский писатель Ханс Кристиан Андерсен написал много чудесных сказок и историй. В эту книгу вошли как хорошо известные и любимые всеми, так и менее известные. Но все они учат любви и верности, добру и трудолюбию, осуждают зло и несправедливость.

4804010100—056
А ————— 114—90
М307(03)—90

ББК 84.4Д

